

МОСКВА
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1987





Скан
Ewgeni23

ББК 84Р7
Б83

Художественное оформление
Н. А. Абакумова

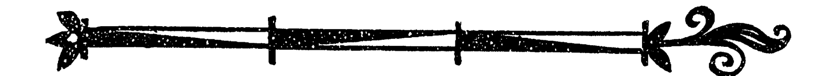
Б $\frac{4702010200-162}{068(02)-87}$ без объявл.


„Братие и дружино!
Луце жъ бы потяту быти,
неже полонену быти:
а вся демъ, братие,
на свои бръзыя комони,
да позримъ синего Дону."
Слово о полку Игореве



Часть первая





Первая глава

МОСКВА

Весенний дождь минул.

В монастырях отзвонили к утрене. Солнечный свет засиял по мокрому тесу крыш, по зеленой плесени старых замшелых срубов. Потек в небо сизый и лазоревый дым над Москвой. В Заречье орали петухи, по реке плыл лес, и с берега молодки, шлепавшие вальками на портомойных плотах, окликали сплавщиков.

Конники проскакали под низкие своды Фроловской башни, разбрызгивая черные лужи. Задрав подолы, сторонясь дороги, хватаясь за заборы, шагали купцы. Иные позвякивали свисавшими с поясов ключами. Другие крепко опирались на посохи. Торг открывался рано.

Дмитрий, отирая умытое лицо, смотрел в окно на свой оттаявший город и прислушивался: невдалеке в голых ветвях пел скворец. Выкликнет-выкликнет и притаится; повременит и снова сверкнет чистым и звонким свистом. Блестят капли схлынувшего дождя, всплывают ясные ды-

мы в небо, скворец поет, свежесть весеннего утра над тесным городом светла.

Эти ранние часы, когда в теремах еще нет сутолоки и чужелюдья, Дмитрию мнятся пустыми: с девяти лет княжит он великим княжением над Москвой, а и седатому старцу мудрено бы нести тяжкое бремя этих суровых лет.

Много походов и битв осталось позади—Переяславль, Владимир, Галич, Новгород, Рязань, Нижний, Тверь. Всюду сидели соперники. Каждому лестно вокруг себя собирать Русь, каждого надо убедить, а убеждение одно — меч.

Прежние враги постепенно становились соратниками. Много противился Дмитрий Суздальский, пока и его не поставили под Москву. Москва за то дала ему княжение в Нижнем Новгороде; а он — Московскому Дмитрию отдал в замужество свою дочь.

Утро. Еще спит Евдокия Дмитриевна, и Дмитрий слышит ровное ее дыхание, сплетающееся с пением скворца в ветвях. Когда ее привезли, ему шел семпадцатый год, и он еще не знал, как целуют женщин. Он и теперь краснеет, если задумывается о ней.

Свадебную кашу варили, пир пировали в Коломне, на пути между Нижним и Москвой: Дмитрию ехать в Нижний свадьбу справлять у тестя было негоже: Москва выше Нижнего. Но старику тестю ехать к юному зятю было бы обидно для Нижегородского княжества. Оба соблюдали свое достоинство.

Пировали в Коломне пышно: пусть все ведают, что у Московского Дмитрия в деньгах недостатка нет. Другие князья разоряются на пирах да на усобицах, а московские копят деньгу уже не первым поколением. Деда, Ивана Данилыча, прозвали Калитой, а калита — значит кошель; не прозвали бы кошелем, если бы кошель был пуст. Московские копят деньгу, а тратят хозяйственно, рассчитывая и на трате прибыль взять. Зять выпал Дмитрию Нижегородскому золотой. Но и дочь достойна: другие княжны в своих византийских бабок пошли — сухи, чернявы, сварливы, и лица их — не девичьи, а лики иконописные. А у Евдокии взор голубой, волосы пышны, стан статен— голосистая русская девушка Дуня, смешливая и ласковая, с ямочками на щеках.

И едва приехали молодые люди, еще не успели друг друга рассмотреть, бедствия обрушились на Москву. Сто-

яла жара, налетел неистовый ветер, и вспыхнула церковь Всех Святых. Не прошло и двух часов, как огонь опустошил и обратил во прах Кремль, Посад, Загородье и Заречье. Тогда же, посудив о сем с двоюродным братом Владимиром, Дмитрий повелел, как только установится санный путь, везти в город камень. И с весны 1367 года начали ставить на Москве каменный Кремль.

Теперь, за одиннадцать лет, успели возвесть добрые стены, и не только стены, а башни кой-где сложили из камня; крепкий, как кремень, Кремль.

Но еще смрад пожара не рассеялся в воздухе, а уже дошла до Москвы другая напасть: моровая язва, четыре года бродившая по Руси, пала на московских погорельцев. Рассказывали, что хворь нападала на человека внезапно: ударит как ножом в сердце, в лопатку или между плечами; огонь пылает внутри; кровь хлещет горлом, прошибает пот, и начинается дрожь. Приходит смерть — неизбежная, скорая, мучительная. Не успевали хоронить тела —едва десять здоровых приходилось на сто больных. Многие дома совсем опустели. Оставалось горестное утешение, что тягость сия оказалась тягчее для других мест,—сказывали, в Смоленске от всех жителей уцелело лишь пять человек, и эти пятеро вышли из городских стен и затворили город, наполненный трупами.

Но и язва не останавливала княжеских усобиц: тверские князья Василий, Всеволод и Михаил повздорили между собой на дележе уделов, оставшихся от почившего князя Симеона. Дмитрий примирил их, заставил слушать волю Москвы. В прошлом годе вышла из повиновения Тверь. Тогда он осадил ее и кровью тверитян снова утвердил власть Москвы.

Что ни поход—все больше становилось у него подручных князей. Год от года больше полков оказывалось в московском воинстве. Стали и князья понимать: в единении сила. Сами приезжали в Москву стать под руку Дмитрию, мириться или уговариваться о дружбе с ним: все труднее становилось ближним уделам противостоять Москве. Стала Москва богаче, торговее; спокойнее было за ее спиной, нежели одиноко стоять перед Половецким полем.

Ольгерд Литовский, сын Гедимина, приходил под стены Москвы, да не смог взять город. Татары набегали на дальние пределы московские, булгары озоровали на Волге. Не было года для роздыха.

Науку Дмитрию произойти довелось битвами, а не рукописанием; жизнь — познать на окровавленной земле; людей — в воинском стане.

Дважды ездил в Орду—договариваться с Мамаем. Ходил войной на булгар и разгромил их. Взял Казань в позапрошлом, в 1376 году. В прошлом году умер опасный враг — старый Ольгерд Литовский. Теперь похоронили Алексея-митрополита, наставника Дмитрия. С детского возраста князь вникал в наставления его. Вельми учен и мудр был Алексей!

Он вложил в сердце Дмитрия твердость, он ковал из юноши воина, готовил не для книг — для меча.

— Не тщись покорять чуждое племя, но противоборствуй всякому, кто твое племя поработить тщится! — говорил Алексей. — Аще немощен возрастом, но аз реку: сними ярмо басурманское с земли Русской, Димитрий. И еже един ремень того ярма порвешь, благо ти будет. И преемству своему закажи остатние ремни рвать. Вольный народ силен; угнетенный—день ото дня слабее становится!..

И скоро уже сорокоуст по нем свершать. Горестно сие.

И Дмитриев дядя Симеон Гордый, умирая, завещал единение меж всеми князьями русскими, но, опасаясь чужих ушей, изъяснял иносказательно:

«Я пишу вам се слово того для, чтобы не перестала память родителей наших и наша, и свеча бы не угасла». Эта свеча означала борьбу с чужеземным игом.

Теперь — слышно — идет усобица промеж сыновей Ольгердовых в Литве. И в Орде тянется усобица. Пока враги тяжбятся и режутся сами с собой, надо не покладая рук крепить единомыслие на Руси, стирать с нее кровь прежних усобиц.

Ночной дождь минул. Слышно, как в Чудовом поют утреню. Там ныне почиет Алексей. От влажной земли встает пар к весеннему солнцу. Птица в саду смолкла. По дворам колют дрова, стучат бадьи, спускаемые в колодцы. Видно вон, как топор к вожже привязывают: надо со дна упавшую бадью достать; глядишь, и топор там же окажется! Перекликаются женские голоса. По улице идет народ к торгу. Москва встает, начиная свой день. Боярам время ждать Дмитриева выхода—ждут новые дела, новые вести. И это легко: нет тяжелее бремени, чем безделье.

Дмитрий обрядился в простую белую, удобную справу, опоясался узким пестрым персидским ремешком, надви-

нул потуже красный обручек на голову, дабы волосы не лезли в глаза. Вырос он в походах, привык, чтоб одежда не бременем была, а подспорьем; промеж людей тесно ходить в пышном византийском облачении, да и жарко: печи в хоромах довольно натоплены. Отпустил отроков, помогавших одеваться, и пошел взглянуть на Евдокию.

Она уже проснулась и молча смотрела на него. Он ей улыбнулся и пошел было прочь, но у двери оглянулся, подошел к ней опять, поцеловал в еще теплые от сна щеки.

— Приходи пораньше, — сказала она, — не засиживайся в думной.

— Не тужи, Овдотьица, коли задержусь, — время пасмурное, дел полно.

— Не в походе, чать.

— Мите твому всяк день поход, всяка нощь розмыслы. Чего Москва не домыслит, мне домышлять; чего я не домыслю, тое Москве обернется мором, гладом, лезвием басурманским, а с Москвой — и тебе, лебедица.

Он прошел в полутемный покой, где стояли, переговариваясь, отроки. За одной из дверей слышались негромкие медлительные голоса, там ждали его.

Прежде чем войти в думную, он остановился и прислушался. Кто-то, приехавший из Сербии, если судить по выговору, спрашивал о княжеском облике. И Дмитрий по голосу узнал Бренка, степенно описывавшего сербиану наружность великого князя.

— Крепок и мужествен. Телом велик и широк. И плечист, и чреват вельми, и тяжек собою зело.

Дмитрий провел рукой по животу, туже затянул пояс. Подтянулся, выправился, будто стряхнул с себя лишний груз. Сурово сдвинул брови. А Бренко продолжал:

— Брадою же и власами черен. Взором же дивен.

— Ин как ты, Михаил Ондреич, князя своего взвесил! — сказал Дмитрий, входя в палату.

И Бренко растерялся, а сербиан ужаснулся происшедшему. Но, видя светлое лицо князя, оба поняли, что разговор их не лег во гнев.

В этот день не было ни тяжких вестей, ни тягостных просьб, ни тяжб между боярами, словно солнце, впервые выглянув после хмурых дней, осушило все горести. Дмитрий не любил таких безоблачных дней: светлый день казался ему предвестием грядущих гроз.

Он долго допытывал каждого о всех делах.

Бренко сказал:

— Сей вот сербиан Пипер приехал со своими мастерами. Вельми научен клинки ковать.

— Коим видом куешь, друже?

— Бесерменским месяцем и литовским лучом. Не облик важен, а булат, из коего меч куется.

— Значит, сплав ведаешь?

— Ведаю, господине.

— Испытать надобно. А кем обучен своему делу?

— Генуэзцы учили, веницейский мастер наставлял.

Дмитрий пытал Пипера о дальних странах, об оружии их, о войске их; обычаи их выспрашивал, о стенах их городов, о стрельницах над теми стенами. Не первого оружейника заманил он из заморских царств в Москву, он расспрашивал каждого, кто приезжал, сам. Бренку строго было наказано всякого нового мастера вести к князю. Расспросив и сравнив ответы Пипера с другими рассказами, Дмитрий отпустил сербиана. Многое из рассказанного им было уже известно Москве.

Воинскую науку Дмитрий ставил превыше иных: век был таков, надо было ковать мечи. Деды замышляли, внуки ковали. Мечам надлежало быть лучше прежних, да и не только мечам. На Запад слал Дмитрий мед, воск, пеньку, деготь и многие прочие лесные добытки: шкуры зверей — бобра, соболя, горностая. Запад льстился даже на лису, и на куницу, и на белку — слал Дмитрий Западу и белок, и куниц, и лис. А длинной дорогой через Новгород, Волок, Рузу по струям лесных рек плыли в Москву ладьи, груженные литовскими мечами, немецкими копьями, плыли в тех же ладьях или лесными дорогами прибредали ливонские оружейники и свейские военных наук наставники. А по раздолью степных рек поднимались к Москве ушкуи с басурманскими крепкими кольчугами, с легкими татарскими шлемами, с черкасской сбруей для конницы. Деньги из княжеской калиты утекали и на Запад и на Восток. Но добрый сеятель не бережет семян, если знает, что поле под посев уготовано, что каждое семя не на камень ляжет, а на вспаханный пал.

В думной гридне, сидя среди давних своих советников, Дмитрий выспрашивал дряхлого Тарусского князя Федора, бывшего то лето в Москве, хватает ли ему людей на земле, засевается ли земля, как задумано. А задумано между ними обработать обширные плодородные земли под

Тарусой, дабы скопить хлеба впрок на черный день, на длительные походы, коли таковые случатся.

Бренко подивился:

— Допрежь не бывало сего в обычае. О запасах купцы радели.

Дмитрий нахмурился:

— Ради корысти и почести. И не мало на том от народа достатка имали. Народу недород — сума, купцу — терема.

Тарусский князь напомнил:

— Новгород голодал, обезлюдел. Голыми руками всяк мог его взять. Новгороду бог помог, упас в тот год от нашествия. А в другом разе может и не упасти.

— Господь милостив, — перекрестился Бренко.

— Спаса проси, а себя сам паси, — ответил князь Федор.

Когда вышли из гридни князь Федор и бояре, когда, осенив себя крестными знамениями, переступили за дверь монахи, остались в думной лишь ближние, окольничие.

— Что по городу слышно? — спросил у Бренка Дмитрий.

— Купцы жалобятся. Иные торговые города — Новгород, Псков — ведут торг с Западом сильнейший Москвы. Рязань торгует с татарами. Смоленск с Литвою. А нам до греков путь через татар, до фрязинов — через Псков. Татары закрыли восток, от коего в досельные времена Русь имела изрядный прибыток. Шемахань закрыта, Цареград словно отодвинулся. Ряди, как Москве поднять торг?

— И свейские, и шемаханские, и татарские купцы, куда бы ни шли, через Москву идут; нам от того прибыль. Чего купцы жалобятся? Ото всех слышу: самый юркий купец — москвитин, самый богатый — москвитин.

Бренко возразил:

— То и худо. Придут татары наших купцов чистить, не обойдут и наших ларей.

Дмитрий задумался о татарах.

Все, кого он помнил и кого не помнил, в своей семье — и духовный его наставник Алексей-митрополит, покойник, и троицкий игумен Сергий, — все мысль свою изостряли в ненависти к тяжкому ордынскому бремени. И Дмитрий понял от них и принял на себя великое обязательство: скинуть с плеч народа ярмо Орды.

Без гнева бился он с литовцами — то были свои князья: родством, и свойством, и верою христианской. С ними можно было договориться в тяжкий час, откупиться, обойти хитростью. А с востока, от ордынских степей, каждодневно могло повеять гарью русских сел, разореньем родной земли. И бояре, растившие Дмитрия, тоже воспитали в нем гнев и обиду за Русь, за пролитую кровь единородных братьев.

С ним сидели молча, не глядя в его лицо, Бренко, двоюродный брат Владимир Андреевич Серпуховской и старший из всех по возрасту, выходец с Волыни, князь Боброк, зять Дмитрия. Да еще отроки стояли у двери. И дума долго бы не оставляла Дмитрия, если б один из отроков не поспешил к Бренку:

— Ордынского каменщика привезли. Спрашивают, когда князю предстоять будет?

В другом разе, может, и отложили бы разговор с каменщиком, но сейчас хорошо было отвести тяжкие думы от Дмитрия.

Потерев ладонью о ладонь, словно от мороза в тепло вошел, Бренко сказал:

— О креплении Москвы печись надо.

Волынец Боброк с удивлением посмотрел на Бренка: не приходилось еще от сего человека слышать забот о креплении Москвы. Хозяйствен был Бренко, умел князю прибыльное дело подсказать, присоветовать по торговой части, оружие задешево достать, о продажных полоняниках проведать, но смысла хлопот своих не разумел: пекся о деле, а к чему оно — не вникал. И Боброк порадовался, что наконец уразумел Бренко.

— Я о каменщиках сведал. Надо нам каменные стрельницы над Кремлем крепить. Иные нескладно ставлены, а кое-где и на каменной стене дубовая стрельня высится. Сам ты, Дмитрий Михайлович, о том скорбел. Я велел розыск учинить. Нашли на княжем хозяйстве ордынца зодчего. Нельзя, думается, дело тянуть. Велел привесть того мастера! — сказал Бренко.

Дмитрий поднял голову.

— Пускай придет.

Встав, князь прошел по думной и остановился у окна: ставили Кремль скоро, стены сложили складно, а надо строить еще, чтоб крепче стало. И башни — верно Бренко сказал — нужно доделывать, а где и заново класть.

Вторая глава
РУЗА



В лесах, в топях, в непролазных лесных дорогах, на высоком насыпном холме, над привольной рекой сложен Руза-город. Прежде жила тут чудь, ныне и память ее стерлась. Лишь река, подмыв берега, открывает то серьгу чудскую, то янтарную бусинку, то решетчатый чудский перстенек.

По реке плывет вниз лес. Дойдя до Устья, он повернет на Москву, потечет по Москве-реке, мимо города Рузы. Плывут намокшие, потемнелые бревна. Стояли они в глухих лесах, шумели ветвями; птахи вили гнезда на них, выводили птенцов. Ныне далеки птенцы, на тех деревьях вскормленные, далеки сучья, оставшиеся в глухих лесах. К осени доплывут бревна до Кремля. Выловят их крюками на берег. Выволокут, высушат. Срубят терема и хоромы, поставят избы, будут под их покровом бабы мужей любить, смердов рожать, доколе не сожрет огонь домов тех. Тогда дымом в небеса изойдут, потекут в далекие дали.

Из поколения в поколение переходит Руза в роду князей московских. Иван Калита и родился тут.

Теперь хоромы княжеские ветхи стоят,—князю Дмитрию наведываться в эту даль недосуг.

Но избы для смердов не бывают пусты. Кровли их, крытые черной соломой, пропускают дым: когда печи топят, дым сочится вверх, в небесную высоту, сквозь солому крыш. Стены под кровлями сложены из толстого, векового леса; сложены на долгие годы, чтоб на перестройку часто не тратиться. Складывал их еще Иван Калита.

Люди живут тут в тесноте, да не в обиде. Не в обиде живут и расселенные вокруг города на великокняжеской земле люди всяких ремесел и промыслов — седельники, тульники, медники, серебреники, копейщики, кузнецы, доброй волей сошедшие в эти укромные места из разных городов и народов.

Прямо надо сказать: у князя Дмитрия людям, смердам, страдникам житие не обидное. Московские князья хозяйственны:

«Ежели коня плохо ковать, далеко не пройдет конь».

«Ежели корову худо кормить, молока с нее не возьмешь».

«Ежели раба морить, работу с него не взыщешь».

А посему люди на князя не в обиде: идти некуда. Как далеко ни иди, ни в князья, ни в бояре, ни в купцы не дойдешь: путь один — в жизнь вечную, в царство небесное. Да как ни сладко загробное житие, а земное премного слаще.

А жить — значит жать. Не жать — лен трепать. Не лен трепать — дак шерсть валять. Повелел бог человеку добывать пропитание себе в поте лица. И православный Исус, и магометанский бог, и монгольский, и языческий — все между собой сошлись в одном: должен человек работать, а наград на земле за работу не спрашивать. После смерти всякому предстоит воздаяние. Жизнь же надлежит проводить в смирении, гордыней до бога не возвысишься, смирением же и князя умилостивить, и боярина улестить, и пристава ублажить можно.

Высоко над широкой рекой высится город Московского князя Дмитрия. И живет в том городе народ многоязыкий, разноликий, чужедальний сбор. Народ, полоненный в битвах с половцами, с булгарами, с черемисами, приведенный из походов на Литву, из земель угорских, из битв польских. Пленники, уведенные татарами из русских же городов, из Персии, из Черкасии, из Абазии, а позже купленные московскими князьями у татар. И таких, покупных, именуют ордынцами — у Орды, мол, откуплены. Иные прошли через многих победителей, насмотрелись на битвы и на кровь: сперва доставались от мордвы татарам, от татар — рязанцам, от рязанцев — владимирцам, а оттоле — князю Московскому. Длинны пути, пройденные многими; но никому не доводилось переманить полоняников и ордынцев у Московского князя Дмитрия.

Дмитрий милостив: блюдет воскресенье — кормит и работы в этот день не взыскивает. По двунадесятым праздникам дает в еде надбавку, помнит: «Блажен милостивый, иже и скоты милует...»

Милует князь ордынцев — не касается и жен их. Даже диковинно сие для воина и князя!

На смену почившему приставу приехал в Рузу новый, из Москвы, за княжеским двором смотреть. Если были на дворе нерадивые десятники, злосердные, корыстные, любодеи, — всех тот москвитянин разжаловал:

«Егда конюший за конем не следит, княжого коня не холит, секут того конюшего, дабы впредь холил».

«Егда конь не вскормлен, не сдвинуть коню воза, в колеях увязшего, и секут не коня, а конюшего, дабы коня вскармливал».

«Егда у коровы дородной на вымени три сосца доятся, а четвертый обмяк, бьют не корову, а дойницу, дабы из всех сосцов на княжой стол молоко текло».

Так говорил Пуня, прибывший от Дмитрия Московского; говорил, сеча десятников, в назидание тем, кого вновь в десятники ставил.

Пуня повел себя с десятниками круто, а с ордынцами и челядью взыскательно, но милостиво. Хороший хозяин князь Дмитрий Иванович!

Спали люди в избах на полу, на войлоках. Низко спать лучше—поверху дым и чад ходят, а внизу воздух легче. Ели в трапезной за столами, а не на полу, как водилось в прежних полонах. Чашка полагалась одна на шестерых — тоже милостиво: свалок не бывало. Ложку выдавали одну на каждого, не приходилось щей горстями хлебать. Хлеба давали досыта, плетьми при нужде били не до немощи, а лишь вмоготу. Искусных в ремесле опекали особо. Старых приставляли к легкому труду.

— Егда сил у смерда на пять мер, он те пять мер подъемлет многократно. С шести же мер, подымая, сорвет живот и более не сможет поднять ни шести горстей, — говорил Пуня.

— Сладки у Московского князя калачики: один съешь, другой сам в рот просится. Золотисты и хмельны меды на княжом столе. Я с той пищи крепнул, а у смерда она отъемлет силу, — поучал Пуня.

За долгие годы усердия немало повидал Пуня великокняжеских сел. Но молчал о том, что легок меч в княжеских руках, а не княжескими руками выкован, что не бортничает князь для своих золотых медов, не сеет, не жнет, не мелет пшеницу для калачиков, и стад не пасет, овец не стрижет, не валяет шерсти для войлоков, для потников, не задумывает узоры для попон, не чеканит серебром своего седла, — а поел, попил, на коня вскочил, шелковой плеткой коня хлестнул, поскакал в раздолье длинных дорог славы себе добывать, меч о вражеские мечи пытать. Дело князей — битвы; дело людей — труд. Победные битвы дают князю людей. Люди — плоды трудов своих. Ради сего и покидает он златоверхие терема, теплую жену, большеглазых младенцев, сладкую еду, хмельное

питие. Ради того и приемлет тяготы походов, раны битв. Победа — это богатство; поражение — разоренье. Надоело позор сносить, разорительно ордынское иго.

Об этом не вел речей Пуня, хотя и много глаголил в трапезной, дабы за едой праздная мысль не посещала людей.

Плывут по реке леса. Слышно, как где-то сплавщики песню тянут.

Пуня не препятствует народу играть песен. Добрая песня дает облегчение рукам. На княжом дворище песни многоязыки. В избах разных племен люди трудятся.

Людской пищей, овсяным хлебом Пуня не брезгует; когда солнце станет на полудень, он идет в общую трапезную и усаживается за стол под образом. Десятники раболепно утихают, и челядь снедает в исправном молчании, никто не нарушает глаголаний Пуни. Один лишь бывший чернец, расстрига Кирилл, иной раз перечит вполголоса. Каждому свой норов дан, и если он другим не во вред, Пуня тому норову не перечит. Кириллу же он всегда находит слово в ответ.

Кирилл — громаден, волосат, речист. Прежде очень был набожен; многократно осенял себя крестным знаменьем — перед едой и после трапезы, и в священном писании сведущ. Но прегрешения ввергли раба сего в неволю.

И Пуня вспоминает слышанное о Кирилле:

— Был чернецом Чудова монастыря, но согрешил. При наложении эпитимьи в Коломну, в Голутвину обитель, был послан на покаяние. Но там иноческого целомудрия не соблюл и за то игу́мном позорно расстрижен, князю сдан, а князем прислан сюда. За мощь свою десятником поставлен. Не злонравен, но нерадив. Мало с нерадивых смердов взыскивал и за то взыскан. На черную работу переставлен — двор блюсти, сор мести.

Давно Пуня к Кириллу приглядывается. Последнее время дружбу с басурманом Алисом свел. Алис — шемаханский персиан — веры нашей не понимает, речь нашу не разумеет, с Кириллом беседу ведет на языке греческом. Смысл слов Пуне невнятен — греческой премудрости Пуня не обучен, но понятно, что беседа их дружественна: на святках сидели Кирилл и Алис на морозе под Ивановской башней, под крещение вместе в баню ходили и друг друга можжевельником терли истово, в великую

пятницу Кирилл в храм господень не просился, а с Алисом на реке ледоход смотрел. На Фоминой неделе в бубен бил, будто хмельное в рот брал, Алис же песню играл на языке поганском. Сие удивительно и внимания достойно. Будь у Пуни право, он того ордынца Алиса продал бы: хил, желтолиц, задумчив. А о чем смерду думать, когда сыт? Да и худоумен Алис. В праздник сидит от всех в отдалении, на голой земле. Что-то шепчет, неведомое Пуне. Пальцами ковыряет землю, улыбается сам себе, хмурится, спешно рушит воздвигнутые на земле бугры и канавки, снова лепит бугорки и улыбается. Будь он в людной Москве, да прославлен, да благочестив, московский народ почел бы его за юрода; бабы пошли бы просить совета от килы или от бесплодия; молодки вышептывали б у него приворотных трав; воины от стрел слово спрашивали б али о судьбе похода пытали. А ныне в Рузе кому такой шемаханец надобен?

Кириллова дружба с Алисом началась так. Сидел персиан на песке, когда каждый в тот день норовил недоимки за всю неделю от жизни взять — порты латали, одежонку стирали, спали, сапоги тачали. Накануне смещен был из десятников Кирилл и пошел двор надзирать. Видит: всяк занят делом, а хилый шемаханец уставился в землю, от всех в отдалении, и то улыбнется, то руками в песке шарит. Сущий младень, а волосом стар. Безумен, что ль? И наступил Кирилл могучей пятой своей на языческие затеи в песке. И услышал как бы вскрик, будто бы на живое тело ступил. А вскоре и ругань обидную и ярую услышал. Взглянув, Кирилл обмер: за всю жизнь не бывало подобного — стоит мертвец мертвецом, ростом Кириллова плеча не достигает, а поносит бестрепетно. Может, мнит, что греческой брани Кирилл не разумеет?

— Не хули сильнейшего тебя, ибо я тебя разумею,— сказал ему Кирилл по-гречески.

— А я презираю тебя, дикарь!

— Рабу непристойно носить в себе презренье, — ответил Кирилл.

— Ты мразь, — сказал шемаханец.

— Я верую во Христа, ты же возрос во тьме, как червь. Чем же ты величаешься, худоумный?

— Знаю вашего бога. И многих всяких богов познал. Твой бог осуждает рабство, а оба мы — рабы у слуг бога твоего. Твой бог...

— Замолчи, замолчи, нехристь окаянный! Не соврати души моей, не омрачи веры моей. Подаждь ми, господи, твердость не убить нечестивца сего!

И от соблазна Кирилл отошел прочь.

На работе некогда по сторонам глядеть. Но Кирилл увидел Алиса вновь. И опять тот сидел на песке.

— Почто сидишь, как юрод, во прахе? — спросил Кирилл. — Юрод ли ты? И не откроешь ли мне грядущее?

— Не волхв, не юрод, грядущего не ведаю, настоящего не имею. Прошлое в себе искоренил. Жил в городах и народах многих. Сам создавал из камня дома, стены и башни крепостей. Ныне приведен в край, где обречен из глины и песка лепить свои замыслы. И каждый может наступить на постройки мои и, если не сдержу свою боль, наказать за то, что мне дорого. Так я живу.

— Ты грек? — задумался Кирилл.

— Персиан. Но в Цареграде двенадцать лет строил. Оттоле прельстился на булгарский великий город взглянуть. Путь мой был пресечен битвой, и вместе с людским скопищем куплен Московским князем как полоняник ордынский, и ныне десятый год влачу жизнь раба. Ты же в своей стране раб. То горше.

— А я за насилие над блудницей, брате.

— Непонятно мне.

— Чернецом был. Постригся во спасение от тягот житейских, от нужд земных. И не снес несправедливости келаря, наплевал ему в харю. Игумен меня в новозданную Голутвину обитель сбыл. Там невдалеке посад есть. Вдова посадская распалила чресла мои, и сдержать ту любовь не хватило сил. Быв оглашен ею, ныне с тобой беседую. Родом же я из Зарядья и в юности купцами в Цареград завезен был и по разорении тех купцов в Цареграде кинут. В Студийском монастыре рос. На каменных работах кормился, пока Алексей-митрополит не вывел меня в лоне челяди своей обратно на Русь. Оттоль и греческая речь моя.

— Может быть, единый дом с тобой воздвигали! После же далеко разошлись. Вьются, как живые змеи, пути человеков. Ныне опять сплелись.

И не раз так они встречались. Кириллу стал понятен каждый холмик в песке под рукой Алиса и каждый комок глины, расправленный его пальцами. Кирилл даже оспаривал иное, и Алис вникал в его слова.

Однажды Кирилл сказал:

— Писано: при созидании столпа в Вавилоне перемешал бог языки строителей, и перестали люди понимать друг друга. И пошло оттуда различие в языках человеческих. Не разумею сего, но токмо вижу в нашей Рузе единомыслие и понимание разноплеменной челяди. Творение ли столпа, иное ли общее дело объединяет племена, а не разобщает их.

— В писаниях ваших мало истины, — ответил Алис.— Сказано: бог все видит, все знает, каждая жизнь известна богу заранее. И еще сказано: человек послан в мир сотворить свою жизнь праведно. Если бог видит все поступки человека прежде, чем человек совершит их, зачем же испытывать его? Наш шоир Хайям пел так: «Когда из хрупкой глины бог слепил мое тело, он вложил в меня сильные страсти, а сил, чтоб бороться с ними, не дал. За что же грозишь мне адом, если сам ты ошибся, бог?»

Так разговаривали они, и Пуня замечал, что не столь ревностно исполняет Кирилл православные обряды и все что-то роется в песке вместе с Алисом. Пуня обеспокоился.

Однажды весной вызван был к Пуне Кирилл. Пристав стоял в башне, высоко над рекой. Отсюда был виден плавный поворот реки. Тронулся лед и медлительно шел, теснясь вдали и просторно поворачиваясь здесь под городом.

— Дивно мне, — сказал Пуня, — твое почтение к греческому языку. Язык этот птичий: на нем стрекочут скворцы.

Но Кирилл жестоко посрамил Пуню:

— Богослужение в Цареграде на нем совершается. Сие есть язык церкви отцов, а не скворцов.

— Дерзок ты. Но скудоумие и блуд твой известны богу. Он те судья. Что ты в песчаных затеях шемаханских зришь?

— Сие не затеи, а глубокомыслие. Ибо он каменные города ставить научен был, ныне же из песка подобие их воздвигнуть тщится.

Так Пуня узнал о зодчем Алисе.

В Москву он написал так:

«А есть на княжем дворище ордынец Алис, шемаханец родом. Велико учен зодчему делу. Нынь же валяет шерсть на войлоки и на той работе изнурен бысть. Как слышали мы, князь великий Дмитрий Иванович зодчих людей ищет. О том Алисе отписываем мы».

Был на Москву путь нескорый, но верный — реками. Был и скорый — лесами. Письмо Пунино пошло реками. Отпис из Москвы примчался лесом. Лесом же и Алис отбыл из Рузы в Москву, а с ним и каменщик Кирилл. И привели их в Кремль.

В Кремле Алис увидел княжеский толстостенный и многосрубный терем, где окна, разбредшиеся по стенам, как кони по полю, украшены разными косяками, разными красками расписаны. Взглянул на золоченую кровлю, над коей по углам высились кованные из железа львы. Увидел витые столбы крылец и переходов. И показалось это Алису грудой наспех наваленных дров.

Рынды и отроки княжеские позаботились об одежде Алиса. Нескладное, неловкое одеяние стесняло его. Он выбрал простую холщовую рубаху, плотно его обтекшую, показался еще ниже ростом от длинного ее подола. Поверх надел розовый камчатый доломан, схожий с шемаханским кафтаном. И так сел ждать Дмитриева зова. Кирилл же залег в это время на подворье и разговорился с людьми.

— Много ль вдовиц, много ль девок неневестных на Москве? — спрашивал он.

Не грех разжигал Кирилла, а то, что много лет чернецом был, что запретна была ему мирская мысль и мирская скорбь, что ныне он уже не чернец и даже забыто, что расстрига он; стал теперь Кирилл просто княжеским каменщиком, равным всякому мирскому человеку, может теперь он взять себе в жены вдовицу али девку пригожую. И разжигало Кирилла чувство, что разговаривает он с людьми, как муж, коему открыт путь к семье.

А у князя в черной палате ветхий пристав, пожевывая беззубыми деснами, неодобрительно щурился на Алиса:

— Ждет раб княжеского зову. Может, день, может, неделю прождет. А негоже рабу рядиться в цветное платье. Негоже князю принимать раба, как иноземца. При Дмитрии многое деется, чего не было ни при Симеоне Иваныче Гордом, ни при Иване Иваныче, а наипаче при великом князе Иване Данилыче, при Калите.

Алис ждал терпеливо и молча. Греческого языка в черной палате никто не разумел. Русскому языку Алис худо научился, персидский же сам забывать стал. В Рузе было больше собеседников. А в Цареграде ему и с византийским императором разговаривать доводилось. У

цареградского императора дом — не здешнему деревянному ларю чета. Да и не пустили бы в тот дом такое вот чучело, в облезлой шубе, с рожей, похожей на гнилую фигу; а еще нарекли такое приставом, приставили в палате чин блюсти.

В это время, промчавшись по многим лесенкам и переходам, торопливо вбежал отрок: великий князь кликал раба наверх.

Третья глава

МОСКВА



Дмитрий присел на скамье, стоявшей в думной возле окна. Облокотился о подоконник. Проехал конный стражник; в седле сидит крепко. Не то уж войско, что смладу Дмитрий на Дмитрия Суздальского водил, — тогда от души бились, а биться не умели. Скоростью брали. А теперь биться научились. И оружие уже не то: не домодельное. Бывало, топорами вооружались. Насадят на шест — вот те и секира!

Бренко, Боброк и Владимир Андреевич Серпуховской негромко разговаривали между собой. В думную достигал чад из поварни — пирогами пахло. «Время снедать», — подумал Дмитрий. Яства любил.

Алис, не доходя его, стал на колени. Дмитрий спросил:

— Сказывают, ты научен каменные дома ставить?

Боброк перевел вопрос князя по-гречески. Дмитрий говорил только по-русски, по-гречески помнил наизусть лишь несколько молитв.

Алис отвечал, склонив голову, прижав руку к сердцу.

— Много ставил, кир Дмитрий Иванович.

— Зачем же таил сие?

— Не таил, кир, — нигде не видел, чтоб каменные ставили. Везде одним деревом обходятся. Дерева ж я не разумею.

— Древо покрывает нас. Его любим и чтим. Но пора о камне думать. Коли ты зодчий искусен — порадуешь. Скуден — берегись: снова в Рузу али в Можай пошлю. А в Можае мое дворище паче Рузы. Туда татар намедни послал, а с них строже взыскивают.

— Внемлю, кир, слову твоему.

— Стрельню в Кремле надо ставить. Иные худо поставлены, поиначить надо. Над тайником надо искусно стрельню сложить. Там ход к воде и к погребам. Можешь?

— Ставил, кир, башни. Открывался с них вид на простор моря. Подземные ходы в Цареграде прорывал. Земля просторней, когда и в земле есть пути. Мне знакомо сие.

— Ну, добро.

Дмитрий отослал Алиса к дворскому боярину. Рында повел его. Никто, кроме князя Серпуховского, Боброка и Бренка, самых близких Дмитрию людей, не слышал его разговор с Алисом.

— Ты, Дмитрий Михайлович, порасспроси его позже, — велел он Боброку. — Какие столпы там ставили, воинским нуждам отвечают ли? И что еще он может? И дружину ему надо немую дать. Понял меня?

— Сам думал — надо немую.

— Да и сам пусть мысль словом не оболакивает. Слово грецкое, а иные татарове — и те ему внемлют.

— Приглядим, Дмитрий Иванович.

— Не ведаешь ли, Михаил Ондреич, каковы зографы, что ныне Чудов расписывать взялись?—спросил Дмитрий Иванович Бренка.

— Дивные, княже. Не кистью касаются стен, но как бы мыслью.

— А ведь не греки!

— Да я и твержу: почто нам греки, когда свои есть. Разве Захарий с дружиной своей Архангельский собор хуже греков расписал? В Чудовом теперь московитяне себя покажут!

Дмитрий спросил:

— А в Новгороде, сказывают, грек Феофан у Спас-Преображенья работает. Много его похваляли.

— Слыхивал, — сказал Бренко, — он церкву Федора Стратилата расписал. Легко пишет. Черту с чертою не сводит, а образы как бы воздухом объяты, либо ладанным дымом окурены. Так легки.

— Надо и его на Москву перезвать. Надо все лучшее со всея Руси в Москву брать.

— Перезовем, Дмитрий Иванович!

Отрок от княгини пришел звать к трапезе.

Большой, тяжелый, Дмитрий мгновенно, как взмах крыла, поднялся:

— Пора уж!

Они пошли. В трапезную гридню вели сложные переходы. Любы княжескому сердцу витые пути.

Гридня была застлана попросту — ряднами. Утварь на столе деревянная, разрисованная — и солило, и солоница, и брашно. Чужих сотрапезников не было, и княгиня вышла полдневать с мужем. Один Бренко в родстве не был, но, видя его каждый день при муже, привыкла княгиня считать сего боярина за своего, — с Дмитрием рос, вместе гнезда разоряли.

Отроки служили в белых рубахах до колен, в белых исподниках, босые — не для чего летом сапогами топать.

Поднесли каждому таз, полили из ордынского кувшина на руки, подали полотенце, расшитое красными павами. Бренко задержал шитье.

— На такое рукоделье суждалки искусны.

Дмитрий повернулся к нему:

— Ты, я вижу, дела женских рук по всей Руси сведал?

И вдруг покосился на Евдокию. Но она потчевала Боброка и не вникала в их разговор.

— А насчет Суждаля ты верно понял. Это Овдотьин рушник, оттоль привезен.

— День ноне хорош! — сказал Владимир.

— А любо было бы в такой денек утеху срядить, — отозвался Бренко. — Время марно, воздухи легки. Славно было бы в лесах лося взять, плечи размять.

— Думаешь, от охотницких утех у князя твоего чрево убудет? — засмеялся Дмитрий Иванович.

— У меня б за Кудриным! Хороши леса!

— По всей Москве таких лосей нет, как на Сетуни,— сказал Боброк. — Невидная речка, а добычлива. Намедни пастухи двух косуль видели небывалых — рога как у туров, а ноги оленьи. Туда и свейские олени заходят, седые.

— Отец Сергий сказывал: в прошлом годе в самую Троицкую обитель стадо вепрей закинулось. Пришлось отцу Сергию посохом их изгонять со своего огорода. Всю, говорит, капусту выломали, — сказала Евдокия.

Боброк ответил:

— Вепрье мясо как бы псиной отдает. Не уважаю.

Евдокия попрекнула:

— Ты, Дмитрий Михайлович, слыхивала я, медвежьи окорока коптишь. Я такой дичины брезгую.

— Ее вкус со свининой схож. Но жир много гуще. К медвежатине я приобык на Волыни, Овдотья Дмитриевна.

Владимир Андреевич заметил с раздражением:

— Эн Ольг Иванович в Рязани приобык с татарами конину жрать. Алексей-митрополит еще о том его запрашивал.

— Тьфу! — передернулась Евдокия. — А что ж он ответил святителю?

— В Орде, говорит, истинно — поганился. А в Рязани — чист.

— Он и соврет — дорого не спросит! — усмехнулся Дмитрий Иванович.

— С волками жить — по-волчьи выть! — возразил Бренко.

Боброк покачал головой:

— А кто неволит его жить с волками? От Рязани до нас ближе Орды.

Евдокия любила, когда за ее столом говорил Боброк. Легкий его голос будто таил в себе силу и ласку.

— С Ольгом договориться мудрено, — сказал Бренко. — Говорит — в глаза смотрит, а глядь — повернулся ветер, и Ольг повернулся.

— Я его не виню, — сказал Дмитрий. — Как подумаешь: каждую минуту могут татары навалиться, сёлы пожечь, отчипы разорить, все княжество вытоптать, — не могу винить.

— Ты миролюбием дивен, Дмитрий. Всякому тати рад гривну дати.

Дмитрий настаивал на своем:

— Сердцем он всегда с нами. Но паче себя свою землю пасти обязан.

Бренко подхватил слова Дмитрия:

— Да и многострадальна Рязань. Нет на Руси другого города, где столько русской крови пролито. Ноне молодые забывать о том стали. Придет время — спомянут.

— Вот то и дивно, — заметил Боброк.—Сколько одной родни у Ольга татарами выбито, а он с ними якшается.

— А может, он ждет своего часу?—спросила княгиня.

— Князь не старица, Овдотья Дмитриевна, — ответил ей Владимир Серпуховской, — он не ждать, а ковать свой час должен. Вот как мы куем с братом.

И Дмитрий погладил руку брата:

— Спасибо, Владимир.

Отроки бесшумно служили им, собирали кости со стола, сменяли блюда.

Дмитрий ел много, сосредоточенно, а пил мало. Остальные же и Евдокия Дмитриевна хлебнули меда всласть. По телу бродило блаженное тепло, и глаза веселели.

Евдокия, нечаянно глянув в окно, воскликнула:

— Глянь-кось!

Улица взбухла от весенней влаги и от недавних дождей. Люди ходили по узким деревянным мосткам, настланным вблизи стен. На мостках стоял татарин Бурхан.

Его знали все. Отец его в Суздале был баскаком, собирал хану дань. Не Суздальский князь, а баскак был хозяином в городе. Но когда Иван Калита съездил в Орду и выговорил у хана право самому собирать для Орды дань, нечего стало делать баскакам в русских городах. Баскак выехал из Суздаля. Суетный торговый московский быт пришелся ему по нраву. Здесь ордынские товары имели спрос. Когда баскак умер, сын его Бурхан вошел к Мамаю в любовь и прибыл в Москву присматривать за ее делами. Пятый год тут сидит, торгует и смотрит — спесивый, наглый.

Татарин стоял на мостках, глядя на город. Тканый полосатый, как ковер, халат сверкал на солнце. Завитая пышными свитками розовая чалма поднималась над мурзой, как купол. На сапогах из зеленого сафьяна торчали задранные вверх острые носы.

Бурхан торжественно стоял, глядя на острые верха теремов, на маковцы храмов, и, поигрывая плеткой, думал, что пора бы вместо крестов поставить мусульманские полумесяцы на остриях московских церквей.

Народ шел и, обходя татарина, соступал с мостков в грязь, тотчас увязая в ней по щиколотку; идя по грязи, люди кланялись мордастому Бурхану. И, лишь далеко обойдя, снова вылезали на доски.

— Ишь ты! — кивнул Дмитрий Бренку.

— Ужо! — ответил Бренко и пошептал отроку: — Глянь, нет ли в гриднице Гриши Капустина. И каков?

И отрок, словно на крыльях, кинулся по переходам вниз.

Еще охмелевший Бренко не успел отойти от двери, как отрок уже возвратился.

— Ну?

— Сюда привесть, Михаил Ондреич?
— А он где?
— На лестнице.
— Я сам.
Бренко вышел и увидел детину ростом выше себя на голову, а шириною плеч вровень с шириной лестницы.
Пригнув низколобую голову, Гриша из-под свисших русых волос глядел на боярина. Молодая борода нежно курчавилась, а усы ласково улыбались Бренку.
— Ты, Гриша, чего там деял?
— На медок глядел, Михаил Ондреич.
— Прикоснулся?
— Одну малость только...
— А мощен ли?
— Мощь от влаги не оскудевает.
— Там внизу на мостовинке Бурхан проходу мешает. Подь, пройдись.
— А ежели я об него споткнусь, Михаил Ондреич?
— Подь, подь!
— Но штоб опосля обиды не было, боярин...
— Помилуй бог!
Бренко, вернувшись, черпнул в ковшик меду и сдул пчелиное крылышко; со дна всплыл золотистый листок хмеля, Бренко опять подул. А Дмитрий, Евдокия и захмелевшие гости приникли к окну.
Гриша вышел со двора и вдалеке перешел улицу. Широко расставив руки, на тяжелых неповоротливых ногах, не спеша, пошел он по мосткам к татарину.
А мурзе нравилось на город глядеть, нравилось от прохожих почет иметь. Завидев Гришу, Бурхан слегка скосил на него глаз и отвернулся: не мурзе же сворачивать, уступать дорогу.
— Нуко-ся! — сказал Гриша.
— Чего нуко-ся? — покосился мурза.
— Посторонись-кось.
— Что-что?
— Дай-кося пройтить.
Бурхан разгневался:
— Обезумел, холоп?
— Чей холоп?
И Гриша слегка посторонил татарина... Чалма развилась змеей, Бурхан опрокинулся и, перевернувшись, влип в грязь посреди дороги.

Баскак не успел еще вспомнить подходящих русских слов, как Гриша спрыгнул к нему в грязь, вывернул плеть из Бурхановых рук, оседлал баскакову шею и потыкал мурзу всем лицом по уши в добрую дорожную грязь.

Гриша обтряхнул колени, вспрыгнул на мостки и пошел в слободы.

Мурза еще не выплюнул глины, залепившей рот, а уж из великокняжеского терема выбежали пристава поднимать ордынского гостя:

— Батюшка, Бурхан Агуреевич, как же это ты обступился? Государь узнает, тужить будет!

Но Бурхан только плевал.

Повели гостя под руки, участливо отирали с лица грязь, норовя нажать посильнее.

Дома Бурхан не успел халата сменить, как прибыл боярин от Дмитрия:

— Очень справляется государь об твоем здоровье, Бурхан Агуреевич.

И пока Бурхан думал, как ему отвечать, боярин развязал шелковый узелок и вынул витой серебряный перстень с капелькой бирюзы, зажатой завитком серебра. Голос боярина стал строг и громок:

— Жалует тебя государь князь Дмитрий Иванович всея Руси сим жуковиньем. — И, поклонившись, ласково договорил: — На память.

Евдокия сошла во двор глянуть, как сохнут сундуки.

На ярком весеннем солнце были развешаны залежавшиеся в кладовой шубы, меха, тканые и парчовые платья, охабни, сарафаны; ткани, свезенные от немецких и фряжских ткачей, от византийских мастеров из Царьграда; шелка из Орды, из Ирана; меха с глухих лесных промыслов. Все было раскрыто навстречу светлому весеннему ветру. Лишь бобры проветривались в тени, чтобы не порыжели от яркого света. В воздухе остро пахло перцовыми и лавровыми листьями, которыми перестилали вещи в сундуках от моли.

А окованные узорными скобами и кружевными железами расписные сундуки стояли среди двора, разинув алые и белые пасти.

Евдокия стояла среди разворошенных теплых своих богатств. Скворцы неистово свистели и трещали везде.

Медок тихо отступал от сердца. Сыновья — Василий и Юрий — шумно играли на влажной земле, втыкали в землю палочки и метились в них из деревянных луков. Мамка поставила на земле обвязанную розовой лентой щепку:

— Нуко-сь, князюшко, стрели татар Бурхана!

Евдокия резко обернулась к ней:

— Чего надумала? — И взглянула так, что мамка стремительно выхватила из-под стрелы щепку и скрыла в сарафан.

— Ой, нету ее. И не было!

Трехлетний Юрий завизжал. Евдокия ласково вдавила в свои колени его мордочку. Юрий на три года отставал от брата, но тянулся, не желая ни в чем ему уступать. И не хуже Василия попадал в цель. Он был в отца — черен и смугл.

«В батю!» — думала мать, прижимая Юрия.

В это время Евдокия узнала, что из монастыря заехала к княгине жена князя Боброка, Анна. А тут еще пришла во двор жена Бренка: боярыне было любопытно глянуть на великокняжеское добро.

— Сушишь, Евдокия княж Дмитриевна?

— На то и весна.

Бренкова медленно опустила глаза:

— Только ли на то, не знаю.

— А что ж еще?

— Не одна рухлядь залеживается, а ведь и бабы тоже.

Евдокия засмеялась:

— Ну, твой Михайло Ондреич залежаться не даст.

— А мне русые не по душе. Размазываются, как тесто!

— Пойдем наверх. Там княгиня Анна: за мужем заехала.

Она пошла впереди гостьи, круглоплечая, плотная, упруго ступая вверх по дубовой лестнице.

— У меня эту зиму меды удались. Отведай.

Запыхавшаяся боярыня едва успела сказать, как и у нее хорошо настоялся мед:

— На укропе. Духовито, крепко.

— А варила?

— Варила, варила...

Крепко и ароматно пахло в палатах древесной смолой, травами, корешками, развешанными по углам, растыканными позади икон.

Женщины разговаривали. У Бренковой новостей было много, но строгая лицом Анна неодобрительно косилась на нее.

Евдокия подозвала девушку:

— Там скоморохов нет ли?

Анна перебила ее:

— Нет, Овдотьюшка, мне время домой.

— Да князь Дмитрий Михайлович наверху спит. Обожди, как встанет.

А девушка радостно говорила:

— С утра трое ростовских внизу сидят. Да Тимоша коломенский с медведем на дворе стоит.

— Удумала! Медведя сюда весть! Песельников покличь.

Песельники вошли, поигрывая и напевая еще на лестнице. Принялись низко кланяться:

— Матушке княгине Евдокие Митриевной. Дай тебе бог здравствовать и красоваться, многие лета с красным солнушком миловаться! Заводи, Олеша, переладец!

Они гудели, приплясывали. Беспечная песня плясала вместе с ними, лапотки поскрипывали. Девушки, толпясь в дверях, пересмеивались, переталкивались локотками.

Старший из скоморохов, все еще разводя руками, остановился среди горницы и запел:

Славны богатыри во Киеви,
Славны звоны в Москве-городе,
Сладки поцелуи коломенские,
Широки подолы рязанские,
Лубяные сарафаны во Суждали,
Люто любы любки белевские,
Белопузы вдовки литовские...

Вдруг осекся и принялся низко кланяться, а за ним и остальные: в дверях стоял князь Боброк, еще румяный от сна.

— А побывальщины петь горазд? — спросил князь старшого.

— Пою, господине.

— Перейми новую. Писцы те скажут. Она ими списана.

Старший кинулся было к дверям, писцам внимать, но Боброк остановил:

— Нет, уж сперва княгинь потешьте.

И скоморохи снова загудели в дудки, задвигались.

Когда песни смолкли и женщины ушли к вечерне, скоморохи сели внизу на широкой скамье, и писец внятно принялся читать им слова побывальщины:

Пред собой ты дверь пятой распахивай,
С головы шелома ты не сбрасывай.

Старший, грозя пальцем, перебивал писца:

— Погодь, погодь! Как тут, значит? Это татарин посылает ко Владимиру посла и наказывает...

— Пред собой ты дверь пятой распахивай...

— Уразумел. Не кланяйся, дескать, русскому князю. Понимай об себе.

И писец волновался, боясь ошибиться, боясь, что певец поймет его неправильно.

А когда по песне завязался бой, писец начал подозрительно переспрашивать певца:

— Разумеешь? Надобно петь так, чтоб от татар пух летел.

— Вроде как Бурхана нонече...

— Тсс... — покосился писец, — об этом только Бурхан знает. Никто не видал, никто не слыхал.

— А слух как удержишь? — спросил младший.

— А слух пущай себе идет. Туда ему и дорога.

Когда вся побывальщина перешла с бумаги на память, старший ее запел. Старинный лад ожил, наполнился новым смыслом, и певец взволновался: впервые, хоть в песне, он бил татар.

И он понес ее на многолюдный город Москву.

А Боброк стоял позади Дмитрия в церкви Спасского монастыря и, слушая вечерню, что-то шептал свое, не похожее на мирный поток молитв.

Четвертая глава
КРЕМЛЬ

Ставили башню скоро. Скоро умели тогда строить. Деревянные церкви оттого и назывались обыденными, что ставили их, отделывали и освящали обыденкой, дружно, в один день. Таковы были русские плотники. Каменную Михайловскую церковь в Москве сложили за один год и считали время это долгим; монастырскую Михайловскую церковь в Чудове тоже сло-

жили в один год. Таковы были русские каменщики. Но бог имел время ждать, а враги могли и не пождать окончания московских стен, посему башню положено было соорудить в течение ста дней.

Возле стены, напротив тайника, сколотили деревянный вертеп и разместили там на жилье каменщиков. Тесно было и темно. Потолка едва не касались теменем, а Кирилл и касался. Окна прорубать почли излишним: «Не хоромы, чать, а людская!»

Дверь держали открытой, чтоб вонь спускать. Кормили скудно — либо Москва бережлива, либо дворский боярин скареден.

Но Алис не видел ни мрака, ни грязи, ни худосочия своей дружины, ни сурового вида Кириллова. Он вознесся наверх кладки и вместе с ней восходил к хмурому московскому небу.

Кремль окружал его. Жались друг к другу строения, зеленели сады и дворы. Темнел, хотя и поредел изрядно, бор, спускаясь к Боровицким воротам. Церковь Спаса стояла толстая, как дородная боярыня. Золотой маковец ее упирался в небо, словно воинский шелом. Чудов, весь деревянный, отстраивался. Великий князь Дмитрий чтил этот монастырь особо—здесь похоронили Алексея, княжеского наставника. Высился над строениями и Архангельский собор, но все вокруг было бревенчато, низменно, и Алис не мог понять красоту Кремля, хотя русские радовались ей. Он предпочел бы плоскую мощь каменных стен, восходящих одна над другой, он скупо украсил бы их, чтобы каждая складка завитка четко выступала из камня, как ящерица на песке пустынь. А есть ведь добрый камень. Он и желтоват, и розов; не единым лесом богата Москва, но и каменными залежами.

— Ты мрачен и волосат, Кирилл. А о чем печалуешься? Строим, как в Цареграде; крепко, как из гранита. Дружина понятлива. Строим мы по своему замышлению. Чего же ты?

— Взгляни, — строим сторожню от битв, от врага, а сами, как враги, окружены и заперты. Я хотел по Москве идти — мне сказали: «Назад!» Я хотел со стены с человеком словом перекинуться—мне велено было слезть. Я хотел в церкву пойти, на молельщиц глянуть — ан пристав злым глазом своим скосился на меч и велел в доме своем бога славить. Тяжко мне.

— Сосредоточь свою мысль на зодчестве; думай о башне, говори с ней. Она растет. Нас не в рабство ввергли, но только торопят. Нельзя ввергнуть зодчего в рабство, давая ему замес и камень, давая ему право строить по своему мечтанию.

— А я не могу мечтать под плетью и оттого скорбен теперь. Не суди меня, но скорбен я.

И шепотом добавил:

— Скорбен вельми, но и вельми гневен.

— Ты всю жизнь не можешь унять своего сердца. Оно тебя ведет, а его надо подчинить себе. Только тогда станешь мастером.

— Слушаю тебя. Но мыслю инако.

— Мыслью твоей не владею, Кирилл. А хотел бы перевернуть ее!

— Хотел бы и я, но каждый новый камень возвращает мысль вспять: раб, раб, раб... Лучше б было сидеть в Рузе. Идя сюда, возмечтал. Лучше не мечтать совсем, нежели, возмечтав, от мечты отречься.

Каменщиков дали Алису мало. Все они тоже были княжеские, тоже опасались Можая, старались усердием смягчить свою прежнюю жизнь.

Вдоль Москвы-реки, на том берегу, и на плотах постоянно толпились люди: сладко смотреть, как возрастает строение, будто сам кладешь камень на камень. Иные, забредя в Москву издалека, просиживали целые дни, глядя на кладку. Иные кричали каменщикам, советовали. Но окрик сторожей сбивал их слова на лету, как влет пронзает стрела птицу.

— Эй, лапоть! Держи язык за зубами!

— Легко сказать «держи», ан у слова-то хвоста нету. Ан оно вить не воробей — вылетит, не пымаешь.

— Но-но!

— А чего это молчать?

— А то, что слово—солома, загорится—не зальешь.

— Да ведь стрельня ж не соломляная!

— Но-но! Сказано: держи язык!

— А он у меня слизкой, поди подяржи!

— Эй ты, якаль окской, говори да помалкивай.

— Нам язык господом не для молчания даден.

— Ишь ты, Игорий-богослов. Монах, что ли, ча?

— А ты не рязанской ли, господин пристав?

— Откули ча, спознал?

— Оттули ча, што ты — чакаль.
— Ох, батюшки, со смеху помереть...
А каменщики молчали.
Дмитрий уезжал в волости, уезжал на охоту, возвращался, уезжал снова.
Стены поднимались неуклонно, скоро, как было велено.
Дмитрий пришел посмотреть постройку. С ним был Боброк. Никто не сопровождал их — люди остались за горожей, окружавшей стройку.
— Как бог пособляет, мастер?
— Не жалуюсь на бога, кир.
— А каков его бог-то? — поинтересовался Дмитрий у Боброка.
— Магомедданский. Общий с татарами.
— Значит, кому ковы куем, того и в ковачи берем? — засмеялся Дмитрий.
Алис не понял их разговора, но почел смех их за добрый знак. Он попросил:
— Дружина жалобится — в город не дают сходить. Объясняю им: оттого, что торопят. Пойдете, говорю, когда отстроимся.
— А зачем ходить? — нахмурился Дмитрий.
— Слово как сокол — ладит на голубиц низринуться. Когда ж сидят одни соколы, некого им терзать. Слово ушей ищет, чтобы в них гнездо свить.
— Во многоглаголании несть спасения! — ответил Дмитрий.—Творите свой труд в молчании, тем спасетеся.
— Благодарю, кир Дмитрий Иванович! — поклонился Алис.
Идя дальше, сопровождаемый Боброком и Алисом, Дмитрий прошел близко от отшатнувшегося и поникшего в поклоне Кирилла.
— Многоволос, яко зверь лесной! — сказал Дмитрий.
Боброк замялся, не зная, переводить ли и теперь княжеское слово на греческий. Он промолчал, а Дмитрий обернулся к Боброку:
— Благодарствую тебя, Дмитрий Михайлович! Вижу, помнишь наш уговор о немоте каменщиковой.
— Каменная немота, княже! — засмеялся Боброк, недоверчиво оглянувшись на Кирилла; но тот продолжал стоять, поникнув в поклоне.
Дмитрий молча вглядывался в крепление стен. Вникал, в меру ли прокален, не крошится ли кирпич. Было

такое в Коломне—строили, строили каменную церковь во имя Покрова Богородицы, а едва каменщики успели с лесов сойти, как стены обрушились. Кирпич в нижних рядах не выдержал тяжести и пополз, как сырой песок.

С высоты башни Дмитрий оглядел Москву. Все Заречье тонуло в садах. Из зелени кое-где высились кровли теремов. Изредка поднимались чешуйчатые маковицы церквей. Слева сиял позолоченный верх Параскевы Пятницы. Это рязанский купец Игнат Титов поставил в благодарность Москве за приют. Сбежал в Москву: неспокойно купцам на Рязани, того и гляди, татары нагрянут на рундуки. Со всем имуществом, с людьми сюда приехал. Богатые жильцы Москве не помеха. Да и бедного человека Москва привечает: пусть поселяются, новый человек — новый данник. А земли без людей дани в казну не вносят. Тем и богатеет Москва, что людьми расширяется. Иные князья завидовали Дмитрию:

— Ты, князь, привораживаешь. Али Боброк за тебя.

Чтут Боброка за волшебника, потому что много учен и многое видел.

«С людьми надо быть ласковым, и люди к тебе придут. Лучше на гривне полушку простить, чем, полушку добывая, человека упустить, а с ним вместе и гривну».

Дмитрий прочно помнит заветы своих дедов.

Он посмотрел на Кремль. У отца Кремль был весь деревянный, местами лес даже крошился. Спасибо пожару — спалил все стены, как короб берестяной. Тогда и надумали больше деревянных стен не ставить. Высокие стены возвели. Кое-где в два, а то и в три ряда, стена над стеной, как сосновая шишка. Ров углубили, дно все вычистили. В иных городах кремли круглые поставлены либо многоугольные, а Московский сложили о четырех углах. Но вышел не ларцем четырехгранным, а как бы стременем, а лучше сказать — топором. И лезвие топора обращено к западу, а на татар — обушок.

Строение к строению, каждое расписано, чем-нибудь изукрашено, в каждое вложена человеческая любовь к красоте, каждое обжито человеческими горестями и радостями, каждое Дмитрию ведомо, построено на его глазах, кое-где его тщанием, по его совету, по его слову. Не все так вышло, как думалось: то плотники норовили на свой лад поиначить, то каменщики вдруг замышляли посвоему повернуть; многое же выросло будто само со-

бой — красиво, а и в мыслях у князя не было такое сооружать. Теперь он сам видит—красиво: словно подарил ктонибудь. Там церковь, не похожая ни на одну из прежних, а то вот терем странный и милый высится в тени листвы. Девушки либо боярыни — стоят на траве: хороши их яркие сарафаны на светлой зелени.

Спустившись с башни, Дмитрий, как в тесто, сунул палец в бочку с замесом:

— Гож ли будет сторожню держать?

— О! Века продержит! — восхитился Алис. Многих он видывал владык на свете и императора Византии видел, но тот до ремесла каменщицкого не снизошел, пальца в замес не запускал. Можно работать для Дмитрия. Зря хмурится Кирилл.

Дмитрию принесли светильники, и в полыхающем, живом их свете он полез в подземелье.

Оттуда пахнуло на него не то кошачьим калом, не то разрытой могилой. Сырая земля оплывала, сопротивлялась землекопам, внедрявшимся в нее, доставалось и каменщикам, сводившим над ходом своды.

Дожди хлестали строителей, солнце пекло, ветры сушили лица. А князь торопил рыть, рыть, рыть. Теперь Дмитрий опаривал каждую щель: добротно ли, устоит ли, выдержит ли? Можно ли почесть этот важнейший кусок княжества завершенным навеки?

Дмитрий ушел с башни довольный. Зашел в вертеп и осмотрел еду.

— Плоха варница. От такого вара не жди товара. Надо людей тешить, тогда и люди утешут тя.

— Я присмотрю за тем, — обещал Боброк,

А под башней по-прежнему, как кроты, врывались в земные глуби люди, расширяли старый ход, крепили его камнем, взамен слизкого гнилого дубового перекрытия.

Долго рыли.

Каждый усердие свое показал. Каждый сердце свое раскрыл.

За три месяца кончили Тайницкую башню. Осталось только попам освятить ее.

Дмитрий велел служить молебен торжественно. Созвали сродников княжеских, бояр, весь двор Дмитриев. И многие дальние князья приехали — не каждый день в Москве башни святят! Да уж и наслышались все о необыкновенном умении княжеских каменщиков. Молва,

как ветер, — незрима глазу, но пролетает стремительно — каждого коснется, каждого взбодрит.

Но строителей не допустили слушать молебен, и святая вода с кропила ни единой каплей не коснулась их почернелых лиц.

Их послали в город, имени коего никто не слыхивал до того. Там обещали им полный и долгий отдых.

Провожал их Боброк.

Алис стоял, запрокинув голову, и смотрел, как над завершенной башней поднимали кованного из железа позолоченного льва.

Боброк неслышно остановился позади Алиса и смотрел на него. Когда зодчий обернулся и склонился в приветствии, униженно прижав к сердцу руку, Боброк спросил:

— Ну как, доволен сооружением?

— Лучше всего, что строил раньше. Цареграду не оставил того, что донес вам.

— Так и надлежит рабу радеть о господине.

— Именно так.

— И князь велел сказать, что мастер ты добрый, что заслужил ты отдых. Он тебя наградит.

Алис разогнулся, надумав сказать слова благодарствия, но встретил пристальный и недобрый взгляд Боброка. И слово умерло прежде, чем родилось: что-то страшное померещилось Алису... Но он тотчас подумал о похвале, присланной ему от князя, о милости, обещанной ему, и улыбнулся, глядя в глаза Боброку.

Дмитрий Михайлович погладил ему плечо, снял с пальца перстень и надел его на перст Алиса:

— А это тебе я дарю раньше дара Дмитриева.

И снова Алис кланялся, прощаясь с милостивым князем.

Их вели по Москве с почестью. Конные ехали по сторонам, Москва смотрела на них, обряженных в чистые новые одежды. Им завидовали:

— Кончили сторожню. Теперь наградят, жизнь обеспечат.

Стража следила, чтобы народ не напирал, не теснил, не беспокоил задних. Вели по Москве неспешно, дали вдосталь наглядеться на деревянный, тесный, сырой, такой заманчивый город, на который столько смотрели, бывало, с высоты своего труда, в котором столько скопи-

лось у каждого из них желаний и ожиданий. И, не коснувшись города, ныне они уходят прочь.

Дороги по Руси идут реками, либо лесами. Лесами пошли строители Тайницкой башни: видно, князь торопился довести их до отдыха. Темнее и глуше вставал над ними лес.

Кирилл подумал, что дорога эта идет к Вори-реке, значит — на Троицкий монастырь.

«Уж не монастырь ли Сергию будем строить?»

Но воины остановились и окружили каменщиков. Кто-то вскрикнул. Кто-то из конников взмахнул клинком. Брызнула кровь.

Кирилл, изогнувшись, проскочил под брюхом коня и ринулся в можжевель. Всадник, вскинув коня на дыбы, круто повернулся следом за ним. Пешему в лесу бежать легче. Конного всякий сук задевает. А чтобы спешиться, тоже срок нужен.

Великий князь Московский не хотел, чтобы враг распознал о тайнах Тайницкой башни, и, чтобы и впредь тайна сия не стала явной, положил своих мастеров во мхах лесных на вечные времена.

Пятая глава

СЕТУНЬ



Выехали в светлое утро, на заре, чтоб прежде зноя достичь лесов. Завершение башни праздновали большой охотой. Рано выехали, а город уже встал—прослышал: «Дмитрий на утеху сбирается!»

Кто в церковь шел, кто за припасами на торжок.

Москва стояла свежая в том году, вся заново отстроенная после большого пожара. Ныне старые срубы — в диковину, а новые построены многообразно. Не то Рязань али Нижний Новгород и даже не Переяславль-Залесский. Те и из пепелища встают прежними: там житие многовековое, коренное, строение единообразное; там в городах и селах блюдется обычай дедовский — строят дом по дому, венец по венцу, по-дедовскому.

А Москва встала на перепутье. Народ ее прибывает с востока, а убывает к северу; с запада едут на полудень, с Варяжского моря к морю Хвалынскому, а от Сурожских берегов к Беломорью. Иные проедут, а иные

и остановятся: видят — град пуст, спален и вызморочен, люди нужны. Оседают псковичи; селятся новгородцы; бегут сюда рязанские купцы, от татар подалее; греческие мастера прибывают со своими затеями; генуэзцы ищут у князя чести; литовцы просят пристанища, дабы веру от Ольгердова латынства упасти; киевляне со своими домочадцами перебираются от оскудения отчих мест. Разнолико московское население, и каждому сладостно в доме своем подобие родного гнезда иметь.

Так возрастают на пепле дома: то приземистые, толстостенные, коренастые, то высокие, светлые, расписные, а то встретятся и такие, что подобны башням — узкие и островерхие. Иные дома тыном огорожены, другие просты, доступны всякому и гостеприимны. И сердцу радостно: после каждой беды Москва восстает снова, но обширнее и краше. Ни огонь, ни мор, ни иноплеменный меч посечь и пожечь ее не может и не истребит никогда, доколе будет русская речь объединять многоязыкую Русь. И слово-то «Москва» значит медведица,—одолей-ко ее поди.

Дмитрий едет на пегом коне. Не по обычаю, — на белом бы ехать князю, да резв пегий конь. А на охоте резвость — первая нужда.

Шапка на Дмитрии, опушенная голубой лисой, выткана в Орде, Мамаевых баб рукоделье. Шапка та округляет лицо, оставляет весь лик открытым и на быстром ходу коня с головы не спадает.

И сшитый искусным мастером кафтан прост не повеликокняжески, а ткань драгоценная, фряжская. И мудрено понять, где на Дмитрии сверкает золото, — а сверкает! — кольца ли, перстни ли на перстах, пояс ли, порты ли расшиты.

Ехать тесно: не дюже широки улицы. Едут по двое, мало кто по трое. Поезд охотничий, как пояс, растянулся.

Едет худощавый да широкобородый Серпуховской князь Владимир Андреевич. Его одежда побогаче справлена; конь весь камкой покрыт, аж масти не видно.

А того богаче Дмитрий Боброк. Седина уж в бороду ударила, а видать воина: ладно на коне сидит! Не едет — пляшет над людьми московскими. Ведь если бы с него драгоценные уборы совлечь, страшно было бы на него глянуть—все тело в боях истыкано, многие раны так и не заживают. И чье только железо об него не звякало —

и татарское, и литовское, и булгарское, и нижегородское, и черемисское, и не перечесть всех, а он по всем прошел, — видно, не писано ему порубленным быть, да и благодарение за то богу: хоть и Серпуховскому князю служит, а стоит за Москву. Такого богатыря в прежние б досельные годы в песнях славили, как Илью Муромца, как Добрыню бы славили, аще не токмо мечом, а и умом горазд. Да и властен: на Дмитриевой сестре женат.

Не то Бренко. Этого всякий ведает: к Дмитрию близок. На коне, как на бревне, сидит — крепко, не смахнешь, не сдвинешь, а весь пригнулся, поник. Но у князя в чести, ближний советник, неразлучник. Да и пышность его нескладна, дорогое все на нем, а будто с чужого плеча, будто Дмитриево донашивает. А вельми пытлив: ходит везде смотреть — обряд ли народом какой справляется, церковная ли служба на освящении храма, так ли гулянье какое — везде поспеет.

Тарусский князь едет, на грача похож. Сам черняв и одет черно, не цветасто, не радостно. Туча хмурая, а не князь светлый. И конь под ним вороной, одна звезда во лбу белая, да и на ту синие бахромы с оголовья спущены. И одежда блистает у князя серебром, а не золотом. Нешто нет средств у тарусян своего князя срядить по достоинству? Книжен, учен, многоязычен, а наряда русского не разумеет.

«Мнихом бы, чернецом бы тебе, схимником бы, — справный бы игумен вышел!»

То ли дело молодой Иван Белозерский едет! Светел и одеждой, и ликом, и оружием, и с Дмитрием, как брат, схож. И ланиты, как утреннее солнце сквозь белый туман, разгораются, ежели девичий взгляд переймет. А девкам на других и смотреть не любо, коли этот здесь. Не велик конек у него, а прыток—головкой помахивает, удила перегрызть норовит. Такому детине мелковат конь.

Не весьма на охотников надивуешься — каждому надо почесть воздать, поклониться поясно. Поднять глаза — за дерзость почтут.

Низко кланяется Москва охоте Дмитриевой, что самому великому князю, что последнему псарю: вон и у пса ошейник позолоченный, стало быть, пес тот богатее иного купца, а купцу ж почесть воздается!

Едут — и дивуется ими Москва, и досадно, если свой боярин хуже серпуховского, тарусского или еще какого

одет. А пересудов будет полная калита: не каждый день, да и не всякий год такое случается. То проедут, не поспеешь взглянуть, а с чужих слов — не со своих глаз разуметь! А то и увидишь, да не разглядишь.

Сей раз не столь людно на улицах — всех видать. Зрелищен сей год — по зиме Алексеевы похороны глядели. Да там толкучно было, не пробиться. Сам цареградский митрополит погребал, одних епископов со всех городов сколь понаехало! Звон по всей Руси тоскливый стоял. А тут — иное.

Едет Дмитрий через весь свой город. Мимо садов, где зелень густа и тяжела от росы. Мимо стен, забрызганных внизу грязью, но еще слезящихся смолой, еще розоватых, а не серых, как было на Москве до пожара. Куда ни глянь—рубят плотницкие топоры; готовые срубы стоят ждут, чтоб на место сдвинули. Щепа подворачивается под копыта, глушит конскую поступь. Вон, видно, клин заколачивают: двое обухами по дубовому срубу молотят, а хозяйка внизу щепу собирает, новую печь надумала испробовать. Девушка за тыном поет — не время бы: в церкви служба не отошла, да и незачем в этакую рань петь, жалостливое сердце народу высказывать. А голос люб:

У колодезя холодного,
У студеного ключа гремучего
Красна девушка воду черпала,
Воду черпала, беды не чаяла.

Белозерский глаз скосил: голос люб:

Как наехали злы татарева,
Полонили красну девушку.
Полонили, замуж выдали
За немилого татарина...

Смело поет. Красоту сознает, значит. Заливается, высоко берет.

Калитка открыта. Вот она стоит! Обернулась. Господи боже мой! Нет у нее лица!

— Дома сего, Михаил Ондреич, не ведаешь?

— Ведаю, — говорит Бренко. — Валуя дом. Девка та за тыном из-под Рязани взята. Ей татары смолой аль кипятком все тело изожгли. Один глаз остался. А голос — сам слыхал. От всей редкостной красоты голос лишь уцелел. Вот и поет она. Пущай поет.

— То благо, — отозвался Дмитрий и задумался.

Так выезжают они за посады. Сразу начинаются хол-

мы. За Москвой-рекой курится марево. Стрекочут кузнечики в траве. Ярки крылья бабочек в чистом утреннем свете. Как в степи! Но простора нет. Острые шеломы бора высятся впереди в сивой дымке. Сено лежит еще в валах, досыхает. Кое-где уже стожат. Двое крестьян в белых длинных рубахах топчутся на верху стога, уминают, пока снизу подают охапки подвезенных копен. Кони оборачиваются и ржут. На соловой крестьянской кобылке сидит русоволосый парень. Его посадка легка и надменна, и это не понравилось Тарусскому. Насмешливо поглядывая на всадника, он говорит Боброку:

— Инии форозе, воспад на фарь, мнят ся стратигами! [1]

— Хороший седок Руси надобен, у врага заклятого паче наших наездников, — отвечает Боброк, и Тарусский с сомнением передергивает плечом.

Крестьяне скатываются с возов, со стогов, кидаются к дороге, чтоб, хоть стоя на коленях или уткнувшись в землю лицом, прослышать над собой топот Дмитриевых коней, уловить звон оружия, слово или хотя бы невнятный говор.

Княжеские псы волочатся на цепях, высовывают языки, покрытые слюной, пока псарева плеть не свистнет над ушами.

Задолго до полудня въехали в лес. Сперва шел вековой бор. Земля усыпана бурым игольником, иссохшей хвоей, устлана, как плесенью, глубоким мхом. Охоту окружили тишина и покой.

— Здесь бы монастырь основать! Экой мир! — воскликнул Бренко.

— Ладаном тут и так пахнет, а чернецам мягкая земля соблазнительна, — она не смиряет, а распаляет! — сказал Белозерский.

Дмитрий неодобрительно оглянулся на него:

— О чернецах игуменское дело пещись; наше дело — об обителях. Здесь нет воды и место гладко: не выдержать обороны на сем месте. Монастырь — есть кремль господень. А хорош кремль, ежли он и нам, мирянам, сгоден. Затем и монастыри создаются и вера блюдется. Вникни, княже. В чернецы многие воины сходят; отпущаем в монастырь, а не в гроб.

---

[1] Некоторые всадники, взобравшись на коня, мнят себя полководцами *(смесь греческого и славянского)*.

Подумывали здесь зной перестоять, но не нашлось ни ручья, ни родника. А без воды пешему стан не в стан, а конному и подавно.

Дальше пошел смешанный лес. Стало между деревьями просвечивать. Раскрылось мелколесье на старом пале. Звякнул невдалеке колоколец. Собаки потянули в ту сторону морды: стадо почуяли.

Вскоре выехали на перелесье. Поджарые овцы стояли у опушки на полдне. Мотая головами, перебегая от кучи в кучу, мучались от оводов. Залаяли псы. Запахло теплой шерстью, овечьим потом. Заблеяла ярочка, подняв длинноглазую морду. В нерешительности стоял молодой пастух в рваной шубе, накинутой на рубаху, с длинным, как змея, бичом в руке: падать ли на колени, бежать ли к гуртоправу, кинуться ли в лес от беды? Кто ж знает? Всякие воинства на Москву ополчаются. Эти чьи? Шарили тут в былые годы литовцы Ольгердовы, хватали овец. Как бы и с этими беды не нажить!

— Чей скот? — крикнул Дмитрий, и голос, выросший в крепких боях, еще молодой, окладистый, рокотно прокатился по лесам, и леса долго, словно дым, пропускали его сквозь себя.

— Великого князя Московского и всея Руси Дмитрия Ивановича!

— А велико стадо?

— Полторы тыщи голов.

— А меня знаешь?

— Дозволь гуртоправа кликнуть, он бывалый.

— Зови, отроче!

Пастушок кинулся прытко. Ближние овцы шарахнулись в глубь леса, где в сени таилась главная часть стада. И отрок тотчас исчез в ветвях, исчезли и псы, и лишь колокольчик вожака колотился и щелкал невдалеке, как птица, прихлопнутая силком.

Прикрывая ладонью чело, высоко запрокинув голову, чтобы видеть из-под гноящихся век, опираясь на свой длинный, будто патриарший, посох, мелко переступая босыми ногами, торопился к Дмитрию из лесу старец. Рубище его было серо, а борода узка, длинна и седа. Но кожа лица, обветренная ли загаром, опаленная ли старостью, темнела, как кора, как лик угодника суздальского письма, хотя подуло от него не кипарисом, а горькой вонью овчины. Шерсть и на сермяге налипла, — видно,

скинул тулуп, чтоб скорей дойти. И, как бы поддерживая его, с обеих сторон, прислонясь к узким бедрам его, шли громадные густошерстые псы.

Низко, в пояс, поклонился, силясь разглядеть супротив солнца. Но солнце било в лицо, и хилая рука старика напрасно тщилась притенить взгляд.

— Чаю, меня кличешь?

— А кто ты, отче?

— Пастырь.

— Хороша ль паствина?

— Обильна, сыне.

— Вода здесь близко?

— Доброе место. Пожалуйте, бояре.

И так же трусцой старик повел всадников в кустарники.

Вошли между орешниками на бугорок и внизу, в овраге, в ольшанике увидели вьющуюся струю светлой речки.

Одиночные огромные ели шатрами нависали над мхом. Там и разостлали ковры для покоя. И прежде чем торопливые рынды успели поймать золоченое стремя, Дмитрий соскочил с седла и пошел к реке. На широком камне стал он на колени и пил пригоршнями воду, хотя рында уже стоял позади с узорным чеканным ковшом и полотенцем, перекинутым через руку.

Гуртоправ, отпугнув посохом своих овчарок, допытывался: кто в сей дружине старшой, и кто он званием, и откуда, и как имя ему. Но ответили ему, лишь когда Дмитрий прошел на ковры под ель.

— Сие есть Дмитрий Иванович.

Старик оттолкнул воинов и повалился перед Дмитрием.

— Княже! Не очима, нутром моим узреть тя должен. И не узрел! Видишь: ветх, истлел, скот пасу, — держу посох, а не копие.

— А и копие державал?

— Многажды.

— При ком же?

— Подпослед при Иване Московском.

— При отце моем?

— Отцу твоему Ивану Ивановичу и дяде твоему Симеону посохом служил, а я о копье реку.

— Значит, деду?

— Деду, княже, деду твоему. А до того у Дюдени в полону был, влачился в басурманском стане, видел, как поганые костры возводили из городов наших: изничтожение Мурома зрел, и Суждаля, и Володимера, и Юрьева, Переяславля и Углича; Коломну и Москву зрел в бедствии и в пламени, и Можай, и Дмитров. Но под Дмитровом вынес меня господь из полона и пламени: утек.

— Дак тому разоренью век минул. Сам ли был, слыхал от кого, может?

— Запамятовал, княже. Но аз и допрежде того в походы ходил: на Сити-реке кровью сыт был. А прежде того, на Оке, под Коломною от Батыги сбежал. Первый раз тогда у нечистых в полону был. В Киев мы сошли, а и Киев впусте увидели, покинут жителями, как гнездо по осени, — лишь пух да скорлупки мелкие, а сверху бурый лист. Сожженной Рязани кострище видел, когда в полку Коловрата-боярина на помощь рязанцам шел. Поздно пришли; татары оттоль уж вышли, а узрели мы князей, воевод, витязей, жильцов, отроков рязанских, разбросанных на мерзлом ковыле, занесенных снегом. И сказал тут Коловрат: «Город, город Рязань! Поздно мы пришли тебя от Батыги пасти́, чаяли рязанцам слезы отереть, а нет тут ни стонущего, ни плачущего, ни жен вопиющих, но вси вкупе мертвы лежат!..» Было у нас тысяча семьсот воинов с Коловратом. И кинулись мы вдогон за Батыгой и почали их бить. Сказывают, закричал тут Батыга: «Мертвые рязанцы поднялись, нас настигают!..» И страх напал на татар. И полегло их множество. А когда обессилели мы и избиены были, взяли нас пятерых, кровью изошедших, привели пред Батыгу. «Кто вы?» — спрашивает. «Рязанцы мы, — говорим. — Послала нас Рязань-город проводить тебя, как русские всегда иноплеменников от себя провожают: стрелами и копьями...» И повелел нам Батыга с честью похоронить Коловрата, а нас с собой до Коломны вез. В коломенском бою, сказывал тебе, мы от него утекли.

— Полтора века, отче, тому бою. Как можешь помнить? Может, слыхал от кого али возмечтал о том?

— Запамятовал, княже. Не упомню. А и допрежь Коловратова полка в походы хаживал. Я роду рязанского, но не токмо под рязанскими князьями бился. Первый раз бился, когда Батыга на Калку пришел. Я у князя Данилы в полку был. Первый тогда раз русские татар

узрели: квёлы, невидны они. Понадеялись князья каждый на себя, вразброд в битву пошли, а иные в отдалении своего часу ждали. Ой, много тел крестьянских полегло. Начали мы поганых рубить, разрубим пополам с темени до пупа, глядь — из одного рассеченного двое здравых встают, чем более их сечем, тем многочисленнее становятся. Плечи наши заныли, мечи иступились, руки обессилели, а они множатся и наступают. Осталось в памяти то побоище и клич наш горький, как скликать стало некого. Велики были плач и страх, и крепкая обида, и отмщенье за ту обиду на тебе, княже Дмитрий Иванович! На тебе!

Он поднял свой посох и запрокинул голову, чтоб видеть из-под воспаленных гнойных век.

— Тягостен хомут нам! Обида и неволя к земле гнут. Возьми посох мой, еже копий недостанет!

— Сколько тебе лет, старче?

— Я считаю овец твоих. О том спроси. А возрасту счет бог ведет.

И князь просил пастуха отведать яств своих.

Старика взяли под руки, подвели к коврам и пододвинули к нему солило, полное сладкой рыбы, благоуханной от приправ.

— Как же рекут имя твое, отче?

— Иваном по крещению.

— Отведай, отче Иване.

Старец рассказывал:

— Намедни, княже, твоя овца объягнилась четырьмя ягнятами. Благая примета. Будет тебе, Дмитрий Иванович, прибыль в сей год: богачеству ли твоему прирост, семейству ли, славе ли твоей, не ведаю. Но будет.

Дмитрий, уже не внимая его словам, думал о глубине обиды, о посохе, готовом в бой, о словах старика. Схожие слова твердили бояре; эти слова завещал отец, томясь на смертном ложе; их ему дядя Симеон завещал; их ему повторяла мать, но теперь возле мирного стада, в молчаливом лесу, они прогремели, как труба, зовущая к бою: родина изнемогает, родная земля попрана, к отмщению призывает она народ. Он—великий князь—собирает уже под собой князей, а все еще кланяется Мамаю, голову свою покрывает Мамаевой шапкой. Шапку ту от Мамая получил взамен своей, когда по ордынскому обычаю на пиру побратались они с Мамаем меной шапок. Бережно положенную возле, Дмитрий пнул ее ногой, как собаку.

Все заметили сдвинувшиеся Дмитриевы брови, скосившийся рот. Быстро он оторвал руку от кинжала и провел ладонями по раскрасневшемуся лицу. Он был бледен, но улыбался.

— Выпьем за старшего из нас. Во здравие твое, отче Иване!

— Я, княже, единую лишь воду пью.

И тотчас подали ему воду в позолоченной чашке.

— Здрав буди, Дмитрий Иванович. Премного милостив ко мне, господине.

Когда все разлеглись по коврам и мураве на полуденный покой, Дмитрий, Владимир Серпуховской и Боброк отошли от стана к воде. Старец следовал за ними в отдалении.

Румяногрудая птичка — ольшанка, попискивая, порхала по кустарнику; может быть, опасалась за недалекое гнездо, затевала отвлечь людей от птенцов в сторону. Малая птица, а и та свое гнездо бережет.

Вышли на открытое место. И увидели: в небе металась темная стая. Высоко-высоко парил вырвавшийся у охоты сокол. Пока охотники яствовали, сокол, видно, обидел скворца, и теперь десятки, тьмы скворцов кинулись на него, и сокол тщетно от них отбивался. Вниз, крутясь, летели соколиные перья. Маленькие птицы ощипывали в небе могучего хищника; кидались на его крылья, на темя. Свист и сверест стоял в небе, доколе сокол не покатился с высот в лес; скворцы ринулись за ним.

Владимир гневно обернулся:

— Что ж сокольничий смотрел? Кто упустил сокола?

— Постой, Владимир Ондреич,—остановил Боброк.— Это нам небесное знамение. Сильна Орда, с Батыевых лет она бьет нас поодиночке. А вместе, стаей, не уподобимся ли мы пернатому воинству? Найдется ли тогда сила, супротивная нам? Вот к чему сие знамение! И сто́ит оно дороже всех наших соколов.

— Народ единомыслен в сем, — ответил Дмитрий. — Одни лишь князья мутят и усобятся. Усовестить их словом тщится игумен Сергий, но усовестить их мечом — дело наше. И доколе хватит дыхания моего, не выпущу меча.

— И мы, брате, не отступим от тебя.

— Не отступим, брате.

Так поклялись они друг другу перед высотой сияющего июльского неба, под клики встревоженных птиц, над вечным струением лесного ручья.

Топот коня, то пропадающий во мхах, то возникающий, приближаясь, привлек их. Они не дошли еще до больших елей, где под сенью ветвей ждали их постели на булгарских коврах. Воин мчался прямо сюда, конь пронесся, задев копытами одеяла. Воин пригнулся, проскакивая нависшие ветви. Он осадил коня, горячего и почернелого от пота. Пытаясь спрыгнуть, гонец зацепил ступней стремя, и нога застряла в ремнях. Так, уцепившись за седло, повиснув, он изложил весть:

— Татары сожгли Нижний. Князь ушел за Оку. Волость вытоптали. Теперь, сказывают, сошлись с превеликим войском со степи и пошли на нас, господине.

— А жители? — спросил Дмитрий.

— Бежали за Волгу.

— Сам Мамай с войском? — спросил Боброк.

— Нет Мамая при войске. Бегич ведет.

Дмитрий, побледнев и прикусив губы, обернулся к Боброку:

— Приспело время!

И побежал к постелям, где под присмотром отроков лежала княжеская одежда.

— Боброк! Время надо выгадать. Не робеть, скликать всех немедля!

Владимир крикнул подбежавшему воину:

— Прикажи седлать! Охота пущай за нами ворочáется.

Дмитрий поднимал спутников:

— Тарусский, Белозерский, Бренко! Вставайте! Скачем на Москву!

— Что ты, княже?

— Татары сожгли Нижний.

— А князь Дмитрий Константинович? — спросил Тарусский.

— Жив мой тестюшка, — отмахнулся Дмитрий. — В заокские леса утек! — И кинулся к коню, которого вели из-под лесной прохлады.

Дмитрий поскакал, не щадя ни коня, ни плети. Ветви хлестали по плечам. Незастегнутая ферязь развевалась позади; спутники едва поспевали за ним. Он кричал, не оборачиваясь, Боброку:

— Довольно кланяться! Настало время биться! Откланялись!

Позади, отстав, возвращалась на Москву охота. Последние всадники скрылись в деревьях. Еще чадили угли покинутых костров. Среди поляны одиноко стоял ветхий пастырь. И посох, коего здесь не приравняли к копью, дрожал в руках, еще жаждущих битвы.

Шестая глава

ГОНЕЦ



Скачет лесом гонец из Москвы в Троицу.

Как медведица шерстью, Русь густо заросла лесами. Леса стояли сырые, дремучие, из края в край по всей Русской земле.

Земля была влажной, реки полноводны и обильны рыбой, дороги непроходимы; не дороги — тропы. Коннику те дороги гожи, пешему — хороши, но колесам неодолимы: и в ведрое-то лето вязли колеса в колеях, а задождит — не вылезешь. Но дорога, как палка, — о двух концах: тяжела лесная колея русскому колесу, а вражьему степному сброду и совсем нету в лесу проходу. Дремучий лес высился плотной стеной, живой городьбой вокруг московских земель.

В темных глухих лесах много таилось зверья и всякой дичины — вепри и лоси, олени, козули и рыси, медведи и волки, белки и лисы, барсуки и бобры, куницы и зайцы. Казалось, что диковинные неодолимые звери и лихая языческая нечисть таятся в дебрях. И беглый человек в лесу ютился, и озорные шайки уходили в лес.

Кто зверя боялся, тот сквозь леса шел днем, — днем зверь спит, днем зверь опасается человека.

Кто человека опасался, тот ночью шел, — человеку от человека укрыться легче во тьме.

По тем дорогам и версты считали. Далек был от Москвы город Можай; темным-темны леса разрослись по можайской дороге, а Москвой-рекой путь извилист. Серпухов считали ближе: серпуховской путь понаезженней, посветлей.

И до Троицы не всяк добрести мог: топи, мхи, вековечная заросль, бурелом. Там видимо-невидимо лютого зверья, а местами из земли дым струится — кто-то, видно,

свою жизнь пасет. Из-под дубовых замшелых корней текут родники там. И крик в том лесу не откатывается вдаль, а возвращается вспять.

В том глухом лесу поселился Сергий, разоренного ростовского боярина сын, Радонежа-города житель. Ушел от родителей в те леса, выбрал высокое место над водой, на горе Маковце, срубил себе незавидную хороминку — захотел обрести тишину. Бортничал ли, рыбу ль ловил, питался ли корнем и орехом, но жил. Лазоревый дым растекался по тишине лесной, а молва о Сергии — по окрестным городам. Не одному ему недоставало в городе спокойствия. Начали к нему стекаться люди, просили пристанища, селились рядом. Каждый своей достачей жил. Сообща поставили церковушку во имя Троицы. А помалу из затхлых землянок в изрядные срубы перешли. Нищее было житье, пока Московский князь про ту обитель сведал. А сведавши, помог. Всея Руси митрополит Алексей уразумел Сергия: бескорыстен, но в замыслах упорен, в писании начитан, но гордыни чужд.

Паче же того оценил митрополит Сергия по единомыслию: сильны у русского народа враги. Татары — с востока, Литва — с заката, свеи — с полуночи — всяк норовит оторвать от Руси клок, иные же и сердце норовят нечистой рукой из Руси вырвать. А князья усобятся, Руси не блюдут, только о своем добытке пекутся. Не разумеют, что добыток князя от народа течет. Калита покойник мудр был — понял. На верный путь стал — обиженных привечал, разоренных княжеств жителей жаловал, пограбленным купцам льготы давал. И текли в Москву к Калите, к Симеону, к Ивану, как и к нынешнему Дмитрию, бояре с дружинами и дети боярские, и житые люди, и беломестцы, и черные люди, смерды. И каждому московские князья на первое время давали свободу от поборов, заказывали подручным князьям, воеводам, наместникам и волостелям не забижать новосельцев.

Слово митрополита всея Руси на всю страну звучало, но надобны и митрополиту сметливые люди—слово разносить, порядок держать. Потому единомыслие и сблизило константинопольского поставленника — Алексея, святителя, владыку православных душ, и смиренного игумена Сергия. А расположение Алексея привело Сергия и в Дмитриев терем. Дмитрий увидел в Сергии кроткого льва с булатными когтями, тихим голосом, но твердым взгля-

дом. И лев хотел быть ручным у Дмитрия. А через Алексея да Сергия и церковь становилась ручной. Недаром Калита долго добивался и добился, чтобы всероссийский митрополит покинул Владимир-город — исконную после Киева обитель митрополитов — поселился в Москве. Дорого это стоило деду, зато внук стоял теперь рядом с владыкой церкви. Алексей в эту зиму умер. Константинопольский патриарх сговаривался с Дмитрием о новом святителе. Сергия хотел поставить на свое место Алексей. Но Сергий отказался. Упрашивали, убеждали — отказался. Остался игуменом в деревянном маленьком Троицком монастыре, в топи, в лесных дебрях. А мог бы теперь сидеть в гостях у патриарха, взирать на теплое море, на Олегов щит над вратами Царьграда.

Скачет лесом гонец.

Скачут лесами гонцы из Москвы во многие грады и веси, к подручным князьям, к боярам, в села — поднимать Русь. Где-то в степном далеке идут на страну татары. Где-то за синью лесов ржут их степные кони, дымится курево под копытами басурманской конницы, каждый шаг приближает их. Они надвигаются, звеня клинками, напевая поганые песни, неся смерть. Неотвратимое, непобедимое войско.

Скачет лесом гонец.

Малые ручьи перескакивает. Реки вплавь переплывает. Под нависшими ветками кланяется гонец. По высоким борам скачет, хлещет коня, торопит.

Раз остановился: коня кормил. Другой раз останавливался: вздремнул сам. Но дремота в лесу в глаз не идет: конь захрапит — вскочишь: хорошо, коли зверя чует, от зверя оборонишься, а ежели человека чует, слушай! Страшнее зверя — человек в лесу.

Лежит гонец, дремлет, а повод на руке намотан, нож под рукой: за голенище всунут; меч — при бедре, кинжал — на поясе. А все ж боязно: лес дремуч, глух, крик в нем вспять возвращается, да никто и не откликнется на крик.

Конь копытом ударил, а уж гонец на ногах: неужели ж встречный кто на коне пробирается? Слушает: ветка вдали хрустнула, то добрый знак: ежели был кто, стороной обходит, сам опасается, сторонится.

Гонец послушал, отломил хлеба, вынул из ветошки мясо, отрезал,

А серенькая птичка на ветке свистит и приглядывается к человеку. Ближе соскочила. По мху скачет. Комочек серенький, а на темени черная шапочка.

Гонец в раздумье поглядел на нее:

«Пухлячок ты милый, скачешь от прутика к прутику, нет тебе людских горестей, ни забот, ни поспехов человеческих».

«Ци-ци, кее-кее...»

Вскочила на сучок, перевернулась вниз теменем, клюнула в хвою. Вдруг вспрыгнула выше:

«Тиу-тиу-тиу...»

«Может, и у тебя есть в гнезде детушки, малые пташечки».

Пухлячок по мху скачет, не опасается.

А плеть гибка в гонцовой руке. Р-раз!

Птичка, затрепетав, запрокинулась навзничь.

«Ловок ты, братец Семушка!» — одобрительно подумал о себе гонец.

Закинув повод, вскочил в седло. Хлестнул коня, помчался вскачь. Тяжелый топот глохнул в сырой земле.

Уже Воря-река проблескивала сквозь кустарники. Здесь, на виду у реки, гонец осмелел. Он остановил коня, не слезая с седла, огляделся. Вокруг стояла тишина. Птицы в этот полуденный час молчали. Рот высох, хотелось пить.

Возле ручья на гнилой коряге сидел мужик. Ворот суровой рубахи был разодран, но рубаха, и порты, и обужа облегали мужика складно и, видно, были одеваны первый раз. На пальце его сверкал перстень.

«Что за человек?» — подумал гонец. Но Воря-река текла невдалеке, а нож за голенищем наточен справно.

— Эй, брате, поднес бы испить! — сказал гонец.

— Не во что воды набрать. Напейся сам.

Гонец пораздумал и тяжело слез с седла. Разминая ноги, перекинул коню через голову повод, чтоб и коня попоить. Они подошли к воде и рядом вошли в реку: гонец повыше, конь ниже по течению.

Мужик, всклокоченный, волосатый, сурово и молча смотрел на них. Почудилось ему: «А може, из тех. Меня ищут?»

Выждав, пока напьются, он спросил:

— Далеко ль путь?

— В Троицу.

— На богомолье?

Гонец обиделся: от самого князя скачет, письмо везет. Вот что значит лесной человек — не смыслит другого человека. Надо бы сразу догадаться.

— Нет, от самого Дмитрия Ивановича, всея Руси.

«Вона что...» — смекнул мужик.

— Милостив, что ль, к тебе Дмитрий-то Иванович?

Гонцу почудилось, что мужик как бы насмехается над ним. Но вдомек ли дорожному мужику над великокняжеским гонцом насмехаться!

— Щедр, велик, многомилостив, — ответил он.

— А что-то одежина твоя — не с княжеского ль плеча? — усмехнулся мужик.

Верно, одежина у гонца незавидная, но оружие привозное, не малого стоит. Да и не мужику в такие дела вникать.

— С княжеского али нет, твое дело стороннее! — прикрикнул на него гонец.

Сомнения не оставалось: из тех.

— Знатно ответил. Ты уж не в боярах ли у князя служишь? — И подумал: «Видно, не опознал. Я тогда шел опрятно. А может, и опознал, да таится?»

— Стороннее твое дело, говорю. Пень ты лесной, а мыслить тщишься!

— А ты, вижу, даже и не тщишься?

— Не книгочей, не чернец, а воин, воину ж розмыслы в голову кидаются, головную хворь вынуждают.

— Эна как? Сам-то московский?

— Коренной.

— Поди, и дом у тебя там каменный?

— Он хоть и не каменный, а уж худей твоего навряд ли будет.

— А у меня ни нового, ни кленового, где сижу, там и служу. У тебя, поди, и жена в Москве?

— А как же!

— Красавица?

Воин смолчал.

Мужик пододвинулся ближе.

— Поди, есть у тебя и малые детушки?

И не успел гонец вымолвить ответ, мужик сшиб его сильным ударом и вскочил ему на грудь.

Рука гонца потянулась к голенищу за ножом, но колено мужика наступило на руку пониже локтя.

Воин напрягся, силясь вывернуться из-под тяжкого тела, шуйцей пытался сорвать с горла руки, но, прежде чем он сорвал их, дыхание захватило и тьма застлала лесную мглу.

Когда тело перестало содрогаться, Кирилл привстал. Все теперь принадлежало ему: кинжал, нож, меч, конь, панцирь, шелом, за седлом — топор. А еще утром он пробирался лесом, не предвидя пути, «не на пользу себе думаша».

Теперь он справлен, как воин. И коня гонцу дали отборного: «чтоб добре́ поспешал».

Кирилл отвел коня за деревья. Вернулся и потащил туда воина: в стороне от пути можно спокойнее разобраться.

Много оказалось добра. Жалко, что еда была почата, но и осталось достаточно. В ладанке на груди нашлось и письмо.

Когда три дня назад он вывернулся из-под воинского клинка и проскочил под брюхом коня, сгоряча он думал лишь об одном: дальше, дальше, дальше! Корневища подвертывались под ноги, сучья царапали лицо, хвоя встревала в волосы. Путь к Троице ведом был ему, неведомо было лишь, как объявиться там. Примут за беглого раба, спустят в монастырские погреба, доколе хозяин не сыщется, а не сыщется — в монастырского раба обратят, это же горше смерти. Голод морил его, и все не знал, куда двинуться. Сидел у родника, запивал водой голод. И могло б всяко случиться. Но вот наехал на него воин, и стал Кирилл воином.

Куда ж теперь? На Москву? Но ежели опознают? В Троице воину делать нечего. Он лениво развернул письмо. Писал сам Дмитрий.

Как теперь ненавистен Кириллу Дмитрий! Вывел из Рузы, обласкал, разгорячил на дело, а когда дело сделано, повел в темный лес... Остались там и Алис, и Ефрем-повар, и каменщики — Панкратий, Авдей, Елизар и Ахмет Букей, и черемис Лазарь, и булгарин Хузан. Одного Кирилла вынес бог, одного Кирилла осенила допрежь того мысль, что нечистое о них задумано. И подтвердились его опасения, когда Дмитрий, проходя мимо на кладке Тайницкой башни, сказал Боброку: «Вижу, помнишь наш уговор о немоте каменщиковой». И как тогда опасливо и поспешно оглянулся на него Боброк.

«Крепко задумано!» — догадался тогда Кирилл и задумался, как из этого выйти. Спрыгнуть с Кремлевских стен — значит убиться до смерти. Пробиться сквозь сторожей надежды не было.

«Сбегу, когда выведут! — думал. — Сманю Алиса!» Но не внял словам его Алис и за это лежит нынче в ельнике, где нашел Кирилл свежий бугорок земли, — видно, рыли мечами: землю накидали не пластами, а комьями. А в помятой траве, оброненный кем-то, сверкнул золоченый перстень. Перстень не здешний. Византийский али угорский. Вставлен в него камень опал, волчий глаз.

Кирилл читал письмо ненавистного Дмитрия:

«Отче Сергие!

Близится час испытания.

Татары вступили в землю Русскую.

Встретим их не по-прежнему. О чем бога молили и ночами на совете у святителя Алексея замышляли, близится. Оружие запасено. Люди обучены. Сшибемся во имя божие. И да будет воля его.

Чаю слышать тебя. Прошу твоей молитвы. Благослови, отче!»

И ниже, видно, по размышлении, скорописью подписано:

«Ведь Русь оборонять встали! Не прежние походы, когда усобицами меч иступляли, отче!»

«Не Дмитрию — сие Москве надобно!» — подумал Кирилл.

Он пошел к коню, вынул из седельного мешка снедь, поел. Стало на душе спокойнее. Принялся облачаться. Кое-что оказалось не по росту — узковато чуть. Но и то добро: стал стройнее, моложе. Вооружение словно стряхнуло с него сонь, одурь — шаг окреп, даже взгляд изменился; волосы мешали, и он, сколь мог, подсунул их под шелом.

Остатное скрыл подальше в кустах. Мясо в зубах навязло, и, колупая его оттуда, он перешагнул через распластанного гонца. Осмотрелся, прислушался: мирно посвистывали птицы, встрепенувшиеся после полуденного покоя.

Он отволок тело в овраг. Похрустывая сухими ветками, оно укатилось глубоко вниз.

Седьмая глава

СЕРГИЙ



На пригорке в поредевшем лесу засветлели строения монастыря, обнесенные бревенчатой стеной. Глухо и протяжно доносилось, словно издалека, церковное пение. Пели вечерню.

Кирилл спешился у ворот и прислушался.

«Скоро кончат».

Тягучий напев молитв слоился в воздухе, как ладанный дым. Так пели в этот час и в Царьграде, и в Орде у православного епископа Сарайского, и далеко на Севере, в Новгородских пятинах. Этот напев, уже слегка поиначенный на лад русских песен, родился далеко на востоке, — может быть, в языческих Афинах, может, в Александрии, может, даже от египетских пирамид донесли его в этот болотный лес, — менялись слова, умирали народы, а лад гимнов тянулся сквозь века. Не молиться хотелось теперь Кириллу, а сесть в дорожную пыль, закрыть глаза и слушать эти напевы детства.

Но воин поборол в нем сладость воспоминаний. Он ударил в кольцо ворот.

В глазок его осмотрели. Кирилл сказал:

— Во имя отца и сына и святого духа...

— Аминь! — ответили ему из-за ворот и приоткрыли въезд. Сняв шелом, он ввел коня под ворота.

Во дворе было безлюдно.

Золотоперый петух, выкатив грудь, шел поперек лужайки.

— От князя к игумену,—сказал Кирилл привратнику.

— Он у вечерни. Пообожди малость, кмете[1].

Привязав коня у прясл, Кирилл вернулся к воротам и сел на скамью. Одинокий колокол под дощатой крышей звонницы ударил и повторил удар, и еще раз ударил.

Привратник сел на другом конце скамьи:

— Приустал, сыне?

— Благодарение богу, отче, — не чрезмерно.

— Не страшно ли ныне лесом?

Кирилл подумал: «Небось у каждого это выспрашивает, а самому все одно — уходить отседа некуда».

И спросил, показывая на петуха:

---

[1] Кмет — воин.

— А курам у вас жить дозволено?
— А от кого ж нам к пасхе яйца сбирать?
— Соблазна чернецы от того не имут ли?
— Блуд в сердце сокрыт, а не в зрении, сыне.
— Оно бы и так, но через зрение блуд вползает в сердце.

Вечерня окончилась, и братия пошла из храма. Тесная и уже покосившаяся церковка, срубленная из вековых сосен, была подобна улью, откуда пчелы выбирались за взятком. Подошедший келарь, взяв от Кирилла письмо, велел чернецу вести гонца трапезовать.

Длинные столы тянулись под низкими потолками. В трапезной стоял полумрак. Казалось, что видные сквозь раскрытую дверь деревья объяты белым пламенем. Там еще сиял летний день, а здесь уже наступили сумерки. Крепко пахло смолой, ладаном и медом. Темные, как засохшая кровь, образа стояли в углу на полке. Кто-то украсил их цветами и вербами.

Чернецы пододвинули к гонцу ближе миску и принесли ложку, но спрашивать ни о чем не решались.

Кирилл приглядывался к ним. Много наслышан он был о Сергиевой Троице. Здесь впервые обобщили имущество всей братии. Вступая сюда в братство, надлежало отдать все свое достояние в общий достаток монастыря. Многие монастыри уже откликнулись на призыв Сергия отречься от прежних правил, а было прежде в монастырях у каждого свой дом, свое хозяйство при доме. Каждый, сообразуясь со своим достатком, строился внутри монастырских стен и, умирая, отказывал все монастырю. Ныне же отказывали при вступлении в обитель. Человеку, кинутому в житейскую пучину без пристанища, без покрова; бродягам, странствующим из города в город; странникам, покинувшим разоренные войнами очаги; старцам, не сохранившим возле себя чад на прокормление; юношам, алчущим просвещенья, — всей окровавленной, пожженной врагами Руси, — такой монастырь открыт. Шли сюда из киевских древних монастырей, из опустошенной Рязани, из Ольгердовой Литвы, из городов, из сел. Братство разрасталось, и ближних сел поселенцы уже не однажды восставали на Сергия, жалобясь князю, что вскоре захватит Троица под свою длань скудный достаток их, с превеликим трудом раскорчеванные поля, палы, пасеки и всю жизнь. Великий князь отмалчивался, одаривая обитель новыми землями,

угодьями, рыбными ловами и звериными промыслами. А новые земли нуждались в новых руках. И не благодать, а топор и соху давала Троица приходящим под ее покров. И, постригая пришельцев в монашество, Сергий говорил:

—Трудись, сыне: господь милует прилежных, ради монастырского блага усердствующих.

И смердам, пахавшим отошедшие к монастырю земли, монахи поясняли:

— Труд во имя монастыря, яко молитва ко господу: в тую же небесную чашу падает.

Бояре слали сюда церковную утварь, родовое оружие и драгоценные украшения для икон, отписывали монастырю деревеньки на помин своих душ. В немногие годы Троица встала со своей покачнувшейся церковушкой выше древних, почитаемых монастырей.

Кирилл всматривался в чернецов, хлебая щи из квашеной капусты и запивая густым квасом соленую снедь.

Заросшие волосом, черным и русым, дородные и хилые, юные и древние, все они искоса поглядывали на него. Они видели в нем человека из другого мира, — может, он имеет жену и детей и не голодает, живя на воле. Кирилл сам был когда-то чернецом и умел читать их думы. Было время, и они в миру скитались, грешили, терпели, мечтали, пока не отреклись от надежд, пока не постриглись сюда.

К Кириллу приблизился келейник и посмотрел на него пристальным взглядом из-под строгих бровей.

— Преподобный тебя ожидает, кмете.

Кирилл встал и пошел за келейником. Ни разу не видел он Сергия, хотя не было дня, когда бы не слышал о нем. Вся Русь от края до края говорит о нем, близком Московскому князю, и Византийский патриарх переписывается с ним.

Они шли монастырскими улочками, по дощатым мосткам. Стены жались к стенам, словно вокруг не было безлюдных земных пустынь. Они вышли через калитку в монастырский сад. Яблони в тот год гнулись под тяжестью урожая. Колоды, полные пчел и меда, тянулись под яблонями. Пасека у Троицы занимала обширное поле.

— Обильна! — сказал Кирилл и вдруг уловил в сердце своем страх: перешагнув через убиенного им кмета, шел он теперь к провидцу и чтецу сердец.

Но в это время тропинка повернула, и за кустами смородины Кирилл увидел Сергия. Келейник молча поклонился Кириллу и ушел.

Игумен стоял с засученными рукавами над раскрытым ульем. Ничем не обороненное лицо Сергия склонилось к пчелам. Он был худ, строен, в жидкой рыжей бороде виднелась седина. Пчелы роились над ним, освещенные солнцем. Робость овладела Кириллом. Весь сверкая железом вооружения, он стоял в отдалении, не решаясь подходить ближе, — почудилось Кириллу, что издавна знает этого человека, что прежде много раз так стоял в стороне от него, словно где-то разговаривал с ним... Тверда была у Кирилла память, но не мог он припомнить, где он видел сего человека.

Вот он стоит — игумен Троицкого монастыря. Как далеко по Руси растеклась слава о кротости, благочестии и уме сего советника и увещателя князей, о великой его чести у князей и бояр русских. Даже Мамай расспрашивал Дмитрия о нем в Орде.

Сергий обернулся:

— Не опасайся пчел, сыне, подойди смело.

«Боже милостивый! Просвети: где же внимал я голосу сему?»

Кирилл подошел, сложив под благословение руки, и Сергий благословил его, глядя Кириллу в лицо. Серые глаза Сергия смотрели ласково, но внимательно, словно подстерегали.

— Что тебе наказал государь Дмитрий Иванович сказать мне устно, сыне?

Кирилл потупился и, не подымая глаз, солгал:

— Велено было перенести писание, святой отче. Устного же не наказал ничего.

А когда поднял глаза, встретил серый непреклонный взор:

— Не запамятовал ли, кмете?

Теперь уже не сына, а воина спрашивает он кротко, но строго.

В памяти Кирилла стали слова Дмитрия, сказанные Боброку на башне, и он ответил твердо, глядя в глаза Сергию:

— Храню слова князя нашего до скончания жизни.

— А о татарах тебе вестимо? Где они, сколько их идет?

— О том вестимо одному только князю, отче.

— Князь твой в Москве? Ты с Москвы скакал? Разве Москва еще молчит о враге?

— Не дело воина слушать посадское разноголосье, отче.

— Но к врагу гнев единомыслен, а не разноголос.

— Прости, отче.

— Уповая на господнюю кротость, смири гордыню свою и не искушай ни Исусова милосердия, ни человеческих сердец.

— Благослови, отче.

Сергий, может быть, не расслышав или задумавшись о чем-то, отвернулся к пчелам, не благословил, и Кирилл не знал, ждать ли ему ответа от Сергия для князя. Игумен сейчас говорил с гонцом великого князя, а ничего не сказал в ответ!

Кирилл стоял, выпрямившись, озаренный гневным заревом вечера. Позлащенная зелень смородинника сияла, густо обрызганная крупными каплями рдеющих ягод. И лицо Кирилла багровело.

Так стоял он, пока Сергий, не оборачиваясь к нему, отошел к другому улью и не спеша ушел между колод и кустов вдаль.

Тогда Кирилл стиснул кулак и хотел кинуться вслед за игуменом, выдавить из него ответ для князя или признание — почему он не ответил? Но так тихо удалялся Сергий, так спокойно сложил за спиной руки, столько кроткого мира было в этой удаляющейся чуть сутулой спине, что Кирилл почувствовал — весь гнев, разгоравшийся в нем, угас. Лучше смолчать и кинуться прочь, дальше от этой обители мира.

Кирилл пошел по тропинке обратно и увидел келейника, молча ожидавшего за кустами. Тут впервые заметил, что келейник громаден, что он превосходит ростом и могутной широтой плеч даже его, Кирилла. И если Кирилл, волосатый, неопрятный, был похож на чернеца, облаченного в воинские доспехи, келейник казался воином, укрывшимся под черной рясой. И, не говоря ни слова, он шел перед Кириллом по дощатым проходам между строений, пока не вывел его к просторной избе невдалеке от ворот.

— Тут отоспи, кмете.

— Надо сперва коня глянуть.

— Конь во дворе.

Конь в полутьме навеса похрустывал сеном. Кирилл хозяйственно подошел снять седло. Пряжка, затянутая не

его рукой, долго не поддавалась. Кирилл ободрал палец о железо, силясь вытянуть защемленный ремень подпруги.

Келейник, стоявший в отдалении, спросил:

— Что там у тебя, кмете?

И подошел ближе. Оттянув двумя пальцами пряжку в сторону, он отпустил подпругу, и седло сползло с потника.

— Что же ты, кмете, простой воинской пряжки отстегнуть не можешь?

— Устал, отче. А откуда у тебя разум воина?

— Аз есмь на послушании в обители сей, но допрежь того ведал бранную потеху. Ты, вижу, мало еще воинский обычай сведал. А конь добр.

И слыша лишь дыхание Кирилла, складывавшего седло и потник в войлок, постоял молча и, улыбнувшись чему-то, ушел.

Кирилл, подложив оружие под сверток с седлом, а сверток под голову, лег на широкой скамье в углу. Вся усталость, все напряжение этого дня вдруг навалились на него, и он стремительно уснул, опрокинувшись навзничь, раскинув руки, словно раздавленный тяжестью.

Еще сны текли, цепляясь друг за друга, еще какая-то мирная, светлая жизнь сияла в глазах, а уж твердая рука взяла Кириллову руку:

— Уже и утреню отслужили, брате Кирилле, и братия сошлась к обедне.

Кирилл увидел, что день разгорается за открытой дверью и в узкое волоковое окно пробился радостный луч. Кирилл быстро вскочил и сел на скамье.

— Ой, как я спал! Давно так не спал, отче. Прости мя, не ведаю имени твоего...

И вдруг задумался: где, кому, когда назвал здесь он свое имя, почему этот келейник назвал его по имени?

— Александром зови, — отвечал монах.

— А откуда тебе мое имя ведомо?

— Так преподобный приказал тебя взбудить.

— Спаси тя господи, отче, — поблагодарил Кирилл и, выпрямившись, оделся скоро и складно, чтобы Александр не заметил непривычки к доспехам.

— А не сготовил ли отец игумен ответ для князя великого?

— Он еще затемно ушел в Москву.

— Пешой?

— Он всегда пешой ходит.

— Когда ж он дойдет?

— Прежде тебя, кмете. У него есть тропы, ведомые ему одному. Счастливо те ехати.

— Спаси тя господи, отче Александре.

— Господь тя благословит.

Так они попрощались.

Утреннее небо горело, плыли прозрачные облака. Золотые густые полосы света, перемежаясь с высокими тенями елок, покрывали кровли и стены келий, как полосатые попоны покрывают ратных коней.

Кирилл зашел в трапезную, взял с собой дорожной снеди, уложил в седельную переметную сумку, заседлал коня, перекинул сумку, вывел коня за ворота, простился с привратником и, вскочив в седло, поскакал.

Как кротко и ловко изгнали его, думал Кирилл. Дали доспать, дали еды в дорогу, благословили на счастливую жизнь... Но одно угнетало Кирилла теперь: как постиг Сергий его, Кириллово, имя?

Много видел Кирилл стран, городов, страданий людских и понимал, что можно читать в человеке его страдания, его смятение, можно догадываться о тайных мыслях. Но превыше домыслов сих было это прозрение имени чужого человека.

Горяча коня, он скакал по московской дороге. Объезжая овраги, услышал в стороне вороний грай.

«Делят галицы моего кмета», — подумал без сожаления о сброшенном им в овраг гонце.

Не доезжая до Москвы, Кирилл спешился и увел коня дальше от дороги в гущу зарослей. Там лег на траве, невдалеке от глинистого холма, уже притоптанного тяжелыми следами зверей.

«Тут вы спите, братья. Господь знает горести ваши. Знаю и я ваши надежды и мечтания. Один я. Ты не послушал меня, Алис, брат мой. Не попрекну тем. Но и вы простите меня за жизнь, сохраненную мне».

Он полежал возле них, с которыми много ночей пролежал рядом на общих нарах. И встал над ними, оставшимися и впредь лежать здесь вместе, без него.

Куда ехать? В Москву путь закрыт. В Москве зорок великий князь. Надо искать окольных дорог. Многими из этих дорог ему уже приходилось хаживать.

Сняв шелом, не спеша помолился он над огромной могилой. Поклонился ей до земли, потом тихо вывел коня на путь, перекрестился снова, надел шелом и вскочил в седло.

Восьмая глава

ВОИНСТВО

Голубой предутренний холодок стлался над еще спящей Москвой. Перекликались петухи, и по их голосам казалось, что город бесконечно широк и просторен. В предместьях он и был широк — дома стояли редко, окруженные молодыми садами, полянами, огородами. Местами дома жались вплотную к дороге. А рядом тянулись плетни и частоколы; позади них в глубине темнели стены жилищ и сараев. Ближе к стенам ютились пешеходные тропы; колеи дорог, после недавних дождей, то проваливались рытвинами, то вздымались буграми; густая грязь засасывала колеи; кое-где лужи преграждали путь. Тучи спускались к востоку, небо светлело радостной предрассветной зеленью, и петухи кричали про какую-то Кукуй-реку, про свою петушиную родину.

Ближе к посадам дорога становилась ровней, рытвины были завалены мусором, щепой и щебнем. Строения стояли тесней, дома высились краше; кое-где у домов настланы дощатые мосты для прохожих.

Пятеро монахов прошли по еще безлюдному городу. Лишь один был сухощав и хил, остальные плечисты и рослы, все годились бы в богатыри. Рясы снизу запылились от долгой дороги, к порыжелым сапогам налипла грязь, да и дорожные посохи отяжелели от засохшей на них глины.

Сонная застава неохотно вышла опросить их.

— Такую рань, отцы святые, почивать надоть.

— Нам или вам почивать? — задорно спросил рослый монах.

— Наше око, отче, в ночи недреманно. Откудо несет-то вас?

Сухощавый седой Сергий подошел к спорящим:

— Во имя отца и сына и святого духа...

Двое воинов стремительно рухнули на колена:

— Благослови, преподобный отче!

Сергий перекрестил их.

— Бог вас благословит, кметы! Блюдите часы свои: враг идет. Разумейте: змея грядет, а змееныши прытче ползут впереди. Блюдите град, ибо мраком скрыт час испытания.

— Радеем, отче.

— Ну, бог с вами.

Монахи прошли посад и остановились у кремлевских застав. Александр, догнавший Сергия еще на ночном привале, стоял к игумну ближе других. У мостов толпилась стража. Поросшая водорослями, чернела вода во рву, бурая плесень поднималась по низу каменных стен, недавно выбеленных. С моста воины смотрели в ров, куда досужие купцы закинули удочки.

— Да какой там карась, коли ряской всю воду задернуло?

— То и добро! Он эту самую темноту и ищет.

— Глянь! Глянь! Клюнул!

Воин, оскользаяся, скатился к удилищу и дернул прежде хозяина.

Леса сверкнула, и добыча блеснула в воздухе. Дружный смех покрыл голоса у рва:

— Лягва!

— Лягушку выхватил!

А рыболов ожесточенно срамил воина:

— Нечистый тя подсунул. Чего чужое удилище вздымал?

— А коли б ты дернул, на крюке белорыбица, что ли, объявилась бы?

— А почем ты знаешь, что нет?

Разгорелась ссора, но вдруг все стихло. С мокрыми засученными портами, в распахнутой по вороту рубахе, простоволосый рыболов кинулся кверху, где на зипуне сидел его мальчонка. Он схватил малыша за руку и поволок к перемостью. Там стоял Сергий, благословляя стражу, и стражники сбегались к нему под благословение.

— Отче Сергие! Благослови вьюношка моего!

— Будь благословен, малый отроче, во имя отца и сына... Возрастай для веселия Руси, а не для ордынского гнета. Благословляю тя, да будет родина твоя чиста от иноплеменного ига, ибо, лишь сломив его, встанет народ в полном веселии и величии. И час битв грядет. А твое время впереди и светло.

Мальчик смотрел на Сергия карими испуганными глазами, и Сергий, склонившись, погладил и поцеловал его. Сергий знал, что каждое его слово, каждое движение будет разнесено по всему граду, а может быть, выйдет и за пределы городских стен.

В Кремль еще никого не впускали, но кованые ворота, яростно зарычав на петлях, приоткрылись прежде, чем Сергий дошел до них.

Князья могли враждовать между собой, город мог восставать на город, но никто, кто бы ни был на Руси, не встал бы наперекор церкви. Власть московского митрополита распространялась на всю Русь, простиралась и на Орду, на христиан, живших там. Всем было ведомо, что митрополит Алексей передавал свой сан Сергию, но никто постигнуть не мог, почему Сергий пренебрег саном святителя. Сергий не юродствовал, не унижал себя паче меры, как иные, что, имея каменные палаты, выходят на народ в берестяных лаптях и опоясываются веревкой.

Много неурядиц произошло в сей год в митрополичьих покоях. Едва скончался митрополит Алексей, как возник спор о его преемнике.

Князю Дмитрию нужен был свой ставленник, чтоб блюл слово Москвы и слово то высказывал от имени церкви по всем русским князьям. Много он уговаривал Сергия.

— Нет, — отвечал Сергий. — Нет, господине. Тишины ищу в вере, а не власти. Не искушай мя.

Тогда Дмитрий выдвинул нового человека — коломенского попа Митяя. Но о Митяе говорил еще прежде Алексей:

— Мало искушения знал. В иночестве не порадел.

Когда Сергий отказался, Дмитрий своей волей принял Митяя. Поп поселился в митрополичьем дворе, принял постриг.

Посвящение на всероссийскую митрополию давал константинопольский патриарх. От патриарха зависело благословение и выбор. Митяй опасался соперников. Дионисий Суздальский направлялся в Царьград, рассчитывая получить расположение патриарха, а в Киеве уже сидел благословенный патриархом Киприан. Киприана выдвинули в Литве, родом он был серб, выдвигали его литовские князья с надеждой перенять церковную власть на Руси в свои руки.

Михаил-Митяй, печатник и духовник Дмитриев, архимандрит Спасского монастыря, забеспокоился: надо ехать в Царьград, получить от патриарха сан, опередить соперников.

Сергий не любил Митяя, хотя и был тот удобный Дмитрию человек: книжен, велеречив, соблазнителен видом, — не пастырь церкви, не предстатель перед богом, а земной человек. Сергий знал: каждое его слово, каждое движение становится известным Митяю.

Сергий прошел в Чудов. Утреня кончалась. Он тихо вошел в церковь, помолился на паперти, среди нищих и убогих. Тихо прошел к Алексеевой гробнице, стал возле нее на колени и так достоял службу.

Дмитрий встретил его в саду, пошел к нему навстречу, попросил благословения и усадил на скамью.

— Аз твоего гонца, господине, не постиг. Только от народа попутно узнал о татарах.

— Я нарочито наказывал, чтобы Бренко наставил его изустно: скажи отчу Сергию: враг велик, испытание предстоит тяжкое, кровопролитие великое. Новгород Нижний дотла спален и потоптан. Нижегородцы в дебрях укрылися. Князь Дмитрий Константинович в Суждаль ушел. Бедствие пало на них великое. Но паче того: враг на нас наступает, несметное воинство татар движется в пределы наши. Многое нами приуготовлено, но грядущий день скрыт нам. Молю тебя, отче, просвети, заступись в молитвах, поддержи советом.

Оба они встали.

— Не я, а бог просветит и поддержит тя, он и заступа твоя. К нему обратись. А молитва и мысль моя с тобой неотступно.

Сергий показал Дмитрию письмо.

— Вот получил и пришел к тебе сам. Из Киева в Москву едет Киприан. Над ним благословение патриарха. Если дойдет к Москве, не будет другого для Руси митрополита; скажет патриарх: «Аз воздвиг Киприана, ему же внемлите».

— А он будет сидеть в Москве, а внимать Литве.

— Истинно. Ныне ж смирен. Слушай его рукописанье ко мне, грешному: «Слышу о вас и о вашей добродетели, и о том вельми благодарю бога, и молюся ему, да сподобит нас видети друг друга и насладиться духовных словес».

— Сладок, как соловьиный щекот.

— Есть птица-сорокопут. Сорок песен в своей путает, из тех песен путы для птиц плетет. Кто ее голос услышит и прельстится, якобы своей подругой, тот ее добычей становится. Песню прервав, сорокопут на птицу кидается и терзает ю. Так и сладость сих словес звучит.

— Тако и аз мню.

— Пишет Киприан далее: «Буде же вам сведомо: приехал есмь в Любутск, в четверток, месяца июня 3 день и иду к сыну своему, ко князю великому, на Москву».

— Вот и мне прельстительную песню с ястребиного клюва скинул.

— А слушай дале — вот и коготок сверкнул: «Аз же святитель есмь, а не ратный человек, благоволением иду, яко и господь, посылая ученики своя на проповедь, уча их глаголил: приемляй вас, мене приемлет».

— Еще на Москву идет, а уж намекает: коли кто против Киприана пойдет, против бога пойдет. Приму грех на свою душу!

Дмитрий крикнул воина. Велел скоро звать Бренка.

— Что задумал, господине? — спросил Сергий.

— Не спрошу благословения твоего. Хочу грех на одного себя принять.

Сергий улыбнулся.

Бренко уже ждал Дмитрия в палатах и скоро сбежал в сад.

— Дело такое: едет сюда митрополитом Киприан. Из Любутска письмо прислал. И с ним слуги и люди, и времени нам терять нельзя. Посылай ему встречу. Выбери кого построже, пущай воздадут такую честь, чтоб не знал, где лечь и где сесть. Понял?

— Княже, ведь он же от патриарха поставлен?

— Я патриарху дары шлю. Без меня б не дары, а дыры на патриаршем дворе в Цареграде сверкали. Византия старым орлом чванится, а на моих деньгах держится. Сколько уж лет мы и гривнами, и мехами, и золотом, и товарами патриарха-то чтим. А они хотят по-старому, нас не спрося, своих святителей нам ставить! Узнают, каков от нас прием Киприану оказан, вежливей и патриарх станет.

— Ой, господине! — попрекнул Сергий. — Легко о патриархе речь ведешь, велик грех приемлешь.

— Прости, отче Сергие, тут сгрешу, еще где-нибудь на бога отработаю. Ступай, Бреноче, ускорь сие.

— Я б мог Никифора-воеводу срядить, да больно злонравен. На руку тяжел, груб.

— Вот-вот, Бреноче. Его и сряди!

— А не переусердствует ли?

— Он переусердствует, он перед богом и ответит. Скажи: покруче встреть, а меру крутости на его грех оставь.

— Будь по-твоему, Дмитрий Иванович.

— А еще слушай, — какого посла к отцу Сергию слал? Он изустного ничего ему не передал, стоял дерзко. Кто сей?

— Исправного воина туда посылали. Сам ему наказывал. Семушкой зовут. Вернется — разведаю.

— Еще не вернулся?

— Загулял ли? Дело воинское.

— Не воинское дело гулять, когда кличут на рать.

— Сведаю, Дмитрий Иванович.

В это время в сад долетел рев труб, людские нестройные голоса, гул народа, неистовый вскрик женщины и еще женские голоса, крики. Какая-то молодая баба запричитала, но в ответ ей раздался дружный мужской смех, и, все покрывая, поднялся сильный юношеский голос заневалы:

Ай, не сизый орлище встрепенулся...

Трубы стихли. Голоса подхватили песню и понесли ее из Кремля к воротам, мимо княжеских теремов, садов, церквей, из городской тесноты в простор неизвестной дороги:

Ай, не сизый орлище встрепенулся,
Не грозовая туча наплывает...

— Тронулись! — сказал Дмитрий и перекрестился.

И пошел к терему рядом с Сергием; Бренко следовал позади.

— Где будет молебствие? — спросил Сергий.

— В поле, за заставой. Там уже приуготовлено, — ответил Бренко.

— Я тебя довезу, отче Сергие, — предложил Дмитрий.

— Благодарствую, господине Дмитрий Иванович! Я с ними дойду! — показал он рукой за ограду, где колыхались хоругви и шлемы.

— Толкотно с ними, отче! — предупредил Бренко.

— Не страшусь людей, Михаил Ондреич.

Сергий заторопился, чтоб выйти к войскам.

Войска шли вольным потоком, теснясь у ворот; кое-где в этой еще не полностью вооруженной лавине высились воеводы и сотники на конях. Всадники ехали в полной боевой справе. Железо поблескивало, синевой отливала сталь.

Пешее воинство тащило над собой пики. У поясов висели мечи. Поверх домотканых рубах чернели ремни щитов. Новые лапти скрипели, но шаги звучали глухо, будто не по городским улицам шагают, а в лесной траве. Песня увлекала воинов. Легкий ветер шевелил светлые, как у детей, волосы. Светловолосо русское воинство. Но и черноголовые между русыми, и рыжие. Голоса звучали разно, но песня была одна:

Подымается великий князь Московский,
Подымается пешими полками,
Подымается конными войсками,
Слава, слава, слава, слава...

Сергий смешался с толпой. Ближние опознали его, но не прервали песни, и он шел с ними. Каждый думал о себе, что не его коснется татарский меч, не его пронзит переная стрела басурманина, а Сергий ведал: мало кто вернется с песней назад, многие вернутся, стоная и плача, а многие не вернутся никогда.

Войска пошли. Пошли в неведомую даль, навстречу лихому врагу, за землю Русскую, за свои города и села, каждый за свое маленькое счастье и за большую свою отчизну.

Так прошли они — тысячи, тысячи людей — через град Москву, где теснились вдоль улиц москвитяне, где уж не скоро придется вновь пройтись, погулять. Много тут было хожено, много гуляно. Оборачивались в свои переулки, не прерывая песни; оглядывались на свои улицы; с песней проходили мимо своих домов, откуда им откликались воплями и окликами.

Шли, шли, и не было им конца. Уходили навстречу врагу, впереди их ждали ветры и грозы, и стрелы, и мечи мурзамецкие.

В ровном зеленом поле, на виду у Москвы, перед входом в синие сырые леса, на солнце нежно зеленели составленные в кружок молодые березки, и в их тени на столе стояла чаша, лежало евангелие и золотился крест. С крестом в руках ждали их епископы, архимандриты, весь московский причт.

Войска остановились.

Молебен не был долог.

Словно затушевывая кистью небесную лазурь, самоставленный митрополит Михаил-Митяй взмахнул кропилом, и хор запел многие лета воинству, коему осталось сей жизни не много дней.

И когда из рядов воинов вышел Сергий и пошел к князьям церкви, стихло все; все поклонились иноку, покрытому пылью дорог.

Сергий широко благословил народ:

— Да поможет вам бог!..

И войско низко поклонилось ему в ответ на низкий его поклон. Простые слова, пыль на рясе, пыль на сединах, строгий, незлой взгляд уверили их паче молитв в счастливом конце похода.

Митяй надменно покосился на Сергия, который уже шел обратно с краю тронувшихся в дальнейший путь войск.

Дмитрий в кругу князей, бояр и воевод стоял, пропуская войска. Он крепко сидел на рослом гнедом коне; позолоченный панцирь сверкал, как пламя; позолоченный шелом высился над всеми. Надо б в великокняжеской шапке быть ему тут, но он провожал их не как князь, а как воин. Опытным глазом он всматривался в своих кметей. Он хотел разгадать, какими они будут там, куда еще не скоро дойдут.

Пропустив тысячу и тысячу человек, он попрощался с теми из воевод и бояр, которые уже сейчас трогались с войском. Сам же оставался отдать последние распоряжения по Москве, поручить надежному человеку семью и город и заутра тронуться вслед войскам.

Дмитрий повернул коня. Он ехал навстречу войскам, и воины, прерывая песню, оборачивались к нему.

Девятая глава

ЛЕС

Сторонними лесными тропами Кирилл миновал Москву.

Хвойные дебри молчали. Многовековые ели охраняли тишину на десятки верст. Мгла стояла под их суровой сенью. Ни трава, ни кустарники не росли в глуши.

Лишь у буреломов да по берегам глухих овражных ручьев зеленела трава, цвели цветы и водились птицы. Сюда в полдень попадал солнечный луч. Здесь Кирилл кормил коня и кое-как питался сам. Дорожный запас подходил к концу, надо было выбираться к людям, а все боязно было — далеко ли обойдена Москва и на кого выйдешь: разные люди живут на земле. Говорят, в прежнее время народ был проще, душевней. Теперь — одичал. Татары ли ожесточили русскую душу, время ли суровое, невзгоды ли от бояр?

Остановившись на тесной поляне, густо поросшей самородой и малинником, Кирилл пустил на корм коня, а сам пошел по малину. Ягода была крупна и душиста, да редка. Он раздвигал колючие ломкие лозы, они слегка похрустывали под ногой.

Вдруг оттуда, куда он пробирался и где особенно густо сплелись кустарники, раздался шелест и хруст.

Какие-то два бурых зверя вырвались из чапыги в лесную мглу и кинулись прочь, перебегая за вековыми стволами.

«Медведи, что ль? — подумал Кирилл. — Больно уж украдчиво уходят».

Кирилл не опасался их, если его опасались. Не дав им отойти, он кинулся бежать за ними и различил: то были люди, и настиг одного.

Догнав, он толкнул убегавшего в спину так, что тот, взмахнув руками, споткнулся и упал на колени. Кирилл оседлал его, стиснул ладонями уши, подмял и покосился: далеко ль ушел другой? А другой стоял невдалеке и ворчал, покачиваясь из стороны в сторону.

Диковинно показалось Кириллу: другой-то истинно был медведь!! Сидя на человеке, Кирилл смотрел на видение: медведь стоял, удивленно урча, распустив сопли. И только разглядев, что из ноздрей медведя свисает кольцо, Кирилл перевернул обомлелого супротивника и посмотрел ему в лицо.

То был молодой мужик, чуть рыжеватый. Бледный и напуганный, смотрел он смешно и жалко.

— Что ты тут деешь в лесу? А?

Мужик не откликался, помаргивая глазами.

— Язык, что ль, присох?

Мужик облизнул обмершие губы.

— Ну-ка, откликнись, а не то покончу.

Слезы по-бабьи набежали на глаза.

— Не надть, батя! Не надть, не кончай.

— Откуда идешь-то?

— С Москвы.

— А далеко ль?

— К Оке.

— А дела какие?

— Медведя кажу. Он пляшет.

— А чего лесом пошел?

— На дорогах прохожих бьют. Тут тише.

— Ан и тут попался!

— Ой, батя! Не надть, батя! Ой, батюшки!

— А чего на Оку пошел?

— Моя там жизнь. Ой, под Коломною.

— С деньгой, значит, с Москвы домой идешь?

— Ой, не надть, отпусти, батя! Дома-то семья без хлеба, без крова...

— Ан и сам не знаю: пустить аль нет?

— Ой, пусти, кровный!

— Ан право не знаю.

— Ой, кровный!

— А денег-то много?

— Ой, нет.

— А долго на Москве-то был?

— Да третий месяц.

— Ну, понимай, деньги есть. Где кошель-то?

— Ой, пусти только.

— А что ж ты безоружный в лесу-то идешь?

— А с медведем иду, так не боязно.

— Вон он стоит, не помогает.

Мужик повернул из-под Кирилла голову и посмотрел на медведя. Тот стоял на задних лапах, поплясывал, но подходить ближе опасался.

— У, окаянный!

Кирилл привстал над мужиком:

— Ну-ка, подымись!

Мужик посмотрел на Кирилла с удивлением:

— Ты чего?

— Раздумал тебя душить. Живого с собой поведу.

— Ой, не на Москву ли?

— А чего ты спужался?

— Лучше уж тут кончай.

— Вона что! Чего ж там наделал?

— Да так...

Кирилл снова слегка нажал.

— Ой, батя! Ой, пусти, скажу.

— Ну?

— Как на рядах-то вечером отплясались, пошли с Топтыгой домой, в переулочке одно дело сдеял.

— Так, так. Каково ж дело?

— Да так... Мелкое...

— Ну?

— Ой, скажу, скажу. Купца приткнул. Выручку взял.

— Много?

— Да так...

— А?

— Всю выручку.

— Поделишься?

— Пусти! Поделюсь.

— Ну смотри: слово — олово.

Кирилл привстал. Мужик вылез из-под него, разогнулся и помыкнулся было бежать, но рука Кирилла перехватила его. Кирилл стоял, а мужик опять лежал на земле.

— Вона ты какой! А я уж было поверил, хотел тебя в артель к себе взять.

— Неужли взял бы?

— Совсем было хотел, да вижу — лжив человек.

— Возьми, не покаешься.

— Ну-ка встань!

Мужик поднялся и, все еще робея, заговорил:

— В малиннике у меня... сума-то... Пойдем, что ль! Бери пополам.

— А не много ль тебе останется?

— Нет, давай пополам.

— Ну-ка, давай сперва глянем.

Они пошли к малиннику. Там в примятом логове лежали сума, железный костыль. Нашлась еда. Пересчитали богатство, выходило неплохо, хорошо торговал купец в свой последний день.

— Как же ты утек-то?

— А кто поводыря удерживать станет? Вора имают, а мы и в княжеский терем идем — песни поем.

— Ты что ж, первый раз домекнул?

— Первой. Раньше по малости баловал, ежли заглядится кто.

— И сходило?



— Раз заметили, да на медведя свалил, он, мол, озорник, а я — скромник.

— Веселый ты, я вижу, человек.

— Да малость запечаловался, как ты насел.

— Опять смекаешь уйти?

Мужик задумался. Потом улыбнулся:

— Я тебе истинно, как отцу, скажу: шел и думал — дружка б мне, с кем бы по душам век жить.

— Что ж, посмотрим, каким-то сам ты дружком станешь.

— Не прогневаю.

Так они дальше шли вместе.

Конь сперва опасался зверя. Косил глазом, пофыркивал, прядал ушами. Потом обнюхался, стал терпеть. Мед-

ведь был смирен; видно, не мучили, не дразнили сызмалу, теперь ластился к человеку, норовил пригреться около.

На стоянке, когда сели поснедать, медведь, соскучившись, толкнул носом вожака под локоть. Вожак даже выронил ломоть хлеба.

— Что ты, нечистый дух?

Но медведь снова толкнул носом под локоть.

— Не балуй! Поиграть просится, — объяснил он Кириллу.

— А как звать-то тебя?

— Тимошей.

— Ну-ка, Тимоша, поиграй.

— Да я могу, только не смейся.

— А чего ж тогда играть, ежели грех посмеяться?

— Ну, так воля твоя.

Тимоша достал переладец, и нежная, ласковая долгая песенка потекла, словно где-то вдали выговаривали слова, словно пел чей-то нежный далекий голос.

Хорошо звучало в глухом, непроницаемом лесу. Конь пасся невдалеке, медведь поплясывал, то оттягивая зад, то размахивая в стороны лапами.

— Хорошо обучен! — похвалил Кирилл.

Зверь, будто утомясь, подошел к хозяину и лег у ног. Тимоша уткнул в него ноги, перестал играть и обернулся к Кириллу:

— А теперь, может, побывальщину послушать желаешь?

— Давай, давай!

— Я тебе новую.

— Ну-ну!

— Сам нынче в Москве перенял.

— Слухаю.

Тимоша начал древний запев о князе Владимире, пир описал и спор гостей, похвальбу богатырскую. Все давно было знакомо Кириллу, и каждый раз простором чистых полей, далью неведомых дорог, задумчивым раздольем мечтаний овевала Кирилла старая песня.

Но вдруг зазвучали гневом и жалобой свежие слова, ворвавшиеся в древнее описание пира:

Распалился, обозлился тут Ка́лин-царь,
Разорить хочет, собака, стольный Киев-град,
Чернедь-мужичков он всех повырубить,
Терема-хоромы он на дым пустить,

Князю-то Владимиру голову срубить,
Русую Опраксию с собой уложить...

Тимоша остановился и сказал Кириллу:

— Русскую землю, вишь, к своей земле приложить задумал!

— Пой еще, смекаю.

Посылает Ка́лин-царь гонца во Киев-град:
— Ты поди-то в палату белокаменную,
Пред собой ты дверь распахивай,
С головы шелома ты не сбрасывай,
Становись ты супротив князя Владимира,
Полагай молча ты грамоту на княжий стол.

И Тимоша опять объяснил Кириллу:

— Не велит даже гонцу перед русским князем кланяться. Высоко занесся, басурман поганый!

— А послушай-ка, — перебил его Кирилл. — Ты в Москве о татарах ничего не слышал?

— Кто же не слышал? Идут на Москву. Если б не сутолока, я, может, и купца-то не согнул бы.

— А что там?

— Идут татары. Тьма! Дмитрий Иванович народ собирает, полки снаряжает. Я уж который день оттуда... Теперь небось вышли.

— А в какую сторону?

— Видать, рядом с нами к Оке идут. Я потому и обочную дорогу выбрал.

— Ну, не только потому!

— Да, может, и правда, не только.

— А войско-то велико ли?

— Да не шибко, видать, велико, а только оружия много. И, видать, оружие новое, немецкое али свейское,— у нас не бывало такого.

— Чего ж с собой не захватил?

Тимоша засмеялся:

— Да я уж прилаживался: мне б, господин Дмитрий Иванович, медведя б собрать, он татар бить у меня приучен. А Дмитрий Иванович смеется: «Тех татаровей по лесам наши медведи голыми руками скоро грабастать станут!»

— Ты чего ж, самого давно видал?

— Да не так давно. На его дворе играл в четверг поутру. Княгиня его на крыльцо вышла: «Нам, говорит, Тимоша, не до игры сейчас. Время стало богу молиться».

А князь сам во дворе стоял, глядел, как из погребов оружие на воза грузили. Видно, в оружейной не уместилось али в тайне те склады держал до времени. Приветливой князь.

— Тебе — виднее.

— А ты иначе разумеешь?

Кирилл смолчал.

Конь, похрапывая, перебирал траву. Зверь мирно дремал у Тимошиных ног. Вечерело. Предстояла последняя ночь в лесу: поутру решили выбираться на дорогу.

— Ну, ты, может, дальше попоешь эту песню, а?

— Да чего ж не спеть? Песня ко времени.

Он спел о том, как требовал Калин от Владимира угощенья для татарских войск:

Ты наставь хмельных медо́в по улочкам,
По всем по городским по переулочкам,
Чтоб стояла по городу бочка о бочку,
Бочка о бочку да обруч к обручку.

Он спел о том, как быстро истекал срок, назначенный Калином Киевскому князю:

А ведь день за днем, как будто дождь дождит,
А неделя за неделей, как река, бежит.

Он спел еще и о том, как вместо ответа послал Владимир к Калину богатыря Илью Муромца. Как седлал коня Илья, как выехал и увидел войско татарское.

А как глянул на войска на татарские,
Видит: станом стоит сила великая.
От людского покрыку, от посвисту,
От конского топоту, от ржания
Унывает сердце крестьянское,
Содрогается земля христианская.

Он долго пел, а Кирилл слушал: Илья собирал свою силу.

Лес молчал, только задумчивый голос сплетал слово со словом, и все гневней становился голос, и все отчетливее, строже бежала песня, будто слова шли, строй за строем, по лесным дорогам навстречу врагу.

Кирилл слушал, размышляя. И сейчас идут по дорогам силы русские навстречу царю Калину. Не Илья, а Дмитрий ведет их в страшную битву. Никогда еще не одолевали татар, а многажды бывали от них побиты. Тлеют русские кости в сырой земле. Сейчас снова идут воины

и снова лягут. Может ли победить Дмитрий, коли никто еще не побеждал татар?

«Дмитрий, Дмитрий! Вельми ты жестокосерд. Ненавистен!»

Оставалась в Кирилле привычка всякое большое желание обращать в молитву. Чуть родилась мечта — тут же с просьбой к богу. Но как помолиться теперь? Если придут победы над татарами, высоко возвеличится князь Дмитрий. Не будет ему никого равного. Будет на устах его, на сытых щеках бродить довольная ухмылочка, будет от всех похвалы слушать. Нет, побить бы его, изничтожить, унизить! Чтоб бледен вернулся, чтоб стыдно стало перед народом себя казать!.. А что же тогда с народом станется? Под мечом и под пламенем Русь вновь наплачется, под басурманским гнетом навеки сникнет! И Москва, и Коломна, и Рязань в кой-то раз вновь в пепел лягут! А в Коломну он мечту о вольной жизни несет: пеплом и мечта по ветру рассыплется.

— Даруй, господи, удачи брани сей. Ниспошли покров свой на воинство наше. Даруй победы...

Голос Тимоши, разрастаясь, охватывал весь примолкший вечереющий мир. Илья Муромец обрушился на басурманские войска:

Он копьем их колет, конем их жмет,
Он бьет их силу, будто жатву жнет.

А когда притомился конь и притупилось оружие, бросил оружие Илья:

Видит, прет к нему дитя немалое,
Ухватил он за ноги того татарина,
Тако стал татарином помахивать,
Стал он бить татар татарином.
Так прошел сквозь всю Орду поганую,
Сквозь Орду к собаке царю Калину.
Бросил тут татарина он в сторону,
Взял за белы руки царя Калина:
— Будешь ты платить отныне веки по веку,
Будешь ты платить нам дань, поганый царь,
Посылать дани ко городу ко Киеву...

— Не слышал еще этой песни. А хорошо! — сказал Кирилл.

— Не слыхивал и я допрежь сего. Да надо б петь ее не князю Владимиру и не о Киеве-граде, а нашему Дмитрию на Москву. Злее б она выходила!

— Нет, правильно сложена. Всякой и так поймет, что Владимир — наш, а Калин — вражеской.

— Ой, чего-то ты недоговариваешь! Видно, не в любви ты с Дмитрием свиделся.

— Нет, не в любви... о том после думать станем. А сейчас — татары идут на Русь. Понял?

Утром они растолкали мокрого от росы Топтыгу. Кирилл распутал коня. Пошли еще в тумане, приглядываясь к подножью елей, где было ясней.

Днем вышли на дорогу, но хоть и была она безлюдна, а страшна. Они снова подались в лес, держась в виду дороги.

К концу дня показалась Ока. Было пасмурно. Шел мелкий дождь. С веток скатывались крупные капли. Лес становился мельче. Пошла чернь — дубы, осинник. Подосиновики краснели на плотных белых ножках, и Топтыга, чавкая, набивал ими рот.

— Животом занеможешь, балда! — увещевал Тимоша медведя.

В город решили идти порознь.

Тимоша с Топтыгой ушли, а Кирилл задержался.

Он вел лошадь в поводу, по лесу, пока сквозь стволы показались пропашные поля, за ними город.

Под дождем стоял он маленький, темный, смурый. Повыше соломенных и дощатых посадских крыш высились бревенчатые стены кремля и коренастые, как совы, стрельницы.

Позолоченный крест поднимался над церковью Воскресенья. Здесь Дмитрий венчался с княжной Евдокией Суздальской. Помнил эту церковь Кирилл; давно это было. Сколько горестей перенес с тех пор, как вышел с ее паперти. А вон в стороне, в дубах, и Голутвин монастырь, откуда и повели его в невольную жизнь. Там, у слияния Москвы с Окой, может, и сейчас живет Анюта...

«Не чает небось, как близко стою. Не забыла о том, как умоляла стражей отпустить меня, грех на себя одну брала. «Знала б, не жалобилась бы...» Горько убивалась... Да и любилась она стыдливо, жалостливо. Разве блудни такие? Лгут злые люди на нее. Велика горесть вдовьей жизни».

Может, не сюда бы бежал через леса и топи, если б не сохранил через нее в своем сердце тепла к Оке и к Коломне и к этим глухим ивнякам, где с ней слюбился.

Еще стоя в кустах, Кирилл облюбовал приметное дерево и пошел к нему. У корней пышно рос мох. Кирилл кинжалом вспорол его и приподнял большой пласт. Подо мхом оказались залежи орехов. С удивлением он взял один, обтер пальцами и разгрыз. Ядро было свежее.

— Ишь ты! Векша[1] тут склад устроила. Ну и я тоже устрою.

Он разрыл кинжалом землю, снял с себя лишнее оружие, шелом, завернул в узел и уложил в расщелине корней. Сверху прикрыл мхом, присмотрелся:

— Мох как мох. Так, маленькая кочка. Никому невдомек.

Посмотрел на перстень и решил было снять, но снова разрывать кучу не хотелось.

Теперь он одет был легко, просто. Из оружия остался лишь кинжал за поясом да нож за голенищем. Таким может быть и доверенный купеческий приказчик да, пожалуй, и сам купец. Только шапка была нехороша. В этой шапке с Алисом работал, измазана, постерта вся.

Уже совсем стало смеркаться, а дождь не переставал. Кирилл заторопился.

В городе лаяли собаки. Пахло с огородов и дворов свежим навозом, ботвой. Сырые пятна чернели на бревнах строений.

По свету в окне Кирилл опознал постоялый двор. Тут, в слободе, не въезжая в городские ворота, он и остался ночевать.

В большой избе было темно и тихо. Лучина тускло горела в стороне от стола, и пламя стояло, как увядающий цветок, подсохший сверху, — пламя всегда напоминало Кириллу какой-то цветок, растущий на берегу Босфора.

Люди, молча сидевшие у стен по скамье, показались ему знакомыми: может, среди них есть те, которые два года назад видели его позорный исход из Коломны? Все смотрели на него, но никто не шевельнулся. Кирилл перекрестился в угол и сел.

Он скоро догадался, почему все молчали: здесь слушали побывальщину; старик сказитель на чурбаке возле печи отпивал квас из большой уполовни. Кирилл вошел в перерыве между событиями: Илья, оседлав коня, выехал в чистое поле навстречу врагу. Это была та же песнь

---

[1] Векша — белка.

об Илье и Калине, которую Кирилл впервые слышал от Тимоши.

Старик поставил уполовник на кадку и обернулся к Кириллу:

— Да, так, значит, об Илье и Алине песня складена. Послухай, гостюшко.

«За купца меня принял», — подумал Кирилл. И пока старик отирал ладонью волосы вокруг рта, готовясь продолжать, Кирилл толкнул мальчишку, сидевшего у его скамьи на полу:

— Подь, отроче, поглядь коня.

Мальчишка поспешно ушел, а Кирилл подумал: «Пусть и впредь за купца чтят».

Он оглянулся — кто тут хозяин? Надо бы еды спросить. Старик же сказал ему:

— Потерпи малость. Вместе и поснедаем. А пока послухай.

— Пой, пой, отче. Я повременю.

Старик-то и оказался хозяином.

Он допел неторопливо и складно. Он пел короче, выпустил троекратный наезд Ильи, и песня вышла крепче, как удар меча.

— А я слыхал: не с Алином, а с Калином Илья бился.

— Это кто как называет, все одно — татарин. Да давно ль слыхал?

— Да вчера.

— То-то! А то уж я помыслил, не прежде ли когда. Нет той песни, какой я бы не слыхивал.

— Спеваешь?

— Надо ж дорожного человека приветить. На то и живу.

— Ну, приветь, коли снедь сыщется.

— Повремени маленько. Сейчас хозяйка корову выдоит.

Заезжие оживились.

— Хороша песня, — сказал один.

— А не бывать тому, чтоб татар побили! Сразу не сломили, теперича сил не собрать, — усомнился белоглазый рыжий парень.

— Аль слеп? Войско-то видал?

— Войско не малое. Вот богатый гость насшибает рубликов.

— А чем? — спросил Кирилл.

— Сшибешь, говорю, рубликов. На то небось и за войском гонишься.

— А ты меня почему за гостя чтишь?

— Да по сану, да и по жуковинью видать. Что ж, мы людей, что ль, не видывали? Да только скажу, не первой ты тут идешь, вашего званья там — как в Москве на торгу.

— Много?

— А купец только и ждет, где б кровью запахло, — там рубли шальные, все одно помирать.

Кирилл пригляделся к мужикам повнимательнее — им-то куда в такое время спешить? Один особенно вороват показался — в глаза не смотрит, сидит, как сова, в темный уголок схоронился от света. А вострая бороденка никак укрыть плутовского рта не может.

Заметив на себе взгляд Кирилла, он принялся зевать и крестить зевоту.

«Наводит тень на плетень», — подумал Кирилл.

— Далек ли ваш-то путь, братцы?

— К Звенигороду на ярмонь.

— Далеко направились.

— Пироги печь, — сказал другой, — наше дело такое.

— Пироги-то с требухой, что ли? — спросил Кирилл, прямо оборотясь к остробородому отщепенцу.

Но тот благодушно вытер ладонью лицо и только потом не спеша ответил, будто Кириллов соучастник:

— Кто ж их знает? Может, с капустой. Темный народ.

«Ловко отрекся», — подумал Кирилл.

— А сам-то печку, что ль, под пироги раздувать будешь? — спросил он.

— Я сам по себе.

— А и так расчет есть, — согласился Кирилл. — Коли тебе начинка останется.

Рыжий парень скосил недобрый глаз на отщепенца:

— Он, видать, пирогом пирог начинить мечтает, да хиловат.

Кирилл не сомневался больше: войска прошли, за войсками прошли купцы, а следом за купцами эти бредут — с купцов шкуру сдирать. Бредут, да опасаются друг друга — нет ли кого, кто и у них пирог отнимет.

Рука у Кирилла ощупала пояс: тут ли кинжал?

Вошла хозяйка. Запахло парным молоком и навозом. Поставила бадью на скамью и загремела заслонкой.

Постояльцы похлебали хозяйского варева — постную похлебку, где разварной горох да грибки хорошо были сдобрены луком.

— А медов не варишь? — спросили у хозяина.

— Сам не варю и другим не велю. Стоять у меня стой, песню пой, щи хлебай, а о меде не бай.

— Стол без медов — как песня без слов.

— Это как на чей разум! — сурово ответил старик.

— Что ж, худоумными нас почел? — грозно спросил остробородый.

— Не замай, Щап! — тихо проговорил Кириллов сосед остробородому.

— А ну их! Лезут. Преподобные свечкодуи!

— Щап! — еще тише и настойчивее попрекнул сосед.

Остробородый опять углубился в темень угла. Темень стояла и на дворе. Дверь не была закрыта, в жилье веяло прохладой и сыростью. Дождь не утихал, и слышно было, как он стучит по дощатому полу крыльца.

Кирилл понял, что семеро заезжих мужиков — не из одной ватаги. Тут было их две или три.

«А Щап-то остер не только бородкой. Не зря его те опасаются! — подумал Кирилл. — Надо и мне эту ночь попастись: теперь не в лесу, чать!»

— А ну, хозяин! — сказал Кирилл. — Как бы прилечь где?

— Положу, положу, гостюшко.

— Мне б где поспокойнее.

Старик покосился на мужиков. Все они сторожко прислушивались к их разговору.

— Не бойсь. Выспишься!

Кто его знает, может, и хозяин свою ватагу держит. Лечь-то легко, да каково вставать будет? Нынче на благость не надейся. Шалыги по дорогам в рясах ходить стали; ряса потолще панциря!

«Да я и сам вроде того!» — усмехнулся про себя Кирилл. И пошел за хозяином.

Старик его вывел в клеть. Клеть стояла тут же за двором. Толстая дверь снизу была науголок прорублена, чтоб кошка могла пролезть. Душно пахло слежалым зерном и мышами. Слева от двери, поверх закрома, положена была медвежья шкура по доскам; хозяин приволок на нее тулуп.

— Ночи холодны становятся. У меня тут изнутри засов. Не сумлевайся, гостюшко.

— Спаси Христос. Доглядь коня.

— Гляну, гляну.

В темноте Кирилл забрался на ложе и стал слушать. Хозяину не верь, ему и стена — дверь. Он опять пощупал кинжал: «Эх, в лес бы да за ночь выспаться!»

Когда хозяин вернулся в избу, Щапа и другого уже не было. На столе лежали полушки за пристанище.

— Куды ж в эту темень их понесло? — удивился хозяин.

— Бог с ними! — довольно ответил рыжий.

— Ну, их дело, — согласился хозяин.

Хозяин пошел к печи.

— А купца я на зады в сарай отвел. Пущай на сене отсыпается.

Рыжий хитро подмигнул:

— Тебе виднее!

Успокоившись, старик спросил:

— Вы-то на полатях, что ль, ляжете?

— Да не. Нам скоро пора.

— Ну, как знаете! — и полез на печь.

Едва стало рассветать — а утро запаздывало из-за обложных туч, — Кирилл услышал притаенные шаги. Несколько человек прошло мимо клети к сараю.

Кирилл тихо сполз с закромов, принатужился, чтоб не скрипнуть, отодвинул засов и вышел наружу.

Он воровато обошел сырые бревна стен, держась ближе к ним, слегка шурша мокрой крапивой, и зашел к воротам двора. Попробовал затвор, но ворота были заперты. Хотел подлезть снизу, но, видно, навоз со двора давно не свозили: в подворотню не протиснешься.

«Не может быть, чтоб на двор лаза не было».

И правда — одна из досок шаталась. Кирилл оттянул ее и пробрался во двор. Его конь стоял поодаль, сонно шелестя сеном.

Кирилл погладил его и заглянул в кормушку — сена задали много и овса засыпали. Он отошел в сторону и залег в сене. Когда зарывался в него, хозяин вышел во двор из избы и крикнул:

— Н-но! Не балуй!

«Сторожко спит!» — подумал Кирилл о старике.

Едва хозяин ушел в избу, чья-то рука тронула ворота

снаружи. Тихо отодвинулась доска лаза. Кто-то постоял, свыкаясь с мраком двора. Вверху, под крышей двора, завозились голуби. Кирилл скосил в ту сторону глаз и увидел острую, как лезвие, щель в крыше — рассветало.

Человек от ворот прошел к Кириллову коню и потрепал по шее, успокаивая. Потом схватил цепь и принялся отмыкать правой рукой, а левой почесывал коню шею.

Кирилл мгновенно приподнялся. Человек, застыв, остановился. Это был Щап.

— Ну-ка, не замай!

— Что ты! Что ты! Я — так.

Но Кирилл подступил ближе. Между Щапом и воротами стоял конь. Щап вдруг пригнулся, нырнул под брюхо коня и кинулся к воротам.

«Ишь! — удивился Кирилл. — Истинно, как я, от смерти из-под конского брюха вынырнул! — И усмехнулся, вспомнив пережитый день: — Два звания за день испробовал! Как поступать дальше? Воином ходить несподручно, всякий подумает: почему, мол, от воинства отбился? Купцом — тяжело, спать мешают. И так, и этак мяса на костях не нарастишь. Надо в рясу, что ли, опять? Самое мирное дело по нашим временам!»

Но тут же вспомнил, что невдалеке под мхом запрятан хороший запас. Можно, значит, не спешить, оглядеться, а там видно будет.

Он снова закрепил цепь, вышел через лаз на утреннюю светлую улицу и пошел в клеть.

Десятая глава

СЕРГИЙ



Осенняя тихая, длинная ночь прошла. В лесу едва занимался мокрый рассвет. Сергий проснулся и приподнялся, прислонившись к стене. В соседней келье глухо разговаривали. Ему показалось, что оттуда доходит женский голос:

— Пора, пора. Светает.

Осторожно он спустил ноги на мягкий беленький половик. Вышел в сени, постоял возле двери, за которой жил инок Александр. Сергию послышался голос Александра, но глухо, невнятно, женский ответил тихо, но отчетливо, с позевотой:

— Пора идти.

— Рано.

— Может, кто встретится. Нехорошо. А ты спал бы.

— Пора и мне.

— А я лежала, смотрела на тя, думала. Давно мы с тобой, а все не пойму.

— Ты все о том?

— Сам помысли: тверд ты, когда других ведешь к богу, а сам... со мной.

Сергий удивился: столько лет Александр служит ему келейником, а ни разу не приходило на разум усомниться в Александровом целомудрии.

Александр за стеной говорил:

— Вера нужна. Вера нас собрала воедино. Вера горами движет. И если б надо стало, чтоб ее удержать, я бы тя покинул!

— Покинул бы?

— Нонче Русь крепка верой. Вера как обод, как обруч.

— А сам обручен мне. Ты ж чернец. И греха не боишься?

Александр уже стоял у дверей, и она подошла к двери. Сергий не отходил, слушая.

— Не боишься?

— Боюсь, что увидят, как ты пойдешь. Это грех будет, ибо сие есть соблазн.

— А греха? Не боишься?

— Есть такой зверь — лев. Слыхивала о нем?

— Который в пустыне и мучеников святых терзал?

— Он самый. Страсть — и есть лев. Каждому богом он дан. И каждому чернецу тоже. Всяк бо есть человек. Дан и мне. Некоторые, в единой келье с тем львом живя, морят его постом, молитвой; еженощно секут и угнетают. И до времени зверь истомлен и пуглив. Но улучит миг слабости в хозяине своем, яростно на хозяина кидается, и тогда нет спасения, ибо келья тесна, а выход узок. Я же своего льва не томлю, а питаю, и он ласков, как кот, он меня не сожрет, и я в келье моей покоен и без опасения предаюсь делам веры.

— Притча!

— В ней истина. Ну, иди. Уже рассвело.

Сергий торопливо, прежде чем откроется Александрова дверь, вышел из сеней во двор. Рассвет нежной росой ложился на кустарник. За деревьями, в Симоновой обите-

ли, ударили в колокол. От Кремля, издалека, тоже был слышен звон. Войска ушли из Москвы. Завтра вслед им уедет Дмитрий.

Сергий уходил, чуть сутулясь, спокойным, неспешным шагом, твердо переставляя посох. Он шел не к Симонову, где останавливался, приезжая в Москву, а прямо к Кремлю.

«Александр, Александр! Не чаял я, как близок, как упорен соблазн!»

Жизнь доверял Александру, брал с собой во многие странствия и пути!

Сергий шел, спокойно глядя встречным в лицо. И встречные не выдерживали его прямого, непреклонного взгляда. Те, которые узнавали, останавливались, кланяясь. Некоторые опускались на колени.

Шел и думал: крепок ли обруч веры вокруг подмосковных княжеств? Нет ли трещин? Близится день битвы. Замирает сердце. Все ли готово? Дмитрий уговаривал принять митрополичий сан. Стать над всею православной Русью. Нет, в этой бедной одежде, в дорожной пыли, в славе подвижника и мудреца, он сильнее всех князей и самого митрополита. Дмитрий не понимает, что эта сила крепче кует обруч.

«Александр! Александр! Был воином, а ныне клонится к схиме; дам ему схиму и меч. Схиму и меч! Пусть не искусом, а подвигом утвердит свой путь к вере!»

Великокняжеский терем, позолоченный утренним светом, расписанный усердной кистью, высился на зеленом холме. Воины сложили на груди руки, и Сергий, переступая порог, благословил их.

У Дмитрия сидели ближние бояре, и они встали, когда Сергий вошел. Встал и Дмитрий и подошел под благословение Сергия.

Сергий сел с краю, слушал, как говорил Тютчев. Слушая боярина, Сергий разглядывал строгую, складную, опрятную его одежду.

— С западных стран есть двое ученых и мудрых человек — лях Горислав Броневский и свей Рувальд. Эти обучать могут хорошо, твердо.

— А еще кто? — спросил Дмитрий.

— Про что он? — спросил Сергий у Боброка.

— Учителя Василью Дмитриевичу нарекают. Княжич в разум вошел, пора.

Словно и мысли не могло быть о том, что татары дорвутся сюда!

— А еще, — сказал Тютчев, — есть по древлему обычаю грецкие учителя. Паисий — вельми книжен, с Афона. Ныне в Горицком монастыре на послухе у старца Льва. Тож из Цареграда, от патриарха, есть грек Василий, твоему сыну тезка, «Александрию» перевел, ныне житие митрополита Алексея пишет...

— Сына взрастит в страхе перед патриархом. Грецкому языку научится, а по-русски мыслить сможет ли?

Боброк вдруг уловил мысль Дмитрия и посмотрел на Сергия, но и Сергий понял и улыбнулся Боброку.

— Ну, а свей Рувальд в сенях дожидается. Он нам оружейные дела в Свейской стране устрояет.

— Покличь свея. Взгляну.

Невысокий коренастый швед, уже седой, глядя серыми глазами из-под строгих бровей, гордо вошел на зов великого князя.

Дмитрий, сидя по-хозяйски, чуть боком, на своей скамье, не ответил на поклон шведа, только улыбнулся и спросил:

— Благополучно ли доехал, не обижен ли кем?

— Благодарю, великий государь, благополучно. Под Рузой в реке Москве одна ладья с оружием затонула, но груз смогли достать, наша сталь воды не боится.

— Добрая сталь?

— Отменная.

— А другой мы б и не взяли. В прошлом годе повез три ладьи кольчуг назад. Так бы и на сей раз было.

— Очень тогда огорчил. Но я в Новгороде их сбыл: ливонские рыцари перекупили.

— По Сеньке и шапка.

Дмитриево напоминанье явно рассердило шведа, хотя улыбка и не сползала с его голых щек.

— Мы куем доброе оружье. У вас не умеют так.

— Научатся.

— А пока не умеют. Да и что здесь умеют?

— Ого! — Дмитрий насторожился.

— Какие ремесла знают? Народ сер, а наших мастеров смеют хулить...

Дмитрий встал и побагровел. Бояре заворочались на своих местах.

— Хулим! А вот помогло, привезли хороших мечей,

добрых булатных кольчуг. Сами поняли, надо ковать хорошо. А за нашу серость поклонитесь нам в ноги, — ежели бы мы не стояли впереди вас, оборотясь на восход, не было б ни вас, ни ремесел ваших. Оттого-то вы и куете добрые мечи, что мы не влагаем их в ножны!

Швед побледнел. Дмитрий спокойно сел на свое место.

— Тебя в наставники прочили моему сыну.

— Готов приложить свое усердие!

— Не потребуется. Дед мой Калита отца моего князя Ивана книжной премудрости не обучал. И отец мой меня грецким наукам не учил тоже. И я своих сыновей не стану учить ни грецким мудрецам, ни угорским, ни болгарским книгам, ни ляцкому празднословью. Пусть русскую правду разумеют. Пусть к народу поближе стоят. Так-то! Не то станут по сторонам смотреть, а свое проглядят. Вон Рязанский Ольг вельми учен, всякие языки разумеет, а своего русского понять не может. Время-то каково? Надо поплотнее друг к другу русским людям стать. А минет суровое сие время, внуки научатся; разум при них останется, никто у них разума не отымет. А нам знать одно надо — науку воинскую. Разум изощрять в битвах.

Швед возразил:

— Однако князья и короли западные, и угорские, и шведские, и немецкие книгам вполне обучены и...

— А потому и обучены, что в наших руках — мечи, а не книги. И копья наши к востоку повернуты! Ступай, свей. За оружье те заплатят. Ежели в этом году еще наберешь на караван, привози — купим. Ежели худое наберешь, назад повезешь. Иди!

Швед ушел.

Тютчев:

— Разреши, государь, сказать: к своим сынам я ляха Горислава приставил. Нонче выгоню.

— Прежде сам о том размысли. Великому князю надобен воинский ум. А Русь никогда книжной премудрости не гнушалась.

— То монастыри пусть мудрствуют. Нам не то надо. Ляха сгоню. Самому приторен, да худей других быть опасался: скажут, серы, мол, Тютчевы. Внуки, придет время, научатся, а сынам иное надо.

— Ты, мнится, сам-то из угорских бояр?

— Дед. А я — московский.

— Так ты ляха, ежели он негож, смени. А детей своих

учи: это что ж, смердами нам быть, что ль? Об том, что ты боярин, забывать не смей!

И отошел к Радонежскому.

— Что-то, отче Сергие, Тверской князь сызнова замышляет? Никак, ни мечом, ни огнем, ни словом, не изгоню из него ропота.

— То сведаю. Его духовника кликну: наш, троицкий, при нем. Да и Федору епископу внушу, чтоб разномыслию не потакал.

— Тож в Рязани; не чрезмерно ли рязанские бояре своего Ольга чтут? Надо б, чтоб о боге побольше думали.

— Рязанцы, которые посильней, у рязанского епископа Василья на примете; ныне многие из них ручней стали. Я Василью Рязанскому вчерась нового келейника благословил. Нонче поутру, видно, поехал, а с ним — письмо.

— За молитвы твои, отче Сергие, низкий от меня поклон. Я скажу дьяку Нестеру, чтоб грамоту те сготовил. Когда уходить будешь, возьми: жалую твою Троицкую обитель ловчими промыслами, дозволяю вам ловить на реке Воре выдру, бобра, иного всякого зверя. То за молитвы твои, доколе в походе буду.

— Вечные о тебе молитвенники, Дмитрий Иванович!

Подошел Боброк, Дмитрий спросил:

— Что ты, Дмитрий Михайлович, о татарах сведал? Сулился сказать.

— Не нонче сведал, давно. О строе их в битве сведущих людей расспрашивал, сам размышлял. Како идут в бой, чем побеждают.

Сергий вглядывался в них, знал: Дмитрий не любит книжников. Воин — он в битвах прям и не хитер и о боге-то думает мало; хозяин — он жалеет время на книги и на молитвы и книгочеев гнушается. А Боброк над книгами ночи просиживает, а то на звезды глядит да песни бормочет. Тем Боброк Дмитрию не люб. Но никого нет равного Боброку по воинскому разуму, и Дмитрию без него не управиться. И Боброк живет, будто и не знает, что злая змея порой заползает к Дмитрию. И та змея — зависть.

Вот и ныне: страшная битва надвигается, войско уже идет к ней; завтра и Дмитрий за войском тронется, а Боброк остается Москву стеречь.

Сергий знал: хочет Дмитрий всю славу себе взять! Всю без остатка! Чтоб Боброку ни капли ее не осталося.

И теперь глядел на них: как мирно говорят они накануне разлуки, может быть, последний раз видятся!

Дмитрий долго беседовал с Боброком. Боброк чертил пальцем по скамье, и Дмитрий следил за его начертаниями. И хотя ни единая линия не видна была на алом покрывале скамьи, они вдвоем видели эти линии, словно меж ними лежало широкое поле, полное воинств, оружия и засад.

Сергий ушел в терем навестить своего крестника, маленького князя Юрия, успокоить Евдокию Дмитриевну, напуганную мужем: Дмитрий эти дни был задумчив, забывал отвечать ей, подолгу не приходил от бояр. У них мужские дела да воинские заботы, а у нее — женское сердце, легкое на печаль и падкое на слезы. А ведь может статься — последний свой день в Москве живет ее Дмитрий; может, выедет поутру и больше вовеки не скажет ей ни слова, не взглянет. Может, и самой, и детям, и Москве, и Руси наступают последние дни.

Сергий вошел. И так спокойно посмотрел в ее заплаканные глаза, так ласково погладил Юрия, словно все тихо вокруг.

Соблюсти тишину в Москве, соблюсти по всей Руси тишину в эти дни хотел Дмитрий. И Евдокия вдруг поняла это.

— Отче Сергие, я к вечерне пойду, к народу выйду. Много нынче слез у баб, у меня тоже муж в битву уходит, вместе помолимся.

— Иди, государыня. Милостыни раздай; скажи, чтоб не убивалися. Прошло время татар. Отступило время от них. Вдосталь от них наплакались. Ныне настает наше время.

Одиннадцатая глава

ОРДА

В степи на многие версты вокруг поднималась пыль; скрипели колеса телег. Паслись косяки лошадей. Татарские кони, запрокидывая головы, ржали навстречу русскому ветру. Чем дальше от Орды, чем ближе к Москве, тем гуще становилась трава в степи, тем тише ветры, тем ниже и непроницаемее небеса.

По краям пути темнели давние курганы, похожие вечером на юрты родных кочевий.

У берегов безыменных рек лежали сросшиеся с землей развалины давних стен. Поросли полынью древние валы и рвы. Одичалая малина разрослась над ямами, неизвестно кем вырытыми в этой безлюдной земле. Русские люди отсюда ушли: слишком часто захаживали сюда татары. На многие версты простерлась по стране пустыня, легшая просторной чертой между Ордой и Русью.

Снова шли татары на Русь. Там, где прежде звенели ласковые славянские песни, там, где, бывало, девушки свивали с припевами тугие венки, ныне лишь ястреба взлетали с тревожным клекотом, лишь совы жалобно стонали по ночам. Там, где некогда соха ратовала за урожаи, где окрик ратая бодрил коня, ныне лишь кроты рыли поле, жаждавшее плодоносить. Там, где прежде теснились очаги и кровли, где торг и труд собирали людей в одно место, ныне все покрыл бурьян и поселились щеглы. Снова шли татары на Русь.

Становились прохладнее и сырее зори. А по ночам приходилось укрываться в шерстяных чекменях.

Широко раскинувшись по степи, кочуя, не топча, а выедая пастбища, шли на Москву стада. Блеянье овец и коз, ржание табунов и мычание стад окружали несокрушимую конницу Золотой Орды. Воины шли за скотом, как мирные пастухи. Оружие и доспехи следовали позади в медлительном шествии скрипучих телег. Передовые отряды ушли на многие версты вперед, и гонцы оттуда не приносили никаких известий о русах.

Русов хорошо пограбили в Нижнем. Приволокли добычу, но каждому хотелось поскорее сбыть ее — ни русская утварь, ни русская одежда не радовали ордынцев: не могли привыкнуть к ним. Нижегородцы сопротивлялись вяло, но успели уйти,—в плен попало немного, и ордынские воины уповали на предстоящие грабежи в Москве.

Будут еще топи и леса впереди. Будут еще реки и города на реках. Снова потянутся леса. Встретится много битв, криков и огня. И только в конце пути предстанет глазам Москва.

Там золото лежит в ларях у купцов. Там диковинное добро у бояр. Там девушки белотелы и светловолосы. Там надменный Дмитрий, Московский князь, каждого одарит золотом, будет на коленях ползать перед каждым татарином.

Там, за глухой лесной стеной, Москва, где даже крыши из золота, где седла высеребрены, где стремена позолочены.

Женщины жадно смотрят вперед, тяготятся медлительным шагом кочевья. Вражеское воинство для них — это крышка котла, полного соблазнов и меда. И каждой хотелось эту крышку увидеть скорей, чтоб скорей ее сбросить с котла. Женщины жили в юртах, поставленных на телеги, доили скот, вычесывали репейники и колючки из верблюдов, носили воду, шили одежду, а в часы боя вскакивали на коней и следовали за воинами, чтобы войско казалось врагу бесчисленным.

Строго блюлась очередь, как завещал Чингиз: если первая смена воинов билась, вторая стояла на отдыхе. Каждая очередь блюла часы боя, и врагу казалось, что Орда несокрушима, неутомима, бесчисленна. Так завещал Чингиз.

И сам он соблюдал череду воинов, и сам сажал женщин-катуней на коней смотреть со стороны на бой, чтобы враг думал, что вдали стоит запасное войско. Он ходил, ведя за собой стада, обозы и юрты, ибо скоту корм находился везде, а скотом кормились воины даже в местах, опустошенных пожарами битв.

И заветам Чингиза строго следовал Бегич.

Затянув кожаным кушаком халат, на голову опустив круглую, опушенную бобром шапку, он твердо сидел в седле, озирая шествующее со всех сторон воинство. Седа стала его борода. Черно от загаров и ветров лицо. Как яйцо, ворочалось бельмо на глазу, и съеденное оспой лицо начало покрываться морщинами.

У него была привычка сплевывать через левое плечо. Чем больше думает, тем чаще плюет. Так воины определяли дела и предугадывали события: перед боем он больше плевал, после боя меньше, и тогда морщины разглаживались.

Бегич не знал поражений.

Он бился в низовьях Дона, бился на Кубани, ходил в набеги и водил в походы. Под ним убивали коней. Он собирал себе жен из всех походов. Слышал песни на берегах морей и в безмолвии далеких степных урочищ. Его кони ступали по ледяным уступам гор и по нехоженым пескам пустынь. Зной и стужи он сносил в том же, чуть простеганном шерстью халате, спал на жестких войлоках,

подкинув под голову попону или седло. Так спал он и в те ночи, когда девушек приучал к любви. Из походов он возвращался в свой сад, к стенам Сарая, но в мирном благолепии своего дома нетерпеливо собирался опять в походы — жечь, обогащаться, спать на вонючей кошме, пить верблюжье молоко и слушать, как воины, следуя за стадами, поют и звенят оружием.

Славно просидел всю жизнь в седле, неподвижно, сурово, а мир протекал мимо, куда-то вниз, под копыта коня.

Он знал дело битв. Его учили старые воины, помнившие воинов Чингиза. Ему не раз доводилось читать мудрые назидания, записанные владыкой мира.

Он сидел в седле спокойно. Теперь опять натекала на него река по имени Русь. Сюда уже приходилось захаживать ему: жег Рязанское княжество, и Нижегородское, и в Киеве был, и со многими русскими князьями в Орде разговаривал. И этой дорогой, думал, много еще раз придется ходить.

Шли табуны. Скрипели телеги обозов. Далеко-далеко впереди шли передовые отряды непобедимой конницы.

А в ковыле давних курганов, за серыми осколками каменных баб, лежали воины Дмитрия, вглядываясь в мимо идущего врага.

Пыль поднималась до неба. Орда шла на Москву, текла, как лесной пожар, вздымая до небес степное курево — пыль.

Временами бурые лохматые кочевые псы затевали лай и вой, оборотясь к курганам.

— Волки там, — объясняли Бегичу воины.

Бегич не опасался врага. Исстари, с первых походов, сокрушали татары сопротивление Руси. Русь ныне подавлена, смята. Гордо заносились иные из русских князей, — им резали головы, а города их жгли, а жителей брали в рабство, а достаток делили. Вот и еще один посмел дерзко разговаривать — Дмитрий. Хорошо, что город его богат, — есть что взять за поход, не зря будут побиты конские копыта и потуплены сабли.

Твердо завещал Чингиз брать в дань десятую долю всего, что имеет покоренная страна. А Дмитрий откупился от Мамая, выговорил скидки, платит мало, разбогател.

Чингиз был мудр: он требовал много не для корысти, а для безопасности — враг, обремененный данями, не строп-

тив, бессилен сопротивляться, почтителен. Покоренный народ чахнет, а покоритель крепнет. Так завещал Чингиз, и Бегич ненавидел Мамаево скудоумие: уступил Дмитрию, дал ему богатеть. Бегич был воин, а Мамай всю жизнь лез в ханы и, как русские говорят: «похотел стать царем».

— Царом! — сказал вслух Бегич, вслушиваясь в звук этого чуждого слова.

Перед вечером он сошел с коня, и женщины принесли ему в медной чашке вареного мяса с морковью и перцем.

Он ел, запивая большими глотками кумыса.

Он ел, а воины пели вдали, и песни родного народа, сопровождавшие его везде, делали родным и серое русское небо, и эту сырую густую степь.

На ковре, где сидел он в этот час, собрались близкие сподвижники, спутники в походах, товарищи по боям. Их было шесть человек. Он сидел седьмым. То хорошее число, и Бегич яростно сопротивлялся, когда ему навязывали новых людей, родственников хана или отличившихся в неведомых Бегичу боях. Они и теперь следовали в его войске, у них образовался свой, ненавистный ему круг. В походах спали они мягко, ели сладко, дорого платили за красивых пленниц, любили разговаривать по-персидски, хотя иные из них едва понимали этот язык.

После смерти Чингиза многое переменилось. Народ смешал свою кровь с кровью покоренных народов, полонянок, рабынь. Не столь остры стали скулы, не столь длинны глаза. Не так груба шерсть одежды, не так тверда рука в бою. Возлюбили сон на мягких ложах, возлюбили сады возле юрт. Словно юрта, поставленная среди чистых степей, хуже!

Ныне ханы часто сменялись. Один убивал другого: брат крался к брату, сыновья нетерпеливо помогали умирать отцу. Родные и любимцы их сменялись в монгольском войске, но неизменным оставался их круг, окруженный музыкантами, подмалеванными мальчишками и рабынями.

Бегич ненавидел их: они толклись в стороне от боя, презирая варваров и не зная, как этих варваров подавить. Он побеждал, а они мчались в Сарай — трубить о своих победах. Он брал пленников, а они ухитрялись брать барыш на том. Но Бегич был нужен им — суровый,

сильный, он лез на стены и поджигал города, входил в огонь и выметывал оттуда богатства, а они жадно ловили их на лету и спешили укрыть в надежном месте. И Бегич знал: дружба с ними помогает ему воевать; если враждовать с ними, они снимут с него голову, а может, и более страшное сотворят — устранят из войска, вынудят жить в садах Сарая, заставят нежиться на шелковых бухарских одеялах, и останется тогда Бегичу только вспоминать о походных кошмах.

Так они ходили в дальние пределы, нужные и чуждые друг другу.

Теперь, в остывающем воздухе вечера, сидел Бегич с шестью друзьями, и они были, как и он, одеты в простые одежды воинов. Каждому легко было скинуть халат или кафтан, чтобы переодеться в боевые доспехи.

С запада, подпрыгивая в розовеющем небе, далеко видный в открытой степи, мчался всадник.

Они терпеливо ждали его, попивая кумыс. Они молчали, ожидая вестей, хотя и знали — всадник скачет в обычное время, значит, и весть его обычна.

Он не сошел с лошади. Конь стоял понурив голову. Всадник сидел прямо.

— Говорю: русов нет. Вдали показался лес.

— А городов, улусов, мирных людей нет?

— Слышали пение петуха. В другой стороне, но далеко, видели большой дым, — может быть, выжигают лес. Задержали монахов, шедших в Сарай к русскому мулле молиться.

— Много нашли при них добра?

— Мало оружия, корм и ничего больше.

— Ведите их сюда. Пройдут в Орду через нас.

— Они ушли.

— Кто их отпустил?

— Сами ушли.

— Кто их упустил?

— Ак-Бугай.

— Скачи, чтоб Ак-Бугай передал свою саблю Турсупу, а сам шел сюда. Скоро!

Всадник выпил кумыса, поданного из рук в руки Бегичем, сел на свежую лошадь и снова ушел в степь.

Утром Ак-Бугай встал перед Бегичем. Возле Бегича стояли старшие воины-сотники. Бегич сидел на узорной кошме, которую постелили на небольшом холме. Ак-Бугай

стоял у подножья холма, и Бегич смотрел на него сверху вниз.

Бегич смотрел на шрам, легший розовой ящерицей на сизый камень скулы, смотрел на длинную седину бороды, на широкие плечи воина-старика.

— Куда ты идешь, Ак-Бугай?

— На Русь.

— Есть ли старая дорога там, где идешь ты? Это ли, спрашиваю, дорога из Москвы в Сарай?

— Нет. Это дальняя дорога. Она хороша для стад, но конный и пеший, следующий в Сарай, идет по другой дороге.

— Вижу: ты понял свою вину сам.

— Понял.

— Скажи всем: в чем есть твоя вина?

— Есть моя вина, взял двух монахов и спросил: «Куда?» — «В Сарай, — говорят, — молиться у русского попа». — «Разве, — спрашиваю, — нет русских попов в Москве?» — «Есть. Они молятся хорошо, но мы хотим помолиться в сарайской церкви». Я помню старые приказы, их повторяют и теперь: попов не бить, не брать.

— Попы говорят народу. Народ им внемлет. Храня попов, мы храним мир в народе. Но два монаха в глухой степи, вдали от дорог, без даров сарайскому попу — особые монахи. Куда ты их дел?

— Я их покормил и велел утром прийти сюда.

— А утром их уже нет?

Если татарин убьет татарина, его наказывают смертью. Но если убийца найдет ответ на вопрос судьи, убийцу не следует наказывать смертью. Это завещал Чингиз. Только тяжкий проступок карался смертью, но тяжких проступков было мало, и воины редко совершали их.

Подумав, Бегич сказал Ак-Бугаю:

— Отдай оружие воинам.

Старик снял и отдал. Бегич приказал воину привести женщин. Женщины подошли.

— Вот, — сказал им Бегич, — этот старик поможет вам носить воду и собирать верблюжий кал на топливо. Может быть, он научится доить верблюдиц. Он больше не будет воином. Возьмите его.

Ак-Бугай пошел к ним, но оступился и упал, уткнувшись лицом в землю. Он не сказал ни слова, не возопил, не царапал землю: он лежал молча.

Он лежал ниц, когда мимо шли воины, когда мимо проходила непобедимая конница. Он встал и открыл глаза, когда скрип телег поравнялся с его лицом. Тогда он подошел к телегам Бегича и пошел рядом с ними, в толпе рабов.

А Бегич ехал впереди, твердо сидя в седле, ворочая бельмом, чтобы на всю жизнь запомнить каждый куст. Начались перелески, заросль, перистые шапки рябин, пышные шатры берез. Телеги скрипели, скот уже вступил в лес и брел медленно, обнюхивая неведомые травы, дыша незнакомыми запахами. Бегич не шелохнулся в седле, а лишь сплюнул через плечо, когда увидел всадника, мчащегося в неурочный час.

Воин поравнялся с Бегичем, повернул коня и поехал с ним рядом.

— Говорю: час назад мы увидели пятерых русов. Они на конях пробирались лесом... Они воины. Мы кинулись за ними. Но они мчались сквозь лес, как волки, не пригибаясь и не задевая ветвей. Нас же деревья сбросили ветками с седел. Лес помогает им.

— Да, лес помогает им.

— Больше ничего не было.

— Кто преследовал русов?

— Турсун и десять всадников.

— Скажи Турсуну и этим всадникам, чтобы ушли из передовых отрядов сюда. На смену им возьми у Кавыя десять других, по выбору Кавыя. И скажи ему, чтобы шел вперед на место Турсуна.

Так ордынская конница вступила в русский лес.

К концу второго дня стали сквозь лесную тьму просвечивать перелески. К ночи и перелески были пройдены. Впереди, сокрытая мраком, снова раскрывалась до самого небосклона степь.

Это было Рясское поле.

Бегич приказал не зажигать костров. Но Карагалук, Мамаев племянник, прислал сказать:

— Мне холодно.

Бегич снял свой чекмень и велел отнести Карагалуку.

И другой еще воин пришел — от Таш-бека, а князь Таш-бек по матери был потомком Чингиза. Воин сказал:

— Амиры мечтают погреться возле тебя.

Бегич ответил:

— Там, где стоит моя конница, земля принадлежит

Золотой Орде. Амиры же служат Мавераннахру, коего конница еще не подмяла мою под свои копыта. Скажи: для татарина моя юрта открыта, для амиров же места у меня нет.

Воин ушел, а Бегич задумался: в Туране, в Мавераннахре крепнет враг, опасный и злой. Сын Тарагая, амир Тимур, нагло разговаривает с Ордой. Есть еще там амир Казган. Есть там еще какие-то амиры. Может быть, придется попробовать свои клинки об их черепа. А наши уже наименовали себя амирами... Маймуны! Обезьяны безмозглые! Орда сильна, пока чист ее язык, пока татарин гордится тем, что может назвать себя татарином!

Он рассердился и сам пошел к ним.

Он шел мимо телег, возле которых укладывались на ночлег воины. Мимо воинов, певших песни.

Воины, шедшие с ним, указывали дорогу.

«Зачем так далеко от моей юрты стоят их шатры?» — думал Бегич.

Он догадался об их стоянке по костру. Костер горел одиноко в непроницаемой степной тьме. При виде костра Бегичу захотелось вернуться: «Подумают, я иду гасить!»

Но не хотелось возвращаться при воинах. Когда он шел, столько голов поднялось и обернулось посмотреть ему вслед, столько песен оборвалось, столько женщин, выглянув из юрт, шепнуло:

— Бегич пошел.

Да, Бегич пошел и застал их всех вместе.

Костер горел. Только что сняли казан, полный ароматной баранины. Пар поднимался над мясом, полным приправ и пряностей. Бегич не отказался сесть на подкинутый ему пуховик. Бегич не отказался от большой чаши кумыса, холодного, солоноватого и густого.

Он приказал сотнику:

— Разреши всему стану разводить огни.

И вскоре дошел шум голосов, застучали кремни о клинки, задымились труты красными звездочками. Розоватым заревом стало наполняться туманное небо.

Был вокруг розовый от костров туман, и Бегич лишь теперь почувствовал вечернюю сырость — руки его были влажны.

Еще кумыс в приподнятой Бегичевой руке не был допит, как послышались топот и голоса. Бегич насторожился, покосившись на своих собеседников. Но они беспечно

тянулись к блюду с бараниной, предлагая и ему не отставать от еды, — им были неведомы топоты и голоса ночи. Их рабы подкидывали в костер свежих дров — и пламя разгоралось, освещая старинное китайское блюдо, и темный, как кровь, ковер, и тонкопалые, изукрашенные перстнями руки, измазанные жиром еды.

Топот приблизился. В круг костра сотник внес весть о возвращении одного из головных отрядов:

— Говорю: справа от пути, в лесу, нашли русскую деревню. Пять домов. Люди сбежали. Пятерых взяли.

— Ого! — вскричал мурза Каверга. — Хорошее начало! Ты из моей тысячи. Я тебя помню! Взятым связать крепче руки и развязать языки. Узнаем новости.

Бегич сплюнул через плечо.

Сотник ответил:

— Двое из них девушки.

— Хорошее начало! Очень хорошее начало! — привстал Каверга. — Скажи: привести девушек.

Из темноты выдвинулся на лошади всадник. Бегич заметил, что бока у лошади впали, что лицо всадника было изодрано.

В метнувшемся от подкинутых дров свете все заметили руку всадника: ее оплели две светлые косы, намотанные на пальцы. Так вел он пленниц.

Их рубахи были разодраны и измазаны. Сквозь прорехи сверкало розоватое тело, кое-где покрытое смуглыми завитками волос.

Они стояли прямо, со стройными руками, завязанными за спиной, отчего груди выступали вперед и плечи казались круче.

— Сколько тебе за них? — спросил Таш-бек.

Бегич взглянул в лицо воина. Побагровев и тотчас побледнев, тот ответил:

— Я поймал их днем. Теперь ночь. И я их не тронул. Надо заплатить хорошо.

Он взял их днем в горящей деревне, среди сутолоки набега, когда трещали двери, пылало дерево, вопили люди. Он их застал, спрятавшихся в малиннике. Они онемели от ужаса, когда он, разгоряченный, выскакал на беспующейся лошади. Он схватил их за косы, намотал косы на руку и поволок к дороге. Но каково было ему! Бедняк, он не имел жен, он с отвращением поддавался похоти на стоянках, когда воины жались к воинам. Если б попа-

лась одна, он бы теперь уже знал свое дело. Но другая могла уйти, пока он возился бы с первой. Упустить одну ради соблазнов другой? Но две девушки стоят дорого — это большая добыча. Одна же женщина стоит совсем мало. В этом набеге он оказался богаче всех. Он вел пленниц и терзался. И никак не мог решиться. В нем боролись страсть и корысть. Особенно тяжело стало к вечеру, пока не пришла наконец усталость. Они долго брели, пока добрались до войска. Теперь ему дадут цену и отберут добычу. Воин подавил в себе ревность к Каверге, чтобы скорей получить цену.

Но приподнялся Бегич:

— Кто послал тебя жечь деревню?

— Я сам десятник.

— Возьми мою цену, чтоб не забывать, что меня зовут Бегичем.

И тотчас плеть Бегича сверкнула по лицу всадника, кровь хлынула пеной изо рта. И не успел еще воин ухватиться за лошадь, как его сволокли с седла и увели.

А девушки стояли по-прежнему прямо, ошалелые от всего, с глазами — мутными и неподвижными.

Бегич велел отвести их. Они не принадлежали больше никому. Сотник отвел пленниц к женским юртам, заказав беречь пуще глаза:

— Бегичевы!

Хази-бей переглянулся с друзьями:

— Там, где всякий видит доблесть, следует награждать, а не бить.

— Я приказал не зажигать костров. Их зажгли. Я приказал идти в тишине. Они спалили деревню и пустили впереди нас жителей с вестью о месте, где мы находимся. Мертвая пустыня кончилась. Начались жилища. Мы подошли к местам, где надо идти молча.

— Тысячу ворон отгонит и один комок глины! — ответил Хази-бей и посмотрел на друзей: хорошо ли сказал? Он бы не унизился говорить пословицами, но низменной башке Бегича они понятнее высокого разговора.

Бегич понял их перегляд и, сплюнув от гнева, крикнул:

— Если ворона, кидаясь на льва, знает, где у него когти, она выклюет льву глаза. Но если лев, идя на ворону, считает ее за щенка, он ее упустит. Поняли? Спрашиваю: поняли? Приказываю: собираться сейчас же, поднимать воинов. Как только забрезжит свет, пойдем впе-

ред, к головным отрядам. Обозы оставить позади. Нам ждать их некогда. Мы подошли!

Он вскочил, нечаянно наступив на блюдо, и баранина вывалилась на ковер, забрызгав жиром халат Хази-бея.

Бегич ушел.

Хази-бей гневно сказал:

— Дикарь! Дикий осел!

— Поговорим, когда вернемся в Орду. Мне надоело это деревянное седло, на нем стало твердо ездить, — ответил Карагалук.

Теперь Бегич шел по поднимающемуся лагерю. Никто не мог понять внезапной тревоги: ниоткуда не слышалось ни криков, ни толчеи.

Бегич всегда давал хороший отдых и людям, и лошадям. Теперь отдохнули плохо. Бегич тоже был недоволен собой: он любил вести сытых и выспавшихся.

Ждали рассвета, чтобы разобрать оружие из телег.

Рассвет начался туманом, и невозможно было видеть ничего даже возле себя.

Бегичу подвели тонконогого пегого коня, и раб торопливо отер конскую грудь полой халата.

— Надо вытирать коня заранее, — сказал Бегич и смолк: больше не хотелось ничего говорить.

Наступал рассвет.

Двенадцатая глава

МОНАСТЫРЬ



Внутри кельи устоялся густой и золотистый, как мед, воздух. Из стен сочилась смола, сквозь узкое окно брезжил неяркий свет. Перед образом Умиления горела свеча.

Пока Дмитрий был в походе, Сергий оставался в Москве. Он жил в маленькой келье, в Симоновом.

Утром ему принесли Псалтырь, переписанную для Троицы. Сергий внимательно рассматривал еще не сплетенные листы книги. Писана она была во весь лист по бумаге, а не по пергаменту, как прежде. Впервые Сергий держал в руках эти дивные, мягкие и плотные листы и всматривался в невиданный прежде почерк — писали эту Псалтырь полууставом, легким, быстрым, словно и книге пришло время ускорять свою речь.

Но заглавные буквы в ней выведены были тщательно, алой киноварью с разводами.

Сергий сам понес прочитанные листы к переписчику.

Прислонясь к стене, молодой монах облокотился о поднятое колено и, положив лист на левую ладонь, писал.

Он отложил рукописание и встал. Сергий попросил писать при нем, и монах снова пристроился, четко отделяя букву от буквы, оставляя широкие берега по краям листа. Как же медленно и трудно рождалась книга!

Сергий посмотрел и других писцов. Иные писали на пергаментах. И эти книги писались не в полный лист, а в четверть и даже в восьмушку.

Писали «Апостола», «Триодь», «Александрию», «Хронограф». Предания древней Эллады, и греческая песня, и византийский канон вновь оживали в твердых строках славянского письма.

Дорого стоила каждая завершенная книга. Медленно писалась: две-три страницы в день. Постом, покаянием, исповедью очищали себя писцы, прежде чем приступить к написанию книги.

Сергий читал «Александрию» через плечо писца:

«Тот свое волхование творя, не дадяше жене родити. Пакы же сглядав небесная течениа и мирская стихия, и видев всего мира посреди небеси суща, и светлость некую узрев, яко солнцю посреди небеси суща, и рече к Алимпиаде: «Уже пусти глас к рождению своему».

«Чтó знает он о муках рожениц, о сроках родов, а вот пишет же о том! — подумал о писце Сергий. И задумался: — А что знаю я? Бьются и умирают сейчас воины русские, и жены их в муках рождают на свет. Так держится мир. Мы же, отрекшиеся от своего тела, благословляем павших».

Он неохотно оторвался от созерцания кропотливого прилежного труда и пошел к себе, когда сказали, что митрополит Митяй приехал к нему.

«Не потрудился пешой прийти. На колеснице пожаловал», — осудил Сергий, но покорно пошел на зов властителя Всероссийской церкви.

Книжник, красавец, жизнелюбец, Митяй лишь после настойчивых уговоров Дмитрия принял постриг.

— Князем князей станешь! —убеждал его Дмитрий.— Москва собирает Русь. Бог помогает нам. Митрополит должен стать оружием божиим. Ты же уклоняешься сего!

— Княже мой, господине мой, жаль мне мира со всеми скорбями его, со всеми радостями! — каялся Митяй.

— Михайло! Вникни: придет митрополит-грек, поревнует о себе, а о Руси забудет. Ты же сам коломнянин, свой, Русь любишь, учен, мудр. Отрекись от мира — и дам тебе власть! — настаивал Дмитрий.

Митяй уступил. Утром после обедни принял постриг, а к вечеру поставлен был в Спасский монастырь архимандритом. Неслыханно сие: постом, праведной жизнью, смирением должно возвышаться монаху над монахами. Тут же волей мирского князя встал над праведниками полумирской человек.

Ропот пошел между монахами. И Митяй заподозрил тут козни Сергия. Но Дмитрий не устрашился, позвал Митяя в свои печатники — ведать ключами от бумаг и от великокняжеских печатей, вести все Дмитриевы письменные дела. А потом, по воле Дмитрия, Всероссийский православный собор поставил Митяя митрополитом, без благословения вселенского патриарха из Царьграда. Вселенский же патриарх поставил митрополитом Киприана. И Митяй узнал, что Киприан уже в Любутске, на пути в Москву.

Сергий подошел к Митяю под благословение, и Митяй растерялся. Благословляющая его рука дрожала: сам преподобный Сергий признал его владыкой русской церкви, если первый склонился под Митяево благословение.

Под пристальным взглядом Сергия митрополит оробел.

— Каюсь, отче! Томлюсь! Сменил скорбную мирскую юдоль на ангельский чин. Не по своему корыстолюбию.— И тотчас встретился с глазами Сергия. — И по своему корыстолюбию, грешен бо есть! Тоскую, мятусь, ищу тишины. Благослови мя!

И Сергий вдруг увидел жалкого, растерявшегося, измученного бессонницей человека.

— Бог тебя благословит, отче святителе. Не мне бо, грешному, судить печаль твою.

Как жаждал Митяй от Сергия тихого, ласкового слова, и сразу утихла боль, едва слабая рука Сергия взметнулась и прочертила в воздухе крестный знак.

И Сергий мирно проводил его до ворот. И это видели все, и молва о их встрече пошла по Руси, переплетаясь с вестью о татарском побоище.

После вечерни в тесную келью вошел Бренко. И Сергий вдруг почувствовал, что в келье стало просторно, — он любил словоохотливого и широкого Бренка.

Бренко достал из рукава скрученный трубочкой лоскут кожи:

— Письмо тебе, отче Сергие, от святителя из Любутска.

Сергий взглянул строго:

— Митяй есть святитель. На единую Русь единого святителя вдосталь.

Бренко развел руками:

— Не я так мню, а патриарх в Цареграде.

По тому, как чуть вздрогнула и скосилась борода Сергия, Бренко понял, что Сергий улыбнулся.

Сергий протянул руку к письму.

Бренко на минуту задержал послание.

— Письмо сие гонец вез тебе в Троицу.

Сергий уже явно улыбнулся: привез то гонец к Бренку, а не к Троице. И вспомнил:

— А что ж о гонце сведал, которого ко мне государь слал?

— А нету гонца.

— А коли нет, выслушай притчу.

— Письмо то чти, отче.

— А о чем оно?

Сергий будто невзначай взглянул на Бренка и потом посмотрел прямо в глаза боярину:

— Прочти вслух, Михайло Ондреич, ты его разберешь скорей моего.

Кровь ударила в лицо Бренка: «Провидец!»

Но смолчал. Бренку казалось, что лишь ему дан дар угадывать затаенные мысли и дела людей. За это самое Дмитрий и понял и оценил его. И если кто из людей догадывался о его тайных деяниях, то сие казалось ему непостижимым.

Недовольный, он притворился, что разбирает почерк с трудом. Но слова сами вырывались, прежде чем глаза добегали до конца строк. Киприан писал Сергию:

«Мню: не утаилось от вас все, что сотворилось надо мною. Подобного ни над одним святителем не сотворилось, с тех пор как Русская земля есть.

Меня, волею божиею и благословением вселенского патриарха поставленного на всю Русскую землю, встретили послы ваши.

Заставили заставы, рати сбив и воевод впереди поставив. И великое зло надо мной сдеяли; не догадались лишь смерти предать!

Приставили надо мной мучителя, проклятого Никифора, и нет зла, которое он не совершил бы надо мной. Хулы и наругания, посмехание, грабление, голод. Меня в ночи заточил, нагого и голодного; от той студеной ночи посейчас дрожу.

Слуг моих отпустили на хлибивых клячах, в лычных обротьях; из города вывели ограбленных до сорочки, и до ножев, и до ноговиц. И сапогов, и киверов не оставили на них!..»

— Большой грех принял Никифор! — сказал Сергий.

— Не боится греха, — сокрушенно посочувствовал Бренко.

Они помолчали.

— А что за притча? — не утерпел Бренко.

— А такова: тому уж четвертый год пошел. Был я в Переяславле; у Дмитрия Иваныча сына крестили Юрья. Много на крестины съехалось. Надумали мы с Дмитрием на озере рыбу ловить. А чтоб не мешали нам, надели тихое платье и пошли так. Спустились к Трубежу-реке, сели в челн. Видим — стоит на берегу чернец, переправы просит. Дмитрий говорит: «Поторгуемся!» Что, — спрашиваю я чернеца, — заплатишь за перевоз? — «Я, — кричит, — полушку дам!» — Мало! — говорю. — «Две дам!» — Мало, — говорю. — «Три дам! Я к великому князю от святителя Алексея гонец!» — Ну, — отвечаю, — коли от святителя гонец, перевезу за четыре. — «Вези!» — кричит. А Дмитрий нашему торгу радуется. Поплыл я в челне, высадил Дмитрия на берег, принял чернеца и хотел везти, а он взял меня за пояс, выкинул на берег, а сам махнул веслами да и переплыл. И кричит мне с того берега: «Поищи, там в песке я пять куп серебра забыл!» Так мы с ним и поторговались! Спасибо, — кричу, — добрый человек. Как мне за тебя бога молить? — «А молись, — говорит, — за раба божья Кирилла!» Дмитрий же, видя сие и стыдясь мне смех свой выказать, скрылся. Сей-то вот озорной монах Кирилл доставил мне княжое письмо. Я его лицо добре запомнил. Но справа на нем была воинская.

— Я, отче, розыск тому Кириллу учиню.

— Да он, мню, где-либо далеко обретается.

— Со дна достану. А примет нет ли?

Сергий описал Кирилла:

— Лик — то озорной, то детский, тихий, то гневом распален, то весельем всколыхнут. И всегда как бы потревожен чем-то. — И, подумав, добавил: — Кольцо на пальце. Золотое, византийское. Камень опал. Редкостное.

— Не гриф ли на нем?

— Гриф сжимает камень когтями острыми.

— Знаю одно кольцо такое. У князя Боброка видел. С Волыни вывезено.

Когда Бренко ушел, к Сергию пришел переписчик:

— За советом, отче Сергие. Просвети: пишем ныне книги на бумаге, а она из тряпья варится. Ведь прежде чем бумагой стать, тряпье могло плотский грех покрывать, рубищем на грешнике быть, любого соблазна соучастником. Из латынских рук вышла, из нечестивых стран привезена. Достойно ли начертание божиих слов на тряпье?

— А из свиной кожи делается пергамент. Нешь свинья не во всякой нечисти живет? А священные книги сотворены из ее кожи. А мы чтим их. И разве в нечистом мерзостном теле человека не может таиться высокий дух? И не оказываются ли в червичных рубищах юродов чудотворцы и подвижники? Мерзка плоть, но слово, ею принесенное, может своим высоким глаголом и осветить ее. Так великая мысль растет из убогого человека. Так пламень теплится из грубой свечи.

Они долго еще говорили о бренном мире, о чистоте в помыслах и поступках человеческих.

А Бренко уже допытывался у князя Боброка:

— Видел я дивное кольцо у тебя, Дмитрий Михайлович. А ныне не вижу.

Боброк насторожился:

— Затерял давно.

— Затерял? А не упомнишь ли, в коем месте? От него след ведется.

Боброк передернул плечом. Бренко настаивал:

— С кровью след, Дмитрий Михайлович.

Боброк побледнел и насупился:

— О какой крови говоришь, мне невдомек. А куда след?

— К убиению гонца великокняжеского. А может, и ко многим иным грехам.

— А каков человек?

Бренко описал Кирилла со слов Сергия.

— Видал я того человека на воздвижении Тайницкой сторожни. Забыл, как звать...

— Не Кириллом ли?

— Истинно! Жив сей человек?

— Живуч.

— Охрана-то что же?

— Теперь выпытаю. Может, он и не один скрылся.

— Одного там жалею. Попытай, може, и тот убежал?

— А кого?

— Ты попытай сперва: сколько, мол, ушло.

— Нонче же выведаю.

— А каков след-то?

Бренко рассказал о посещении Кириллом Сергия:

— Письмо отдал, страхом пренебрег. От крови к провидцу пошел. Глубоко засело неверие в том Кирилле. Страшен такой человек!

— Не подметнул, в руки отдал письмо? Такой человек возле войск ныне. В лесу не станет таиться.

— Тако мыслишь?

— Иначе не чаю. Между Москвой и Рязанью. Там ему быть!

Бренко послал за Гришей Капустиным.

— С весны тебя не тревожил. Послужи, Гриша. Живым достань. Надо спытать: как живым от стражи ушел? Как на великого князя гонца руку поднял? Какие злодейства ныне творит?

— Спытаю, Михайло Ондреич. У меня рука твердая.

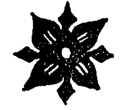
— Зорок будь. Не в Рязань ли кинулся, не в Литву ль? Такой народ в Смоленск либо в Белев бежит. А этот смел. Может, где поблизости ходит.

— Сведаю.

И Бренко до дому дойти не успел, а уж Гришины дружки седлали коней, поспешали по Коломенской дороге к Оке приметного Кирилла искать.

Тринадцатая глава

КОЛОМНА



Нутро города—торг. Все сословия, все ремесла, всякий городской житель идет сюда. Здесь начинаются похороны и свадьбы — отсюда несут на пиры и тризны припасы. Здесь начинаются войны, ибо на площади глашатай читает приказы и вызовы. Здесь

и мудрец, и убогий юрод, и краснобай, и косноязычец откликаются на весть, на слух, на все, что происходит в стране, на всякий отзвук дальних и близких дел.

Тревогой, страхом встретила коломенская площадь день одиннадцатого августа тысяча триста семьдесят восьмого года, в лето от сотворения мира шесть тысяч восемьсот восемьдесят шестое.

С устья тянуло туманом и сыростью. В тумане примолкла бессонная Коломна. Лавки и лари пустовали. Купцы неохотно заходили в них. Всякий предпочитал быть в толпе, слушать, говорить — когда мысль свою выскажешь, будто и в самом деле все повернул по слову своему, будто иначе и не может быть.

Только церкви стояли распахнутые настежь. В их темной глубине пылали свечи, и ладан плыл, и молитвы гудели, словно тысячи пчелиных роев. О ниспослании победы возглашал клир, о сохранении жизни отроков божиих и рабов божиих взывали матери и жены коломянки.

Далеки ордынские поля, и леса заволокло туманом, а дорога тянется до самой Орды. Идут навстречу друг другу воинства. Где суждена им встреча, где суждена им смертная брань?

Не было побед над татарами. Никогда. А много было смертей, пожарищ, бедствий. Оттуда полтораста лет назад проходил по этой дороге Батый. И Дюденя проходил. И оставалась Коломна в чаду, во прахе; не город, а кострище. Многолетний труд, тяжелое счастье жизни, любимые люди и, паче того, любимая Русь обращались во прах под поганой пятой басурманина. Под тяжелой его пятой поныне, как пленная девушка, тоскует Русь. Двигаются на Коломну ордынские всадники, а ведет их Бегич. И нехороший слух ползет о Бегиче — силен, хитер, опытен, беспощаден. Князь, а спит на голой земле, седло подсунув под голову. На подкуп не льстится, к ласковому уговору глух. Нет от Бегича ни пощады, ни жалости. И на глазу у Бегича бельмо, дурной знак. Нерадостны слухи. И только утешительно и мирно звучат молитвы в церквах: душу успокаивают их мгла и запах ладана, привычный с младенческих лет.

Войска прошли. Долго смотрели их. И князя смотрели.

Свой князь. Коломну любит. Венчался в Коломне у Воскресенья. Укрепляет город. Коломян жалует, не то что ружан в Рузе либо можаян в Можае. Много оружия. Бо-

гато снаряжение на дружине. И сам ехал в шеломе, в боевой справе, воином. Не любит княжеской шапки на голове, с детства — воин.

Войска прошли. Проволоклись вслед обозы. И сторожевые полки прошли. И купцы, и попы, и челядь прошли. И вслед за ними много ушло коломян: купцы свою корысть блюсти; местные — за вестями.

Подолгу ждут на Оке перевоза. На Рязанской дороге и пешие и конные. Кони в Коломне вздорожали — всякий норовит заблаговременно сложить скарб в телеги. У кого нет — в сани. Проволокутся и сани при такой беде. Смотрит Коломна за Оку, в туман. Там далеко за лесами стелются татарские степи, целятся татарские луки. Чего ждать, к чему готовиться?

— Хорошо прошло воинство, да како назад придет?

— Ведь не Литва липучая, не Рязань кособрюхая, не Мордва мордастая, а непобедимая конница Великой Орды движется на Русь!

Бабы, подвывая от ужаса, сладостно вслушивались в слова мужиков.

Люди стояли на башнях, и на звонницах, и верхо́м на верхах теремов. И все взоры были обращены за Оку. Но ничего никто не видел: стоял туман.

Кирилл шел, смутно распознавая улицы. По галдежу угадал площадь. Вошел в толчею и вник в ее говор. Он увидел спокойные глаза стригача, стоявшего в стороне возле пня. Кирилл обернулся к нему, быстро решился:

— Ну-ка, волосы обкороти да бороду справь.

Стригач подивился:

— Нонче народ не о том думает.

— А чего ж ты тут делаешь?

— Чево? Мое ремесло блюду. Иде ж мне быть, коли тут моя стригольня?

— А коли так, нечего зубами ляскать.

Стригач покосился на широкие Кирилловы плечи, на кинжал у ремня и заспешил:

— Сядь на́ пень.

— Сел. Ты новгородец, что ль?

— Я-то? По чем спознал?

— Говор слышу.

— Бывал ли у господина Новгорода?

— Стриги, стриги.

Мастер туго обвязал тесьмой Кириллову голову, а узе-

лок дал в зубах держать. По линии тесьмы срезал волосы. Вышло ровно и складно.

Молодая баба, бездельная, как и все в эти дни, остановилась поглазеть:

— Чего ж надумал — в такую страсть лепоту наводить!

— Тебе, видать, невдомек, зачем борода из человека растет.

— А зачем?

— Баб под мышками щекотать.

— Ой, срамной какой!

А не уходила, присматриваясь к его лицу.

— Аль во сне меня видела?

— Запамятовала.

— Увидала б, запомнила.

— Вот пристал!

А все смотрела карими тихими глазами.

— Была б ты моей бабой, каждый бы день тебя бил!

— А с чего?

— Чтоб на чужих мужиков не заглядывалась.

Вдруг слезы выкатились на ее лицо, рот приоткрылся; она сжала в руках свою голову и села на землю:

Ой, не могу я слез удержати,
Самоскатные росинки утирати:
Увели тебя, удалую головушку,
В чужую во дальнюю сторонушку.
С молодой женой тя разлучили,
От малых детушек тя отрешили...

Новгородец оставил работу, Кирилл наклонился к ней:

— Ну, дура!

— Как мне теперь быть, может, уж и нет его!

— А он там, что ль?

Она покачала головой, глотая слезы:

— Там.

Кирилл твердо сказал:

— Вернется!

— Ой, откуда ты знаешь?

— Слыхал.

— А то что ж мне, одной-то. Разве жизнь?

Кирилл еще раз сказал:

— Не плачь: вернется.

Она недолго подумала:

— Ну, пущай.

Кирилл сказал:

— А у меня никого нет. Некому и поплакать будет.

— Нехорошо! — осудила коломянка.

— Да ты с земли-то встань. Изваляешься!

— А кому до меня дело? Поспею, встану.

— Ну, сиди.

Ей, видно, не хотелось уходить. А Кириллу уж и не хотелось без нее оставаться: Тимоша с Топыгой сгинули, а в корчме у каждого своя тоска, на другого недостает жалости.

В этот день всем хотелось быть вместе, все поведывали друг другу свои горести. Всяк в разговор лез. Всяк разговор стал достоянием Коломны. Стричься сел, все любопытствуют, — словно один за всех голову на плаху кладет:

— Испакостил бороду!

— А кудревата была, окладиста, — сказал козлобородый шорник.

— На чужой каравай рот не разевай, — ответил Кирилл.

Этот ответ козлобородому шорнику не по сердцу пришелся.

— Все одно татары голову-то снесут, па бороду не глянут.

— Какие такие татары, козел?

— А как ты меня назвал? — Видно, слово Кирилла попало не в бровь, а в глаз.

Подстриженный Кирилл встал во весь рост.

— Ты, козел, уж не татарами ль подослан народ стращать? За эти слова...

Козлобородый исчез. Кто-то благодушно угадал:

— Спужался!

— Татарский хвост. Держи его! — крикнул Кирилл.

Кто-то в толпе подхватил:

— Держи!

И когда народ отвернулся, увлеченный ловлей, Кирилл подошел к бабе. Она уж горевала:

— Поймают окаянного?

— А как тебя звать-то?

— До́мной.

— Я мнил — Коломной.

— Норовишь обсмеять?

— Ты постой, не уходи.

— А на что ты мне?
— Порты зашить.
— Неохота домой идтить.
— А что?
— Пуст дом.
— А дети?
— Прибрал бог.
— Еще будут.
— А ныне-то пуст.
— Все об муже сохнешь?
— Ну его!
— А что?
— Да ну, пойдем! Зашью.

Она его повела в слободу. Сердце Кирилла заныло. Улица заросла травой, мирно вились тропинки. Гусята жадно, большими глотками рвали пушистые ростки ромашки. На такой вот улице, где-то здесь, недалеко от колодца, Анюта хоронится в ветхой хоромине. Может, и в Коломну-то лесами шел, и в лесах изловчался, только б пройти этой улочкой, глянуть на колодец и снова навеки сгинуть в лесной тьме. Домна остановилась у своей калитки.

— Нет, — сказал Кирилл, — недосуг сейчас. Другой раз.
— Чего ж вел?
— Другой раз приду.
— Подь поснедай.
— Другой раз, Домна.
— Заладил. Не пойду домой одна!
— Я тебе муж, что ли?
— А чего ж мне дома одной сидеть?

Нежная тоска сжала его дыхание. Пусть бы хоть она вот так звала и вела домой... Всю жизнь без семьи, без дома. В дорогах, в труде, в обидах рос. Рос до бороды. Одиноко, неласково. Сварливый бабий попрек Домны неожиданно приласкал его, как, может быть, ни одна ласка не смогла бы пригреть. Не попрекнула бы, если б не нужен ей был.

— Ну, покорми, что ль.

Они вошли в низкую дверь. Потолок покосился и навис.

Кирилл сел у двери за стол. Домна заспешила у печки.

— Чего ж сел? Скинь одежу-то. Ноги-то разуй.

Как сразу свободно и хорошо стало.

Она села рядом, и они похлебали варева из одной чашки.

Кирилл смотрел на ее худощавую смуглую руку, лежащую на столе, и положил на эту руку свою ладонь.

Но Домна отодвинулась:

— Ой, нет!

— А что?

— Не венчаны.

— А ты попробуй.

— Смотри, сгоню.

— А повенчаться хочешь?

— Думаешь, он не вернется?

— Не знаю.

— А ты говорил: вернется.

— Не знаю.

— Ой, пожалей меня.

Он погладил ее по голове неловкой рукой. Потом обхватил и прижал к себе. Но она отбилась.

— Сгоню! — Поправив сарафан, встала. — Ну, что чинить? Сымай.

Он вдруг поднялся.

— Не надо.

В пояс поклонился ей:

— Благодарствую, Домнушка, за хлеб-соль.

— Не взыщи.

Не сводя с него глаз, она стояла посередь избы. Он пригнулся, пролезая в дверь, и не услышал за собой ее шагов. Стоя за дверью, он обернулся и увидел ее на том же месте.

— Чего ты? — спросила она.

— Так, взглянул.

— Слышь-ка!

— Ну?

— А ежли — женишься?

— Ежли что?

— Ежли его убьют.

— Не знаю.

— Ну, ступай. Да дорогу ко мне запомни.

— А зачем?

— Ежли его убьют...

— Ладно.

Туман как будто редеть стал. На тесовых крышах густыми пятнами зеленел мох. На берегу Оки горбились

бани. По дыму, сочащемуся меж тесовин в крыше, видно было, что бани топятся.

В предбаннике было людно, трудно пробиться. Одетые и голые теснились, слушая парня, которого посылали разузнать новости.

— А на торгу, — рассказывал он, — татарина поймали. Вот истинный бог! Сам видел!

— Кто ж таков?

— А Сысой-шорник. Вот кто!

— Вот сучий сын! Кто б мог подумать? — удивился хилый голый старик, прикрывая веником срам.

Кто-то переспросил:

— Сысой? Ух и язва был!

— Татарин! — объяснил поп. — Они все злы на христиан.

— А попов татары милуют,—ответил Кирилл,—знать, за христиан не чтут!..

— Ох, я тебя за эти слова...

— А что? — спросил Кирилл, трогая рукоять кинжала.

— Да слова как слова! Что в них такого? Благослови тя бог! — ответил поп.

— Ну ин и добро, что заспешил: мне место ослобонилось! — одобрил Кирилл.

— Да он что-то забыл помыться. Только было раздеваться сел! — сказал банщик.

— Звонить побежал.

— Чего?

— О поимании супостата Сысоя благодарственный молебен служить.

— А! — догадался банщик.

Едва вошел в парню, тело запахло лесом, смолой, дегтем и ладаном, пока не домылся до нежного аромата тела.

Кирилл хлестал себя веником, и кожа зарозовела, заблагоухала березой. А парня пахла дымом и сыростью, мутная склизь текла со стен, и скамья, на которую сел, осклизла. Но он лил на себя воду, воду Оки, реки, на которой жила Анюта.

«А может, и она теперь тревожится? Куда ей идти, если и впрямь побегут из города?»

Он вышел в застланный свежей соломой предбанник, напился воды из ушата. И оделся.

Пока он мылся, прояснело. К западу текли низкие облака, и в прорывах темнела густая синева августовского неба. Но, как ни зорко вглядывались коломяне в заокские дали, дорога оставалась пустой, не было вестей от войска, словно никого и не было там, за сизыми шеломами лесов.

Это был час, когда Бегич перешел Вожу.

Четырнадцатая глава

ВОЖА

Бегич смотрел вдаль: все туман и туман! Сырой холод вставал с земли.

Орда вставала. Воины вскакивали на коней; сотня за сотней мчалась вперед по его слову. Они внезапно появлялись и тотчас исчезали в тумане, словно их поглощал воздух.

Лишь назойливое ржанье коней, крики и свист людей не смолкая катились перед ним вперед.

Бегич стоял на своих коротких ногах, непомерно широкоплечий, круглоголовый, с глазами, оттянутыми к вискам. Ноздрями, вздернутыми вверх, он вдыхал воздух чужой земли, улавливал в этой земле, в траве, в воздухе неопределенный, но чуждый, гнетущий запах: за туманом, где-то далеко или близко — впереди, пахло гарью и дымом костров.

Чуть заспанные, раскрасневшиеся от холода и сырости, прилаживая оружие или оправляя седла, всадники проходили на рысях.

«Наша конница хороша на рысях», — подумал Бегич.

— Русы сказали бы: «Добры тухтарски комони на грунах». Некого спросить, верно ли так? (Много лет силился он изучить язык русских.)

Позади воин держал Бегичева коня. Пегий конь шевелил розовыми ноздрями. Позади стояли в стременах ордынские князья-мурзы. Некоторые из них знали и персидский, и джагатайский языки. Бегич обернулся к Хази-бею:

— Русского не разумеешь, князь?

— Я общаюсь с ними не языком, а плетью.

— Давно общаешься, князь?

— Их у нас в Орде немало.

— Но это пленники, князь.

— Все они одинаковы.

— А их воинов ты видел?

Хази-бей показал на мимо идущую конницу:

— Достаточно видеть этих, чтобы не задумываться о тех.

Бегич нахмурился.

В гомоне и тумане гонцу долго не удавалось отыскать Бегича. Наконец он подскакал:

— Говорю: первый караул пытался перейти реку, но брод охраняется.

— Пробовали сбить охрану?

— Они сидят в завалах и не подпускают к берегу.

— Искали другой брод?

— Пошли искать вниз по реке.

Хази-бей спросил у гонца:

— Как называется река?

Бегич ответил:

— Вожа.

Карагалук презрительно посмотрел на Бегича:

— Можно подумать, что князь Бегич хочет служить Московскому Дмитрию: язык Руси учит, все на Руси реки помнит.

— Потому что Бегич не хочет служить Дмитрию.

— Каждый по-своему понимает долг военачальника!— вступился за Бегича мурза Кастрюк.

Гонец продолжал стоять перед ними, держа в поводу лошадь. А уже прискакал новый гонец:

— Говорю: нашли брод. Видели на той стороне русов. Мы пустили стрелы, они ушли.

Хази-бей хлопнул ладонями о колена:

— Они всегда бегут от нас! Не надо было тратить стрел: показали б им плеть, и они ушли бы.

Воин косо усмехнулся, но продолжал смотреть в глаза Бегича.

— Много было русов?

— Туман. Видно было троих.

Бегич посмотрел в сторону мурз.

Хази-бей, любимец Мамая, одевается персом, не умеет сам панциря надеть, рабы ему ремни застегивают на доспехах. Каверга не стесняется спрашивать у старых воинов, хороши ли русские полонянки. Таш-бек в войске занят только лошадьми. Карагалук — родственник Мамая, и Мамай дал Карагалуку высокую степень в коннице. Силен в плечах Кастрюк и смел в битвах. Этот может вести

за собой на врага, но как обойти врага — не догадается. Один глаз у войска — это единственный глаз Бегича.

Бегич кивнул воинам, и ему принесли доспехи. Сбросив халат, он быстро влез в панцирь, припоясал меч, вскочил в седло и принял из рук воинов остальное оружие.

— А стоит ли спешить с этим? — спросил Хази-бей.

Но Кастрюк тоже вооружился. Во всеоружии стояли вокруг Бегича старые его соратники.

Не оборачиваясь на мурз, Бегич тронул сапогами бока коня и поехал в туман. Князья последовали за ним.

Так, еле различая землю, ехали до полудня.

Днем туман стал рассеиваться, проглянуло солнце.

Татары перешли брод.

Позади, за рекой, еще оставались обозы, женщины, кочевое имущество, рабы, полонянки, скот. Но ждать их стало некогда: впереди, на горбатых холмах, стояло русское войско.

Солнце освещало русских с запада, и доспехи их сверкали, как лед.

Дмитрий смотрел с холмов на движение татар. За Дмитрием стояли отборные полки и великокняжеская дружина.

На левом крыле стоял князь Данила Пронский с конницей и пешими полками.

На правом — окольничий Тимофей Вельяминов с Полоцким князем Андреем Ольгердовичем.

Попы, сопровождавшие воинство, держались позади. Один лишь грек Палладий, черный, курчавый, блудник и корыстолюбец, находился в передовых рядах.

Бегич с удивлением увидел строгий строй русов, их спокойную неподвижность, блеск оружия.

Кастрюк с воплем вырвался вперед и понесся на Дмитрия, увлекая за собой конницу, мурз, головные отряды и старые боевые сотни. Пыль взвилась. Задние не хотели отставать и тоже, вопя, ринулись вслед первым.

Русы продолжали неподвижно ждать.

Бегич с размаху ударил лошадь камчой и завертелся на месте.

Русы стояли, ждали. Не бежали, не кричали. Этого не бывало! Конница Великой Орды привыкла сминать сопротивление, опрокидывать, топтать, преследовать и на плечах врага врываться в покоренные области. Эти же не

бежали. Это была стена, а конница не таран, чтобы бить ею стену.

Головные части сдержали лошадей. Задние смешались, наваливаясь на передних. Перешли на мелкую рысь. Пошли исподволь, вглядываясь, чего ждут русы.

Татарские переные стрелы взвились в небо. Солнечный свет померк от летящих стрел. Но первый порыв прошел, кони крутились на месте, плохо продвигаясь вперед: горячая страсть налёта переломилась.

Тогда Дмитрий блеснул мечом.

Тяжелым топотом давя мягкую землю, русские хлынули вдруг вниз с холмов, навстречу врагу.

Застоявшиеся кони рванулись, затекшие плечи подпялись, и древний воинский клич покрыл татарские гомоны.

Стремительно рухнули русские на татар.

И на много верст вокруг вздрогнула земля, и травы пригнулись, как от порыва ветра, и облака всколыхнулись в небе, и татарские лошади шарахнулись на земле.

Еще воины Кастрюка отбивались от полков Дмитрия, а уж Дмитрий Монастырев опрокинул Таш-бека. Карагалук открыл тыл перед Данилой Пронским. Всадники Хаби-бея и копейщики Каверги, откатываясь назад, бросали свои хвостатые копья; отбиваясь клинками, они бежали к реке.

Каверга принялся хлестать своих татар:

— Вперед!

Некоторые покорно оборачивались, сгибая спины, но кто-то, озлясь на удар, хлестнул саблей по круглому животу Каверги, и мурза, запрокинувшись, повалился в седле.

Татары бежали к реке.

Мчавшийся в Дмитриевой конной дружине поп Палладий обрушивал тяжелый кованый крест на головы спешенных татар.

Увидев золотую цепь на шее Карагалука и отбив крестом занесенный над собой полумесяц сабли, Палладий свободной рукой вцепился в цепь. В тот миг лошадь мурзы достигла обрыва и конь Палладия ударился о нее грудью. Перелетев через шею коня, Палладий уткнулся в грудь мурзы. Оба они выпали из седел и покатились с кручи к воде. Всплывая над водой, они продолжали бороться. Поп, не выпуская цепи, бил мурзу, а мурза, захлебываясь, не выпускал из рук бороду грека. Так оба они утонули в Воже.

Бегич кричал воинам. Испытанные воеводы грудью своей останавливали бегущих.

В это время Бегич увидел Дмитрия. Князь мчался к реке, преследуя Кастрюкову конницу. Шелом слетел с его головы, волосы растрепались, глаза сощурились.

Бегич не узнавал Дмитрия: рот, который так ласково улыбался в Орде, глаза, которые так открыто смотрели в лицо Мамаю.

Но некогда было размышлять — чья-то дерзкая рука схватила повод Бегичевой лошади. Бегич тотчас отсек эту руку.

Рядом с Бегичем вдруг встал знакомый воин. Он был стар, и шрам, как розовая ящерица, вздрагивал на его свинцовой скуле. Бегич сплюнул через плечо, но воин схватил руки Бегича вместе с саблей, запрокинул их ему за спину и так повел его прочь от битвы, как птицу, которую держат за оба крыла.

Выбравшись, Ак-Бугай отпустил Бегича.

— Я хочу, князь, посмотреть, не рано ли ты выгнал меня из воинов.

— Как ты смеешь, раб!

— Берегись!

Бегич кинулся на него. Ак-Бугай отмахнул удар. Бегич повернул лошадь и снова кинулся, и Ак-Бугай снова отмахнул удар. Когда же Бегич кинулся в третий раз, резкий свист клинка блеснул у самых его глаз, и от уха до уха сталь пересекла череп. И тогда рука его, сжавшись в кулак, дернула узду с такой силой, что лошадь, встав на дыбы, выкинула из седла безголового мурзу Бегича.

Свалка сгрудилась на берегу Вожи.

Кастрюк, достигнув берега, круто обернул лошадь и один против обступивших его русов принялся прокладывать себе путь, сечь руки, плечи, головы, ногами понуждая лошадь наступать на русских коней. Так отбивался и пробивался он. Но выхваченное кем-то из татарских рук хвостатое копье ударило в грудь и повергло Кастрюка на землю. Здесь он задохнулся под копытами мчащихся лошадей.

Бросая оружие, татары кинулись вплавь. Тяжелые панцири тянули книзу; непривычно было степным всадникам нырять в реке. Тысячи, тысячи татарских всадников ввалились в черные пучины Вожи. Тела запрудили реку. Вода, ворча, начала прибывать.

Стало смеркаться, а татары еще отбивались на берегу и тонули в Воже.

Смерклось. А люди еще бились во тьме, еще кипела вода.

Встала ночь. И когда уже глаз перестал отличать мурзамецкий шелом от русского шелома, сеча затихла. Тьма помешала преследовать татар. Русские остановились, — впереди темнела даль, куда скрылся враг; позади — Русь. А между Русью и воинством — поле битвы.

Всю ночь над полем метались оклики, стоны и вой. Скликали живых и тех, которые больше не откликнутся.

Ревели трубы, скликая разбредшихся. Раскладывали костры. Дозоры рысью уходили вслед за врагом.

К Дмитриеву костру приволокли мертвого Монастырева. Худощавый и бледный, он изменился мало, но приоткрытый рот словно звал за собой. И Дмитрию стало страшно, он перекрестился:

— Упокой, господи, душу убиенного болярина... Дмитрия. Ой, будто о себе самом!

Дмитрий снова перекрестился:

— Упаси, господи!

Звали воеводу Кусакова. Кричали во тьму, обернувшись в русскую сторону.

— Назар Данилыч!

Но только поле разносило:

— Ы... ы... ч...

И каждый кого-нибудь кликал из тьмы: отец — сына, сын — отца, друг — друга, брат — брата. И нельзя было понять, откликаются ли позванные, либо души усопших вопят о покинутых телах, Русь ли из-за той стороны поля сокрушается о павших своих детях.

Лохматый и уже седой воин, скинув шелом, вышел вместе с другими от костров к краю ночи и упал, выкликая свою отрубленную в битве руку.

— Ой шуйца! Шуйца моя, игде ты? Игде ты лежишь, родимая? Много тобой попахано, поскорожено. Игде ж ты нунь? Ой шуйца, шуйца моя! Лучше бы ми костьми лечь, неже без тебя быть! Что я теперь? Ой, и не воин я, и не пахарь я...

Он уткнулся лицом в траву, и никто не подошел к нему: каждого долила своя печаль, каждый кричал во тьму. А многие уходили туда, рыскали между битыми и недобитыми.

Блуждали и меркли огни.

Попы разбрелись, напутствуя умирающих, торопясь отпустить грехи:

— Всякий грех прощается ти, сыне мой, ежели жизнь свою положил за родину свою. Ныне и присно и во веки веков.

У некоторых, лежавших в поле, еще хватало силы промолвить в ответ:

— Аминь.

А многие спали, утомленные битвой, безмятежно пораскинувшись на траве. Другие примеряли оружие, охаживали и осматривали коней. Кони злились, шарахались от своих, бились, рвали ремни, гремели цепями. Может быть, чуяли мертвечину вблизи или зверей, собравшихся к мертвечине.

Поутру, едва засветлело на восходе, Дмитрий поднял войска.

Отставшим страшно было переходить через темную реку: ноги коней спотыкались о мертвые тела, оба берега чернели от трупов. Кони храпели, сердца замирали у людей, узнавая дружков в иных из распростертых тел.

Войска изготовились. Но и теперь, на заре, невозможно было преследовать татар: над землей, как и в прошлое утро, густо висел туман. Впереди ничего не было видно.

Может быть, татары собрались и готовят новый удар? Может быть, они на расстоянии полета стрелы? Может быть, протянутая рука упрется в них?

Томительно ждали. Но это не было вчерашнее ожидание, когда враг шел на виду, когда его подпускали, дрожа от ярости. Теперь ждали тоскливо. Тогда знали, что будет бой, теперь были в предчувствии боя.

Заставы не возвращались. Первая стража давно уже ушла в туман, и не было от нее вестей. Ушла и вторая стража, а вестей не было. Отъезжали, будто в пасть Идолищу.

Солнце поднялось уже на полудень, когда мгла начала помалу рассеиваться. Тогда же вернулась и первая стража. А вслед ей и вторая. Обшарив вокруг, стражники не нашли никаких признаков Орды.

Дмитрий в прежнем порядке, идя в голове, а Пронского и Тимофея Вельяминова держа позади на крыльях, осторожно тронулся вперед. Он ждал засады, обхода, коварных козней Орды.

Туман редел; врага нигде не было.

Конница перешла на рысь. Пешие побежали. Надо было догнать, добить врага!

Но леса безмолвствовали. Просторное Рясское поле раскрылось впереди. Оно было загромождено покинутыми обозами.

Выпряженные телеги, опрокинутые шатры, добро и товары, наваленные на телегах и разбросанные по земле, кибитки и юрты, разбредшийся скот, оружие, кинутое в траве, толпы рабов, укрывшихся за телегами, женщины, с воплями побежавшие прочь. Все богатство непобедимого ордынского войска, опрокинутое и бесчисленное, оставили хозяева, чтобы облегчить прыть своих лошадей, чтобы быстрей уйти от страшного места.

Конные отряды, пренебрегая добычей, кинулись вдогон за врагом. Другие кинулись к пленным, к телегам, к скоту. Иные поволокли визжавших татарок — попытать ордынской любви. Ковры и золото из амирских шатров, рабы из-за телег, крики и оклики отовсюду.

Лишь один татарский воин оказался среди захваченных женщин и рабов. Хватаясь за руки и за онучи победителей, он умолял, чтобы прежде смерти его провели к воеводе.

— Мы взяли сотни вас. Не хватит у князя ушей внять каждому, — отвечали воины.

Его легко б убили в бою, но убивать без боя никому не хотелось. И хотя был он вражеским воином, теперь, когда стоял, дергая старым шрамом на скуле, седобородый, к нему относились, как к старику, — участливо и благодушно. Некоторые пробовали говорить ему татарские слова. И радовались и хохотали, когда он понимал их.

Наконец порешили спросить о нем у Пронского.

Князь Данила, еще разгоряченный удачей, широкогрудый, широкобородый, розоволицый, развалился на пушистом ковре и приказал привести пленника.

— Кто ты такой?

— Был десятником Бегича.

— Как зовут?

— Ак-Бугай.

— О таком не слышал.

— Разве можно знать всех в Орде?

— Не сомневайся: знаем!

— О!

— Чего ж ты хочешь?

— Если бы я ушел в Орду, меня там убили бы. Я привык убивать. Но убитым быть мне непривычно.

— Чего же ты хочешь?

— Быть в русском войске.

— Почему ж ты боишься своих?

— Могли меня видеть в битве. Я убил Бегича.

— Что ты бормочешь?

Один из воинов подтвердил:

— Истинно речет, княже: слух был, убили Бегичку. Наши дружинники их бой видали.

Пронский сказал Бугаю:

— Ну-ка подь до поры в мой стан.

Пронский забыл об отдыхе. Вскочил в седло и кинулся к Дмитрию.

Дмитрий прохаживался в поле с Андреем Полоцким, сбивая плетью сухие головки цветов.

— Слыхал ли, Дмитрий Иванович? Сказывают, Бегич-то убит!

Дмитрий ответил спокойно, будто и не могло быть иначе:

— А чего ж ради мы бились, коли дивишься сему?

— А истинно ль?

— Уж у меня в седле и сабля его.

— У меня один татарин кается: сам, говорит, убил.

— Да, как в Коломне дед пел: стали мы бить татар татарами! Досадно сие; я б оставил Бегича: пойдем, мол, мурза, поглядеть Золотую Орду на зеленом ковыле, на русском поле.

Пронский задумался:

— То ему б горше смерти.

А среди телег находились две женщины, которые не отворачивали лица; они радостно смотрели в глаза победителей.

— Батюшки! Откеда ж вы?

— А вы откедова?

— Из Курчавы-села.

— А и где ж оно?

— На небе! Татары на дым его спустили понеча ночью. Нас волокли-волокли. За день ко второму хозяину попались.

— И целы?

— Целехоньки! Упаси бог!

— А чего ж вы в татарской ветоши-то?
— Да катуни нас обкатали в свои обноски.
— Ну куды ж вас деть?
— А Курчавы нашей уж нет ноне, берите с собой.
— На Москву?
— А то куда же?
— Ну, там разберем куда, курчавушки.
— Ой, кмет, не блазнись!
— А што?
— От татар упаслись ради тебя, что ли ча?

Окольничий Тимофей из погони воротился едва к ночи, настигнув лишь малое число раненых и пеших,—остальные сгинули. И лишь следы по земле да поразбросанные в бегстве пожитки показывали их путь.

Дмитрий улыбнулся Полоцкому:

— Вот как оно вышло, Андрей Ольгердыч.

— Готовясь, рассчитывали на худшее. Это говорил мой дед Гедимин.

— Я эти слова знал! — засмеялся Дмитрий.

— Ими ты и победил. Иначе не был бы так тверд и уверен.

— Это еще в писании: Спаса проси, а себя сам паси...

Стояли на месте битвы три дня.

Попы отпевали павших. В светлое небо поднимался ладанный дым. Укладывали раненых на телеги.

Собирали разбредшийся по лесам скот. Увязывали добычу в телеги. Рыли ямы братских могил.

Впереди войск Дмитрий отстоял отпевание. Кинул горькую горсть земли в наполненную телами могилу.

Небо было светло. Коршуны низко кружили на плавных крыльях.

Дмитрий приказал трубить поход. Трубачи подняли длинные тяжелые трубы, и это поле в последний раз услышало их долгий звериный рев.

Пятнадцатая глава
КОЛОМНА



По улице, заросшей травой, мирно вились тропинки. Синеватой плесенью оброс сруб колодца. У колодца стояли женщины. Воды не черпали, бадей возле них не было.

Кирилл шел, оглядывая плетень, частоколы, серые стены изб. Где тут ее стена, ее огород? Вслушивался: не прозвучит ли где-нибудь ее голос.

Одна из баб крикнула:

— Не с торгу ль, удалец?

— А по чем угадала удальца?

— По ухватке да по поглядке.

— Зорка́!

— Не с торгу ль?

— Оттоль.

— Что там про войну слыхать?

— Побьют татаровей.

— Ужли ж?

— А нешь нет?

— Кто же знает?

— Знаю, побьют. На торгу татарина поймали.

— Ой, господи!

— Поймали! Минула беда.

— Ну, слава те, господи! А мы все слухаем, не завопит ли кто.

— А тогда что?

— Бежать станем.

— Куда ж?

— В леса. Там не сыщут.

— А ежли...

— Загрызем! Все одно — не дадимся.

— А не все ль одно — мужик ведь!

— Сказал! Татарин-то?

— А ваши-то где?

— А на татар пошли.

Кирилл подумал: «Будто на медведя пошли али на бобра. Ох, бабы!»

— А где тут Анюта-вдовка живет? Вестно?

— А те на што?

— Да я ей давал порты стирать.

— Ой, мо́лодец, давно, видать, дал!

— А что?

— Да ей тут уж год нету.

— Чего ж так?

— Да она одного молодца на казнь подвела — засрамили.

— А что за молодец?

— К ней один расстрига сватался, а она его — назад в монастырь.

— А! — смекнул Кирилл. — А куда?

— Да не то в Рязань, не то в березань.

— А все ж таки?

— К родителям.

Сердце остановилось: умерла?

Но баба разговорилась:

— У нее отец там гдей-то, на хлебном торгу приказчиком.

— А! Ну счастливо вам жить, бабоньки!

— Да мы и так не тужим. Тебя вот жаль.

— Ну-ка?

— Пропали порты-то — в Рязань увезла!

У колодца засмеялись. А Кирилл подумал: «Истинно: душу мою отстирала от пакости».

Он снова спросил, но суровее:

— Так верно, хохотухи, что уехала?

— Ну верно, верно. Перед Ильиным днем купцы туда с обозом ехали, так и она с ними. Вот уж другой год пошел.

— А где ж ее дом-то?

— А пониже к речке. Эна, отсель видать — крыша соломляная.

Баба подняла руку, указывая туда, и Кирилл приметил: статна молодка. А может, тоже сейчас вдовкой станет. А может, и не чует, что уж стала вдóвой?

Он поклонился ей и пошел. Свернул в боковую улочку и, еле пролезая между двумя заборами, пошел к соломенному верху Анютиной избы.

За тыном под яблоней рылись в земле цыплята и прыснули прочь, когда он распахнул калитку.

Пожилая женщина строго и опасливо смотрела ему навстречу.

— Здравствуй, сестрица!

Женщина молча поклонилась. Нехорошо было сразу приступать к делу, но женщина была одна, смотрела опасливо, дни стояли тревожные, и Кирилл заспешил:

— Я об Анне думал спросить. Где она?

— А почто?

— Она постирать обещалась, так я зашел.

— Давно уж ее тут нету.

— А где ж она?

— Постирать-то и я могу. Приноси, ладно.

Он повернулся, чтоб идти, и, будто нехотя, спросил:

— А куда ж она, Анна-то, делась?

— К брату переехала. На Рязань.

— Он у нее что ж, в самом городе?

— В Затынной слободе. Огородник.

— Он что ж, не жил тут, что ли? Чтой-то я его не знаю. Как звать-то?

— Горденей.

— Не слыхал.

— Да он тут мало и жил. И Анна-то ведь рязаночка. Сюда замуж отдана. А жизни-то и не вышло.

— Как это?

— Так, милой, какая ж жизнь: полтора года с мужем прожила, мужа убили. И не рассмотрела мужика, а уж овдовела. Третий год вдова. У брата жена теперь померла, поехала за его ребятами приглядеть. В чужой семье молодой бабе разве жизнь?

Сколько годов Кирилл ничего не слышал о ней. Все, чего недоставало, выведал.

— А ты-то, сестрица, чего тут?

— А нас она на постой пустила. Деревню нашу сожгли. Муж — старик. Я у него третья жена. Он на плоту. Игнатий Вожжа. Нешь не знаешь?

— Как не знать!

— Ну то-то!

— Ну прости, сестрица.

— Так приноси, постираю.

— Принесу.

Он вышел. Стало так просторно вдруг. Шел и думал: куда ж идти? Только теперь понял, что для нее сюда шел, что без нее тут нечего делать.

День клонился к закату. Позолоченный маковец на Воскресении загорелся красным огнем. Но с Устья опять потянуло сырою мглой.

В корчме было людно. Всюду было людно — в банях, в церквах, в корчмах.

Он сел у самой двери. Корчмарь подошел услужливо и льстиво:

— Али горлушко пересохло?

— Нет. Дай сперва так посидеть.

— А то нонче бараиинка вельми хороша.

— Ну, не обидь!

— Да уж пойду поищу. С хреном будешь?
— А ты уговорлив!
— Дело такое.
— Ну, к хрену и медку поднеси.
— Да без питья какое ж угощенье.

Кирилл смотрел, как не спеша наплывает вечер.

Старик в высоком кругловерхом страническом колпаке, с берестяной кошелкой за плечами вошел, постукивая палкой, как слепец, но зорко оглядел застольников. Он примостился невдалеке от Кирилла. Сидя так среди говоров и хмельных возгласов, старик отдышался и негромко предложил:

— А может, побывальщину спеть?

И словно волна тишины захлестнула всех. И голос певца, сначала, у запева, нетвердый, прояснялся, светлел, разрастался. Размеренно и спокойно, как река, текла песня, как длинная дорога вела.

Дороги тянутся далеко... Ушла Анюта, унесла свой стыд. Застыдили бабу. Застыдили за предательство милого. А был ли он ей мил? Да и она только теперь стала ему так мила, что сердце ссохлось...

А ведь хаживала среди этих стен, голосила по покойнику-мужу, сокрушалась о Кирилле, когда схватили. Стены стоят, на которые ее тень ложилась. А ее уж нет. И след ее в пыли потерялся, и голос ее здесь отзвучал. И какова она, пожалуй, сразу не вспомнишь. Запомнилось только, что из-под повойника на висках у нее всегда выбивались золотистые колоски волос и скулы были покрыты коричневыми волосками. А в углах рта — глубокие и влажные ямки. И вдруг вся она встала под мерную песню странника. Ее взгляд из-под густых бровей: темный, пристальный, молчаливый взор. Широкий подбородок и широкая шея. И прямые, не по-бабьи крутые плечи. И высокие, будто девичьи, груди под расшитой холстиной. А старик пел, как Алеша Попович уговаривается с Батыгой:

Ну уж ты, Батыга, поганый пес,
Не замай ты города Киева,
Не мути ты матушку Непрь-реку,
А спусти татар в красен Киев-град.
Пусть казнят бояр, пущай вешают,
Пусть купцов-жильцов потрясут слегка.
Ворошите у них злато-серебро,
Вы берите у них добрых коней,
Порушьте терема златоверхие.



И пока ехали татары в Киев, пока рушили терема, и городовые стены, и соборы, пока возвращались с несметной добычей из разоренного края — стемнело.

Светлые космы певца тихо покачивались в лад песне. Он пел строго, но спокойно, все это было давно, иначе и не могло случиться. Но Алеша увидел, что не сдержал Батыга зарока: пожег всю страну, погубил Киев и замутил русской кровью Непрядь-реку. Старческий голос вдруг возрос и наполнился неожиданной силой; сердца слушателей дрогнули, словно вся песня складывалась сейчас и надо каждому кинуться на неверного пса Батыгу, схватить обманщика за ноги и, как топором в лесу, прочищать себе улицу сквозь войска татарские, доколе Батыга не взмолится:

Укроти ты свое ретиво сердце,
Опусти-ка свои руки белые,
Оставь ты мне хоть на приплод татар,
Оставь мне поганых хоть на семена.

И кто-то вздохнул из глубины корчмы:

— Хорошо б с корнем, чтоб и на семена не осталось!

А корчмарь между тем раздул бересту на угольке и затеплил светец. Кирилл увидел, что ковш его давно выпит, да и баранина съедена и, видно, мешал чего-нибудь хозяин к меду для крепости — в голове ныло и ломило в висках.

Певец взял из рук хозяина чашку и ломоть хлеба и пошел к двери. Кирилл следил за ним.

Старик сел на порог и в теплой мгле сумерек покрошил хлеб в похлебку. Когда ломти напитались, он костлявыми черными пальцами доставал их из чашки и не спеша ел, а жижу допил через край. Кирилл наклонился к нему:

— Отколь у тебя, дедка, сила петь?

— Изнутри, детка.

— Видно, широко у тебя нутро!

— Хоть и не шире матушки-Руси, а будто с ней вровень.

— Спасибо тебе, дедушка.

— А за что ж, милый? У тебя нешь не такое же?

— А кто его знает? Недомыслил того.

— А ты домысли — горек человек, ежели всей Руси не вмещает, горше татарина.

Старик протянул обратно корчмарю свою чашку:

— Прими, добрый человек.

— А ты куда ж?

— В путь надо.

— К ночи-то?

— Слепцу и день темен. А зрячий свой путь и во тьме зрит.

— А все, думаю, боязно?

— Боязней того на бой идти. А тыщи людей пошли, убоя не убоялись. Чего ж опасаться единому да ветхому?

— Да не в бой ведь выходишь.

— В бой, сыне, в бой! Кто копьем, кто разумом, а

кто голосом свой удар несет. Пойду: может, еще где спою. А там уж и заночую.

Он ушел, постукивая посохом. Его страннический колпак уже потерялся во мгле, когда Кирилл вскочил и заспешил вслед.

— Дедка!

— Ась?

— Дозволь спросить. Ты про татар пел, про то, как русский богатырь позволил им в Киеве бояр да князя грабить? О чем тут сказ? Не разумею я.

— Запомни: Киева-града, Руси богатырь не велел касаться! Но враг разве разбирает, где правый, где виноватый! Сам хрестьянского врага хрестьянской рукой души. А врага на помогу не кличь — чужой рукой Русь не поправишь. Вот о чем тот сказ.

— А можно поправить?

— Пытлив больно!

— А думаю, было время, когда ни купцов, ни князей не было, так жили.

— Было. Народ, сказывают, тогда по лесам жил. Их не было, так жили.

— А будет когда, что никого их не будет?

Старик покачал головой, наблюдая за Кириллом:

— Так, видно, богу надобно, чтоб были.

— Нигде того не писано — про русских князей.

— Не писано? — улыбнулся старик. — А попы ж говорят!

— Читал, как убивали князей. Брутий убил кесаря. Многих римских кесарей убивали. А может, то и у русских было, но нигде о том не записано!

— А ты, вижу, книгочей!

— Дмитрий коли победит, высоко занесется. Из наших костей башни ставить надумает!

— Дмитрия не станет — Василий станет, что у него растет. А доколе князья башни городят, не жди пощады нашим костям! Может, народ поймет, что силен князь народом. А коли народ своей силы князю не даст, где ее взять князю?

— Так как же ж быть, дедко?

— Надо народу свою силу познать. А на то надобно время. На досуге с князем спорь, а коли враг у ворот, держись за князя. Но время свое знай да ступай в корчму обратно. Корчмарю-то небось не заплатил?

— Ну прощай, дедка.

— Иди, иди.

Кирилл в корчму не вернулся. Он шел в тумане, раздумывая:

«Бабы да я — только мы не несем в эти дни страды. Гоже ли таиться у корчмарева светца при моей могуте, при моих силах?»

Он вспомнил, как тосковал в Царьграде по родине...

«Душно без родины. А ежели теперь побьют, пуще насядут на нас татары».

С площади донесся гул голосов, и Кирилл остановился. Неожиданно в темноте заблаговестили. Что означал неурочный этот звон?

Он заспешил к собору.

Навстречу ему вырвался из тьмы, проскакал и сгинул во тьме всадник. И еще несколько всадников промчалось вслед.

— Гонец!

Кирилл кинулся бежать к народу. В церквах звонили. Попы служили молебны о ниспослании победы. Меняя коня, гонец успел сказать всем, что битва началась. Город наполнился криками:

— Бьются!

— Где же?

— Верст за семьдесят.

— А как?

— Послали только сказать, что встретились.

Заголосили, запричитали бабы. Со всех сторон потек их разноголосый протяжный вой.

А гонец, охраняемый стражей, уже мчался с вестью где-то во тьме, лесными просеками, к Москве, и звери кидались прочь от неистовой быстроты коней.

Всю ночь принимались звонить. Церкви не пустели. Каждый спешил от себя поставить свечу, заказать молебен.

К утру в Коломне сменился второй гонец.

— Наши берут!

— Ой, правда ли?

— Господи! Слава тебе!

— Возьмут, не сумлевайтесь. Поганцы побегли.

— Батюшки! А наших коломенских никого не видал?

— Где ж там видать!

— А Мишу Кувердю не знаешь?

— Не слыхал.
— И Прошу не знаешь?
— Да нет. Я суждальский.
— Так бьют, значит?
— Бьют окаянных.
— Ну сохрани тебя господи!

Днем уже знали: войска кинулись преследовать бегущих татар.

С деревьев летели листья. Повсюду звонили колокола, всюду гудели веселые говоры и переклички; казалось, что это весенний пасхальный день, полный торжественного звона, досуга и радости.

Еще войска Дмитрия не ушли с Вожи, а в Коломну уже начали прибывать очевидцы боя. Их встречали нарасхват, и в их рассказах правда мешалась с мечтой, благо верили всякому слову.

— Побито татар, братия, тьма. Потоплено да потоптано тьма. Несть числа. И всех князей татарских побили. Теперь иссякнет Орда!

Мчались гонцы. Наспех меняли коней, спешили к Москве. Между воинами шел спор:

— Ты слазь. Мне скакать на Москву, я уж отдохнул.
— А я и сам не притомился.
— Семьдесят верст-то проскакавши?
— Сам поскачу, слыхал? Коня!

И гонец пропадал, оставляя позади лишь затихающий топот.

Кирилл смотрел им вслед. Москва за лесами.

Шестнадцатая глава

ОЛЕГ



Великий князь Рязанский Олег Иванович узнал о битве на Воже двенадцатого августа. Еще воины Дмитрия обшаривали привожские леса, а вестник уже рассказывал Олегу об избиении татар.

И весть о победе Дмитрия Олегу была горька.

Но он выслушал весть стоя, сохраняя тот же строгий и неподвижный взгляд из-под густых бровей.

Высокий, сухой, жилистый, он носил темные одежды и оттого был стройнее и строже. Он стал великим князем Рязанским в том году, когда Дмитрий только родил-

ся. Желтоватое лицо его казалось смуглее от седины, пробравшейся в синеватую тьму волос. Бороду подстригал, и она клином выдавалась вперед. На левой щеке сидела пунцовая родинка.

— А Дмитрий Иванович здоров?

Гонец понимал, что Олегу была бы целительна весть о ранах или о гибели Дмитрия, но не выдал своей догадки и ответил спокойно:

— Жив-здоров.

— Слава богу. А в битве сам был?

— Впереди всех.

— А много побитых?

— Москвитян мало. А татар тьма. Редко кто ушел. Именитых мурз, сказывают, побили.

— Кого ж, не слыхал?

Гонец перечислил. Олег воскликнул:

— Самые любовные Мамаю! — и пожалел, что выдал свое волнение.

Олег отпустил гонца и отошел к окну. Он стоял, облокотившись о подоконник.

Дубовый терем, сложенный из огромных вековых бревен, высился над Окой. Поверх молодых деревьев и крепостных стен в окно виднелась широкая река, и чьи-то ушкуи, подняв латаные паруса, плыли к Волге, вниз по течению. Ветер дул с севера.

«Ему и ветер друг! — думал Олег. — Небось татарские стрелы назад сносил».

Он отвернулся от окна. На бревенчатых стенах висели тяжелые ковры, привезенные из Орды и подаренные зятем — мурзой Салахмиром.

Мир изменился за один день. Пока Орда гордо стояла на востоке, Москва на западе была не столь страшна. Войны с Тверью отвлекали Дмитрия от Рязани, а если б он и обернул свой меч на Рязань, можно было бы оборониться от него союзом с Ордой. Теперь не то — Олег остался лицом к лицу перед Дмитрием. А Москва его встала из лесов превыше всех городов Руси. Обрастая городами и княжествами, поднялась как глава Руси. Страшно!

«Почему не Рязани быть главой? Славнее и древнее Москвы. Больше крови лила за Русь».

Олег любил свой народ, этот живой мягкий говор, эту просторную реку, текущую вниз, в заливных лугах. Орда пожигала, заливала кровью милые рязанские земли, родные города. Но Олег снова и снова вставал на пепелище великим князем.

«Еще есть великий князь Тверской. Но долго ли Дмитрий потерпит трех великих на одной великой Русской земле?»

Внезапная мысль обожгла Олега:

«Ударить бы на него теперь, пока не оправился от Вожи».

Но вспомнил: гонец сказал, что москвитян убито мало. И к тому же еще памятен рязанцам позор, принятый от Москвы, когда Боброк вдребезги разгромил Олега, изгнал из княжества, а в Рязань посадили княжить ненавистного Володьку Пронского. Будто Олега уж и в живых не осталось. Поддержал Салахмир, а то не выбить бы князя Пронского. Но одни татары помогли, а другие явились — город сожгли дотла, самого Олега изранили. Шестой год рубцы не заживают.

Жизнь грозна и тяжка. Если б разбили Дмитрия, возросла б сила Орды, но и Олег возрос бы.

В это время пришел Архангельского собора поп Софроний: книголюб, проныра; знает о всем прежде всех. С ним хорошо говорить — мысль с лету ловит. Но Олегу не хотелось, чтоб кто-нибудь уловил его мысли теперь.

Накланявшись сперва иконам, а потом и князю, поп кротко остановился у двери. Олег подошел к нему под благословение.

То улыбаясь, то вздыхая, Софроний всматривался, как настроен Олег.

— Слушаю, отче Софроние.

— Я о том сомневаюсь, Ольг Иванович, как нам отнестись к вестям о побоище?

— О сем епископ знает.

— Рязанцам отец — ты!

— Надо бога благодарить: нехристей повергли.

— И епископ так же речет.

— Ну еще бы!

— Вознесется ныне, мню, Дмитрий-то.

— То заслужено!

— Истинно. Сам бой вел. А звонить ли перед молебствием?

Олег нахмурил брови:

— А колокола не лопнут?

— Как скажешь, княже.

Олег вспомнил слова гонца: «А татар побито тьма». Не скоро опомнится Орда!

— Поторопись, Софроние. Благо в Москве еще не зазвонили. Зазвоним прежде Москвы, чтоб в Москве стало слышно.

И подумал: «Орде теперь не до колоколов. Некогда прислушиваться».

— Поторопись!

— Иду, иду.

Епископ сам хотел служить благодарственный молебен. Олег заспешил в храм. Он не пренебрегал княжеским обликом, как пренебрегал Дмитрий. Дмитрий с непокрытой головой показывался людям; как смерд — не брезговал холстиной. Запросто разговаривал с воинами, не блюл великого звания. Не то — Олег.

Олег оделся в полное княжеское облачение. Натянул расшитые золотом зеленые сафьяновые сапоги. Надел кожух из греческого оловира, обшитый золотыми плоскими кружевами, и обвитую золотыми кольцами великокняжескую шапку. Потом пристегнул саблю, украшенную искусной насечкой.

Пусть, мол, знают в Москве и пусть в Орде понимают, что от разгромов, пожарищ и битв не оскудевает Рязанский князь.

Княгиня Евфросиния выехала в собор прежде, обряженная в золототканый сарафан, вытканный московскими мастерами.

Олег вышел, окруженный двором — боярами, окольничими, родственниками. Ему подвели белого высокого коня, косившего на людей голубым недобрым глазом.

Олег поднялся в седло, кованное жженым золотом, и конь, дернув красной уздой, покрытый ордынской попоной, медленно пошел к собору, окруженный пешими людьми. От терема до собора было сто пятьдесят шагов.

После разгрома Рязани, случившегося шесть лет назад, Олег сложил в городе дубовые стены церкви, терема, насадил сады и деревья, расчистил пруд и пустил туда ручных лебедей. Раздобыл денег на торг. Город встал снова.

У собора Олег сошел на постланные перед ним ковры и вошел в храм. Тотчас ударили в колокола, и гул их широко потек над раздольем Оки вниз до Нижнего, поднялся вверх по Оке до Коломны. Рязане, ожидавшие на

площади княжеского приезда, ввалились следом за Олегом в собор.

Конюшие медленно отвели коня.

Олег стал перед правым клиросом, Евфросиния — перед левым. Он стоял строго и гордо, словно он, а не Дмитрий одержал победу. Каждая удача Дмитрия казалась ему оскорбительной. Олег стоял в шапке.

Епископ, поставленный в Рязань из Москвы всероссийским митрополитом Алексеем, вышел в сопровождении раззолоченного причта и священников.

Высокая митра сверкала. Посох переливал драгоценными каменьями. Прежде молебствия епископ обратился к народу:

— Братие христиане! Православный народ одержал великую победу над погаными нехристями.

Олег тоже обернулся лицом к затихшему народу. Начало ему понравилось: «Не Дмитрий победил, а народ. Понимает, что говорит в Рязани!»

Но вдруг насторожился.

— Собравшись воедино, москвитяне, суждальцы, тарусяне, коломяны встали под знаменем Московского князя Дмитрия, и бог благословил их.

Олег опустил глаза.

— Никогда не было побед над татарами, пока князья наши бились с ними разобщенно и разноголосо. Сие есть полная и первая победа над нечестивыми агарянами.

Олег вспыхнул и позеленел от ярости.

Тринадцать лет назад Олег первым кинулся вслед хану Тагаю. Догнал его под Шишовым лесом, вдребезги разбил, захватил всю добычу, пленных, а сам Тагай едва вырвался от Олега, проскочил между пальцами. Москва не желает об этом помнить. Забыла?

Олег снова стал лицом к алтарю, ему ненавистен стал епископский голос: от Москвы говорит!

Но епископ смотрел на народ и говорил народу. Голос его звучал громко и радостно:

— Закатилось солнце татар, отступило время от них. Господь же с нами!

Олег повторил шепотом:

— Отступило время от них.

А в церкви уже пели, и, едва смолкал хор, вновь гремел ненавистный московский голос.

Еле превозмогая себя, Олег подошел приложиться и отвел свой взгляд от народа, смотревшего на него. Простодушно подходили к епископу бояре Кобяковы, потомки Кобяка, половецкого хана. Набожно крестились Жулябовы, исконные рязанские бояре. Шумно следом за ними повалил народ. Все чувствовали Дмитриеву победу, как свою. Один Олег сознавал себя побежденным, не радовался разгрому татар. А как бы хотел он этого разгрома! Но от своей руки.

Молчаливый, неулыбчивый, он вышел из собора и поднялся в седло. Снова кланялся ему народ, плыли облака, как венки по реке. Курлыкая, пролетал журавлиный косяк. Шли позади Олегова коня родственники и бояре.

В эти дни мало народу оставалось в городе. Бояре и помещики разъезжались по вотчинам: поспевал урожай, близилось время собирать оброки и платежи, в деревне нужен был хозяйский глаз.

Эту осень, казалось Олегу, можно встречать легко, татары схлынули, москвитянам не до Рязани — спешат по домам татарское добро делить.

Он вошел в терем к Евфросинье. Вечерело, становилось темно, но в окне сияло розовое небо, снизу приподнятое ровной грядой лазоревых облаков.

— К ночи, видать, опять туман сядет, — сказала Евфросинья.

Он промолчал. А ей хотелось говорить.

— Дмитрий-то небось радуется.

Он промолчал. Она подумала и подошла к нему:

— Ольг Иванович!

Он поднял к ней голову. Она прижала его к себе, к своему злототканому московскому сарафану.

— Полно тебе, Ольг Иванович! Ведь и тяжелей бывало. А оно даже и хорошо, что так случилось. Чужими руками татарский жар загребем.

— Загребем, да не мы.

— А нам на что?

— Ты что ж, нищего нашего народа не видишь? Не дают стать на ноги. То один, то другой. На чем Рязани расти? Растет Москва, а Рязань отбивается. Москва торгует, а Рязань их купецкий ларь сторожит. Ежели ж врага не станет и сторож не понадобится, тогда и нас в ларь запрут. Я думаю так, что горько прежнее горе, а нонешнее — вдвое.

— А я инако мню. Надо мириться тебе с Дмитрием. Заодно идти.

Олег вскочил:

— Мне?

Евфросинья сказала настойчиво и упрямо:

— Тебе, тебе, Ольг. Тебе! Он силен. За его спиной и Рязань оправится. Надо теперь на Москву опираться.

— Этому не бывать! Посмотрим, кто за кем встанет.

— Но на кого ж ты обопрешься?

Олег смолчал. Потом превозмог себя, улыбнулся и обнял ее:

— На тебя обопрусь. Бабушка!

Сын Федор подрос, и Олегу нравилось, что он и Евфросинья еще молоды перед взрослым сыном. Он бы ее не назвал бабушкой, если б она не казалась еще молодой.

Олег вдруг сказал тихо и уверенно:

— Незачем нам опираться. Своих сил довольно есть.

— Тебе виднее.

С ней одной умел он говорить доверчиво. Ни с Титом Козельским, ни с кем из прежних друзей, ни с кем из нынешних так разговаривать он не мог.

Евфросинья насупилась:

— А ведь Володя-то Пронский тоже там. Победитель.

Он пожал плечами:

— Стратиг!

И опять она высказала его мысль:

— Без Боброка не поднялась бы эта опара.

— Как я без тебя бы, бабушка!

Олег думал:

«Боброк! Небось Дмитрий без него шагу не сумел бы ступить! Не зря к себе привязал, в родство ввел, на сестре женил! Не женил бы, ежели б упустить не опасался».

— К нам бы его, Боброка! — сказала княгиня.

— За тебя боюсь! Он хоть и сед, а статен!

— Ну тебя, Ольг Иванович! Смеется тоже! Сядь-кось поровней — кружево-то мнешь.

Но эти минуты уединения бывали редки. Дом доверху был наполнен людьми — родней, гостельщиками, челядью, воинами. У кого-нибудь всегда находилось дело до князя, до княгини.

День кончался. Надвигалась ночь. А ночь, как ни сторожись, полна мрака, страхов, бедствий, затаившихся во тьме. Ночью кажется всякая беда вблизи. Разве отго-

родишься от нее прозрачным лепестком пламени у лампады или нежным копьем огня на мягком древке огарка?

Наступает ночь, когда болезни наваливаются на больных, когда счастье до смерти может задушить счастливых, а беда — побежденных.

Семнадцатая глава

КОЛОМНА



Звонили на звонницах, ликовали и плакали, служили молебны и пели панихиды. Передовые полки и обозы уже переправлялись через Оку и шли по Коломенской дороге к Москве.

А Кирилл пошел в предместье, проведал коня, стоявшего у хозяина на постоялом дворище, и не спеша побрел вверх по Москве-реке.

Анюта тревожила его, словно должна сейчас прийти, да задержалась.

Немало дней минуло, как он увидел ее в первый раз на торгу, когда пришел из монастыря за солью.

Она стояла тогда, глядя на деревянные товары, расставленные по рогоже. Расписанные ярко, сбитые складно, радовали взор и манили бадейки, чашки, ковши, солоницы. И она стояла среди них — коренастая, белолицая, с темным ртом и глубокими влажными ямками в углах сухого упругого рта.

В ее плечах, в шее, в ее быстрой руке удивила его стремительная звериная сила. И эту силу он угадал по темному пушку на скулах.

«Горяча любить!»

Он остановился около, но она не обернулась — что ей за дело до чернеца.

Он стоял около.

— Аль помочь выбирать?

— Сама справлюсь.

— Ох, ендова красна.

— Мне медов не варить.

— Отчего ж?

— Некого поить.

— Сама пей.

— Одной скушно.

— Ну, меня позови.

— Чернецам грех.
— Я не боюсь.
— Не льстись. Не такая.

Он пошел за ней и между возов сена, в густом летнем запахе, схватил ее за руку:

— Ну позови, что ль!

Она не отняла руки и еще сильней его раздразнила взволнованным женским шепотом, где смешались тоска, и веселье, и жалость. Озираясь, чтоб не приметили их, она сказала:

— Ну что тебе? Зачем позову?
— Погреться.
— Мне-то, вдовой, тож зябко.
— Так чего ж?
— Да с чего я с тобой пойду! Чернец ведь!
— Позовешь — рясу отдам тебе на сарафан.
— Грех!
— Обдарю!
— Даров не хватит.
— А приняла б?
— Сперва поглядела б.
— Что хочешь дам!

Она вырвала горячую руку и впервые взглянула ему в глаза.

— Уйди, чернец. Сама боюсь. Уйди.

И быстро вернулась в толкотню рынка. Он сразу ее потерял, словно растаяла в толпе, — там мелькнул платок, схожий с ее платком; там плечи, подобные ее плечам; мелькнула рука с такими, как у нее, пальцами. Словно в ней одной собран был весь народ и вдруг распался на части, а он ищет ее одну.

— Тут чернявая баба стояла, не видал?
— Анюта-то?
— Она.
— Видно, домой пошла. Чего ей тут делать?
— А ты знаешь ее?
— А кого ж у себя в городе я не знаю? Не чужой ведь!
— И меня знаешь?
— Што ж, ты первый раз, что ль, из Голутвина сюда пришел? Кириллой те звать. Каждый рынок небось тут бога славишь.
— Да я нонче за солью.

— А чернец и соль берет — божье дело деет. На братью ведь.

— Истинно.

— Ну, купи чего-нибудь.

— Не осуди — не заказано.

— Ну, так не засть товар от людей.

— Прости, добрый человек.

— Бог те простит.

Но имя ее было узнано. Кирилл уходил и думал:

«Право, она поддалась бы, не будь я чернецом. Греха опасается. А любовь нешь грех?»

Ее доверчивый шепот он унес в монастырь, и долго нигде она ему не попадалась.

Однажды он раным-рано добрался до перевозчика, чтобы на заре поспеть к рынку.

Ему показалось, что берегом вверх по реке идет женщина. Он пошел следом, взволнованный знакомой ее повадкой.

Она уходила все дальше.

Все гуще становился ольшняк.

Анюта вошла в заросль, и он, подкравшись, увидел: она стоит у воды и развязывает повойник.

Развязала густые волосы, и широкими свитками они опустились ей на спину. Быстро сбросила сарафан и осталась в холщовой, расшитой по подолу исподнице.

Ее ноги, плотные и смуглые, топтались в траве, словно ей не терпелось сбежать в воду.

Сердце его замерло, и дыхание ссохлось, когда, быстро через голову скинув рубаху, она осталась среди ветвей, чуть прикрытая лишь тенью листьев.

Она сложила руки и пощекотала себя под мышками, пробуя ногой воду. И прыгнула в реку; быстро, как золотистая рыба, мелькнула ее рука, мелькнула снова, и она поплыла не спеша, спокойно.

Струи сопротивлялись ей, она преодолевала их, они перекатывались через нее; легкими движениями крепкого тела Анюта боролась с ними легко и ласково. Они упрямо настаивали, а она беззаботно сопротивлялась им.

Потом повернула и сильными взмахами быстро, словно от погони, поплыла к берегу; вышла и остановилась над водой отжать волосы.

Река в этот час была безлюдна.

Кирилл, затаясь, следил, как она вытерлась, как, закинув за голову руки, принялась заплетать волосы, и тогда выступил из кустов.

Она застыла, как каменная, глядя на него из-под нахмуренных бровей.

Он наступил на ее белье и тихо сказал:

— Анюта!

Она вскрикнула и кинулась прочь.

Ее голое тело в тени деревьев засверкало как быстрый ручей.

Ветви ловили ее за волосы. Сучья подвертывались под ноги. Он настиг и схватил ее плечи. Сразу его охватил женский запах, схожий с запахом сена. И руки ее хрустнули в его руках.

— Анюта!

Так началась их любовь.

Наконец она вырвалась и молча быстро ушла в заросль.

Он подошел к ней. Она стояла, одеваясь, глядя на него глазами, полными слез:

— Ты это что ж? Зачем же так-то?

— Сам не чаял так.

И вдруг гнев ли, сожаление ли о чем подняло в ней голос. Она выбежала и закричала. Собрался народ, и Кирилла увели далеко. В Рузу.

Два года минуло с той поры.

Как тогда, Кирилл прошел ольшняком. Начинались ивняки, гибкие лозы.

Он узнал место и лег в траве.

Что бы он сказал ей, если б она лежала здесь рядом? Как много надо сказать. Как мало у человека слов.

Много дней минуло с той поры, а с этой земли все еще нет сил подняться.

Городом шли обозы, шли раненые. Иные лежали в телегах, прикрытые рогожами или армяками. Устало и жалостливо смотрели их ввалившиеся глаза. Вели пленных. Сквозь разодранные одежды темнело избитое и грязное тело чужого народа. Татары смотрели пугливо и жалостно, а жалостно ль глядели б они, если б случилось им сюда ворваться! Никто не жалел их. Никто не подавал им ни еды, ни воды.

С хохотом смотрели на баб в штанах, на пленных татарок. А они, позвякивая бубенчиками, подвешенными

к косам, босоногие, бежали в пыли или, сжавшись, сидели, как больные птицы, на возах с добычей.

Уже над городом кое-где поднимались вопли: коломяне оплакивали родичей, павших на берегах Вожи.

Кириллу показалось, что где-то вдали слышится причет Домны. Но женские причеты схожи между собой, как схоже между собой людское горе.

Кирилл поднялся из лозняка и пошел в город.

К вечеру загудели колокола по Коломне; зазвонили в Голутвине.

С хоругвями, с иконами, с торжественными долгими гимнами пошел к переправе крестный ход. Пошел весь народ Коломны.

Через Оку перешел Дмитрий и обнял приехавших к нему навстречу москвитян.

Наклонившись, он поцеловал сухощавого, небольшого Боброка.

— По твоему слову держал полки, Дмитрий Михайлович, — подковой. И ждал, чтоб навалиться на нехристей сверху. Спасибо тебе.

— Полно, князь. Сам ты хотел их так поставить.

— Опасался, годно ли так будет против татар. А ты меня уговорил. Вспомни-ка!

— Всегда так надо держать, чтоб враг свою привычную силу не смог в ход пустить. А у каждого врага — своя сила.

— Я опасался, как бы они по крылу не ударили.

— А подкову ж всегда повернуть можно! Ты ж это сам в Москве домекнул. Я тут в стороне, Дмитрий Иванович.

— Ну, спасибо. Больно ты скромен, брате.

— Ты скромен, Дмитрий Иванович.

— А как Москва? Овдотья, Анна?

— Плакали об тебе. Ночи напролет гонцов дожидались. Сергий в Симоновом жил, молился.

— А дети?

— Им что! Здоровы, балуют.

— Ты из Москвы давно?

— Вчерась.

— Гораздо скакал!

— Опасался без тебя Москву оставлять. Мало ль что! Враги есть всюду.

— Ну, пойдем.

— Сергий Митяя благословил. Первый от него благословение принял.

— О! То пуще Божи!

Дмитрий задумался. Он стоял на коврах перед столом, накрытым узорной камкой: начинался молебен.

Среди людей Дмитрий заметил Капустина и пригнулся к Боброку:

— А чего Гришка тут делает?

— Его Михаил Ондреич сюда пригнал. Супостата искать. Убили твоего гонца-то к Сергию.

— Царство небесное! — перекрестился Дмитрий, и клир, приняв это за знак к началу, запел молебен.

А обозы шли, войска шли. Скрипели телеги. Плакали коломянки. Гудели колокола.

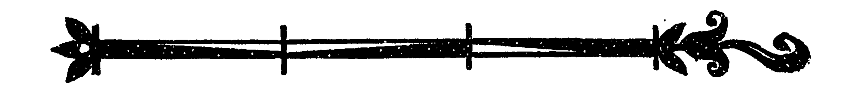




Часть вторая







Восемнадцатая глава

ШАЛАШ

Коломяне насмотрелись на войска, на князей, на добычу. Их теперь медведем не удивишь! Топтыга вдосталь наплясался среди воинов, вдоволь насытился их дарами и ныне отлеживался в деревне. Тимоша один вернулся в Коломну.

Легкой походкой, по привычке, чуть приплясывая на ходу, проталкивался он по рынку.

Его окликнул грубый и спокойный голос:

— Эй, Тимоша!

— Ась?

Осеклась легкая поступь, душа замерла: Капустин!

Тимоша хорошо знал Гришу Капустина, много плясал перед ним на московском княжом дворе.

Гриша сидел на обжорке, запивая медком коломенские гречишники.

— Подь сюды, Тимоша! Не бойсь.

— А чего мне бояться? У меня совесть чистая.

— То и добро. Я нешь что сказал?
— Здравствуй, Григорь Проныч!
— Давно ль в Коломне?
— Да с Медового Спасу тут. Уже две недели.
— Ты коломенской?
— Тутошний.
— Много чужого тут народу?
— Почитай, сам видишь.
— Ты чего ж из Москвы сбежал?
Тимоша забеспокоился, глаза ласково заморгали.
— Да с войском. Наше дело такое.
— Ой ли?
— А што ж еще, Григорь Проныч!
— Ладно. Так и быть!
У Тимоши дрогнула тревожная мысль: «Неужели ж пронюхал, княжой кобель?»
— Ты не примечал ли где черного лохматого мужика с жуковиньем на пальце?
«Унюхал!» — обмер поводырь, но спохватился:
— Чегой-то не примечал!
Подумал, покачал головой:
— Нет, чегой-то не примечал, Григорь Проныч. Это что ж за человек?
— Да так, нужен мне. Его князь наградить хочет.
— Вона что! Экая жалость — не довелось повстречать.
— А повстречаешь где, скачи ко мне. Понял?
— Не упущу!
— Смотри!
— Мне что-то невдомек — будто ты на меня сердишься?
— Ладно уж, иди!
Легкая походка Тимоши стала много легче теперь.
Но не зря народ сказывает, что на ловца и зверь бежит: Кирилл стоял на рынке над деревянными пестрыми изделиями, разложенными на рогоже.
«Все равно, — думал Кирилл, — заутра уйду. Погляжу напоследок на знакомые бороды».
— Эй, брада! Красная сулея чего стоит?
— Ой, чегой-то мне твой голос знаком?
— Памятлив!
— Не могу вспомянуть.
— Неужли ж запамятовал? На том свете Ильиной тройке вместе хвосты расчесывали.

— Тьфу! Пес те дери, чего говорит! Ой и сказал! Помилуй мя, господи! Ну, купи чего-нибудь!
— Чего, спрашиваю, сулея стоит?
— Сулея-то? — задумался продавец.
Но в это время Тимоша схватил Кирилла за рукав:
— Ошалел, что ль? Чего рынку кажешься?
— А что?
Они отошли. Пошли в сторону.
— Тут Гриша Капустин из Москвы. По твою душу.
— А чего?
— Князь, говорит, наградить те удумал.
— Ой, спасибо государю Дмитрию Ивановичу.
— Вишь, он к тебе всем сердцем, а ты...
— Это князь-то?
— А кто ж?
— Ты чего Грише-то набрехал?
— Да не видал, говорю, такого.
— Ну, так мне та награда не надобна.
— Ну и не надо! Леший с ней. Куды ж ты?
— Ведать не ведаю. В Белев, что ль.
— А чего?
— Да там, сказывают, Литва рядом. Овраг перешел и — прощай, Дмитрий Иванович, здравствуй, Ольгерд Литвиныч!
— Ольгерд-то помер.
— Свято место не бывает пусто. Одного схоронят, другого найдут.
— Туда, значит?
— А ты ж со мной ходить уговаривался!
— Больно далече задумал. А тут мне родная земля.
— Не неволю.
Распрощались. Тимоша смотрел вслед Кириллу: «Смел пострел! Не идет с рынку».
Кирилл вернулся на торг:
— Так чего ж за нее?
— За сулею-то? Ведь как тебе сказать? Со своего человека наживать вроде бы и неловко. Да работа-то какова!
— А ты разом говори.
— Где ж ты, брате, видал, чтоб разом? Какая ж это торговля разом? — обиделся продавец. — Я те свою цену, ты мне — свою. Вроде как бы беседуешь, а не торгуешь.
— Ведь и товару-то на чох, а тож — по купцу примерился! — заспешил Кирилл.

— Ты мне торг не мути! Ежли нечем платить, я те не неволю.

Все же Кирилл купил красную разузоренную сулею.

«Повезу ей! — думал. — Стану на колени, поклонюсь в ноги: не гордись, мол, прими коломенскую сулею; давай станем на всю жизнь вместе меды варить!»

И, запахнув покупку полой, быстро пошел за город, на подворье:

«Ежли сюда московская рука досягнула, за Окой ей шарить не легко будет».

— Далеко ль? — удивился старик с постоялого, глядя, как Кирилл принялся наскоро заседлывать коня. Время уж на полдень перевалило.

— Да тут рядом. В Каширу съездить надобно. У меня там брат занемог.

— А ты б Окою.

— Лесом-то шибче.

Он засунул сулею в переметный мешок. Туда ж заранее увернул кое-что из припасов. А иное оставил до времени на прежнем месте в лесу.

Конь застоялся, отъелся, пошел горячо.

На перевозе приезжие мужики пристали с расспросами:

— Чего это рука у тя повязана?

То одно спрашивали, то другое, — все ладили, чтоб руку им показал. Но, помня Тимошины слова о Капустине, упасся.

Снял бы кольцо, да оно никак не снималось. Палец, что ль, ожирел аль сустав нарос.

Уже выехав на Рязанскую сторону, развязал руку, открыл палец с кольцом. Хлестнул коня и без сбоя шел до самого вечера.

Перед сумерками отдохнул.

А по сумеркам и по ночи конь пошел побойчее: прохладно стало.

На поляне, высоко над рекой, густо лежала серая ночная роса; травы под ней гнулись.

Позади остался Перевитск, и Кирилл рад был, что миновал его стороной и ночью.

Багровая луна тяжело погружалась в сырые травы, и по полю тек ее розоватый свет.

Над травами, в стороне от дороги, темнел лохматый шалаш. Над лазом на шесте белел конский череп, а в золе тлела и слабо дымилась головня.

Кирилл слез с седла и окликнул:
— Эй, человече!
Никто не отозвался.
Пригнувшись, он заглянул внутрь.
— Есть кто?
Посредине шалаша вырыто было место, чтоб ходить, не касаясь головой верха, а по краям вокруг получалась вроде как бы скамья земляная, и на ней лежала просторная медвежья шкура.

Кирилл стреножил коня и спрятал переметную суму в кустарник, чтоб не держать при себе ни для кого соблазна. Седло же и потник внес в шалаш.

Он вышел снова, посидел. Дыша горьким дымом остывающего костра, погрелся над теплой золой.

Луна совсем уходила в землю, задернутая мглой, посиневшая, большая. Позади шалаша толстыми пнями стояли колоды пчел.

— Где ж бортник-то?
Дым ли, тепло ли золы нагнали дрему. Он снова влез в шалаш и накрылся шкурой.
Светало.
Задыхаясь от непонятной тяжести, Кирилл проснулся.
Вплотную над своим лицом он увидел сморщенное лицо, заросшее сединой; густые, как усы, брови.

Кирилл почувствовал, что руки его спутаны. Старик сидел на Кирилловой груди.

— Чего ты? Леший, что ль? — удивился Кирилл.
— Хто я, тебе знать не к чему. А пошто ты пожаловал, говори?
— А я — поспать.
— А спрос где?
— Хозяин, что ль?
— А хто ж, по-твоему?
— Может, див, может, лешак. Не ведаю. Но морда у тя мерзкая.

Старик сполз с Кирилла и оказался мал ростом, кривоног и криворук; голова на это гнутое хилое тельце поставлена была непомерно обширная, и двигался он, будто сгибаясь под ее тяжестью.

— От паук! — залюбовался Кирилл.

Старец выглянул в лаз и свистнул. Его пронзительный свист раскатился окрест.

«Сзывает!» — задумался Кирилл и пошевельнул путами.

Узы стянуты крепко, да вервие гнило. Напрягшись, Кирилл порвал одну из петель. Но старец вернулся и вынул нож:

— Ну-кось, теперь скажешь себя?

— Сядь-ко в ногах, слухай.

Старик недоверчиво пригляделся и наклонился, чтоб сесть.

Изловчившись, Кирилл поджал ногу и с размаху ткнул хозяина в грудь; отвалившись в угол, старик беспомощно взмахнул руками.

Кирилл распутался и выволок его к свету.

— Господи, прости прегрешение мое!

Он вырвал из стариковых рук нож и срезал с себя остальные петли.

Старик наконец отдышался. Маленькие глаза бились под бровями, как рыбки в сетях.

— Ну-ка! — приступил Кирилл. — Кто ж ты таков? Я к те ночлежить пришел, а ты мя петлями оплел.

— А хоробр и хитр ты!

— Не тебя ль спужаюсь?

— Глядь, не пожалей.

— Тебя-то?

— Да не, себя.

— Зачем ты связал-то меня?

— Коня путают, чтоб далеко не ушел.

— Ин ладно, погляжу и я, к чему такой сон снится.

И не гнилой паклей, а сыромятным ремнем он крепко и туго связал хозяина.

— Придавить тя всегда успею. Сперва погляжу, не сгодишься ли на что. Как зовут-то, лешак старой?

— Так и зовут.

— Ладно, полежи маленько.

Он вышел и сел у лаза. Роса уже поднималась. Стлался туман, сквозь который просвечивало зеленое небо. Конь откликнулся на Кириллов свист. Время было ехать, да тревожил старик. Неразговорчив, что-то таит, какую-то силу за собой стережет. Кириллу чудилась неведомая опасность в этом старике. Надо было сперва разгрызть такой орех.

Кирилл разгреб золу, раздул на бересте пламя, наломал сушняку.

— Ты тут жить, что ль, собрался? — спросил из шалаша леший.

— Нет. Некогда. Пятки те погрею, чтоб язык оттаял.

Старик скорчился в своем углу. Кирилл догадался, что тот силится сорвать ремни.

— Каковы? — спросил Кирилл. — Добрые ль ремни в Коломне мнут?

— Чтоб те...

— Может, заговоришь теперь?

— Поспею.

Кирилл подтащил старца к костру и слегка пригрел ему ноги. Старец поморщился, но смолчал.

Кирилл задумался:

«Ежели так таится, что-то тут есть. Опасается, подозревает меня. Поелику так, спытать непременно надо!»

Он заголил старикову спину и хлестнул плетью. Старик охнул, но смолчал.

Кирилл долго мучил его — хлестал, подогревал. Стариково сердце стало заметно остывать, а язык — оттаивать:

— Ох, чего те от меня надо, право?

— Ну-ка, слухаю.

— А что я знаю?

— Как те зовут-то?

— Микейшей.

— Ну ж, дед Микейша, чего ты тут пасешь?

— От придут, внучек, мои — они те скажут!

Кирилл всунул дедовы пятки в угли так, что кожа мгновенно вздулась. Дед скорчился и отвернулся от Кирилла.

— Слухай же! Будь ты проклят! Пусть земля под тобой окаменеет! Слухай: они придут, справят по мне тризну на твоих костях. Вот натешатся!

Под густо сдвинутыми бровями в углу сжатого глаза стояла большая слеза.

Вдруг жалость охватила Кирилла. Он быстро распутал деда:

— Живи уж! Напугал.

Дед приоткрыл глаза и кивнул на угол шалаша:

— Достань там мазь. Смажь.

Кирилл смазал синее старое тело зеленоватым пахучим зельем, внес старика и положил на медведину. Растер ему затекшие руки. Сел в ногах.

Старику стало худо. Он велел достать пучок корней и отварить их, пока огонь не затух.

Когда Кирилл внес в шалаш горячее варево, старик уже метался в жару.

Пересохшими губами, обжигаясь, он пил отвар и, видно, успокаивался.

Отстранив ковш, он без злобы посмотрел на Кирилла:

— Ну, я сказал: Микейша я. Чего ж еще просишь?

— Сперва отлежись.

— А тебя-то как кликать?

— А ты меня кликать долго думаешь?

— Нешь можно от больного старика уходить?

— Норовишь задержать до своих соколиков?

— Сумневаешься? Тогда ступай.

— Как мне те верить, коли сонного обратал?

— С добром в эту даль чужой нешь придет? А свой сразу б назвался.

— Какая ж даль? Шалаш у самой дороги.

— Очумел?

— Ты, дед, может, сам не в тот шалаш влез?

— Я-то — в тот. Ты чего тут ищешь?

— Ничего. Ехал, зашел ночь проспать.

— Далеко ль ехал?

— А в Рязань.

— Вона! В Рязань дорога Окой, а ты сунулся лесом. Да и ездят по ночам не с добром.

— Я с Оки-от шел, как Перевитск объезжал.

— Добрый человек ночью городов не минует.

— Так где ж я?

— Ну, дай мне испить отвару.

Кирилл снова поднес, и дед отхлебнул из ковша.

— Намял ты мне сердце. Ты от Перевитска свернул на Пронск да ехал боковой дорогой; а с дороги смахнул на тропу, ан и попал к лесному попу.

— А ты сперва мне страшней показался.

— Ноги-то горят. Чуешь — как? Самого-то так гревали?

— У меня, дед, не ноги — сердце на углях лежит.

— Бывало у меня и это.

— Пора мне выбираться отсюда. Вижу: не там я.

— Поспеешь. Не бойсь.

— Погодь, лошадь гляну.

— Сиди!

— Ты, дед, уж меня прости.
— А я и сам так бы сделл — я ж те беду готовил.
— А она миновала нешь?
— Пестуешь мя, стало быть, свой.
— Ну, спасибо на том.
— От какой беды ты едешь? Как звать-то тебя?
— Кириллом мя звать.

Неожиданно и торопливо, боясь, чтоб не помешали досказать, он вдруг выложил перед дедом свою жизнь.

О том, как осиротел и с купеческим караваном в Царьград пошел. Как побили их по дороге. Как мытарился по каменной грецкой земле. Как камни научился класть и научился в каменном монастыре греческой грамоте, и о монастыре рассказал, о своей там жизни.

— А Русь звала. Русскую речь всюду подслушивал. Приехали от митрополита, я с дружиной его сдружился. Там ко мне все привыкли, взяли с собой на Русь. О, и сладко среди своего народа, хоть и горька жизнь.

Он говорил. А дед лежал навзничь с закрытыми глазами и словно без дыханья. Глаза глубоко запали.

Кирилл схватил его холодную руку:

— Дед!
— Чего ты? — встрепенулся дед.
— Худо те?
— Легчает. Покой пришел. Словно бы мою жизнь сказываешь.
— А ты?
— Только я — от татар, а ты — от греков.

И Кирилл досказал все.

Старик положил руку на Кириллову голову.

— И я убивал. И меня казнить чаяли. Теперь стар, устал. Сел тут. Другим ходить помогаю. А у тебя отныне вся жизнь в пути. От куста к кусту, как птица перелетает, чтоб сокол не сбил.

За день никто не пришел. Старик жалел:

— Куда ж сгинули?
— Кого ждешь-то?
— Сокольев отпетых.
— По совести скажи: может, мне лучше уйти?
— Подь дичины добудь, да варить надо. Я-то слаб.

К вечеру из лесу выглянули трое мужиков. Притаясь, смотрели они на чужого коня, на человека, сидящего у костра, искали глазами деда. Кирилл приметил их.

— Иди, иди! Давно ждем! — и осторожно провел себя по животу: тут ли кинжал.

Один из мужиков, напустив на лоб густую баранью шапку, неохотно подошел и молча остановился перед Кириллом.

— Ну, чего стал, как баран? Подходи. Дед спит.

— Ан не сплю! — откликнулся дед. — Слухаю. Давно вас нет.

— А ты будто с Коломны? — сказал мужик.

— Оттоль.

— То-то.

Кирилл всмотрелся.

— Мой-то конь будто тебя не признал.

— А я сразу ему поклонился. Вижу, почти что свой.

— Так кличь, Щап, остатных. Хлебово готово, а ложки давай свои.

Щап кивнул, и товарищи его подошли.

— Садись! — сказал Кирилл.

— Ты тут будто у себя в избе.

— Вроде, как ты на моем коне.

— Остер язык!

— С твоей бороды списан.

— А хлебово-то с добром сварил?

— Зелья подложил, чтоб твои пироги без помехи съесть.

— Ну, испробуем!

Они молча и мирно ели. И мирно Кирилл спал между ними.

— Запомни дорогу! — сказал ему на заре старик.

Щап пошел с Кириллом до коня:

— Спасибо те, Кирша.

— Ты про что?

— И про коня и про старика.

— Про коня за что?

— Что выпустил меня. А то за что ж?

— А про старика?

— Да что его спас.

— А он те как сказал?

— Как было, так и сказал. Изломали, мол, его трое рязанцев; про нас пытали. А ты согнал, а его отходил.

— Правильно дед сказал. Прощай, Щап.

Кирилл, уже с коня, спросил:

— Пироги-то жирны ль выпек?

— Одна беда. Едоков набралось много.

— А ты мне тем грозил! А рязанцев не жди. Сиди тут спокой.

— По тебе видать: кого толкнешь, далеко откатится. Слышь-ка!

— Ну-ка!

— Может, на них есть что? Я б сходил снять.

— Ничего нету.

Щап покорился:

— Твоего мне не надо.

— Не надо и мне твоего. Будь здоров.

— Вертайся, коли надо будет.

— Вернусь.

Днем выбраться из лесных троп оказалось трудней, чем ночью забрести сюда. Пришлось слезть с коня. Но к полдню выбрался и, разбирая путь по вершинам деревьев, вышел на Рязанскую просеку.

Девятнадцатая глава

МАМАЙ



Степи тянулись далеко вокруг.

По холмам брели стада, и по степям растекался, как пыль, ласковый напев пастушьих дудок.

Осень дула с севера прохладой и порой гнала понизу серые облака.

В степи шли караваны — на юг к Каспию, на юго-восток к Бухаре, на восток в Китай, на юго-запад к генуэзцам в Кафу.

Верблюды смотрели на мир с высоты запрокинутых голов, надменно и равнодушно. Набитые осенним жиром горбы стояли высоко. А ветер раздувал бурые гривы, шерсть покрылась соломой и пылью. Зеленая слюна тянулась из пустых ртов.

День вечерел. Был тот час, когда каждая тень отчетлива и густа, когда земля становится выпуклой, яркой, золотистой.

Степи тянулись далеко вокруг Сарая. Но сам город мирно покоился в тени садов.

Мирно текли ручьи под деревьями, и в зелени сверкали алые платья татарок.

Мамай эти дни проводил в пригородном саду.

Окрест слышно было, как вспыхивали песни, как глухой стук бубна отбивал ритм напева. Спелые плоды, дар оседлой жизни радовали кочевников, сменивших плеть на заступ.

В тени ветвей, у водоема, обложенного голубым камнем, на ломаных узорах ковра лежала шахматная доска, и генуэзец Бернаба обдумывал: выгодно ли воспользоваться правом короля на конный ход?

Единожды в игре, если король не уходил за башню, если король оказывался перед открытым полем, у него было право вскочить на коня, совершить налет на врага. Но, раз проявив робость, зайдя под защиту башен, король лишался права на этот внезапный ход. Это правило вместе с шахматами завезли в Сарай из Ирана.

Бернаба раздумывал:

«Не лучше ли скрыться в башне, нежели рисковать, хотя и сбив вражеского слона?»

Белое узкое лицо, втиснутое в черный мех бороды, слегка вытянулось, дергался глаз — дурная привычка. Палец медленно полз к доске.

Но Мамай сквозь узкую щель глаз смотрел твердо. На круглом маленьком носу шевелились большие ноздри. Жидкая светлая борода вздрагивала; следя за генуэзцем, он улыбался одной стороной рта.

Разрисованная иранским мастером, просторная доска звякнула подвешенными изнутри колокольчиками: это король Бернабы скрылся в башню.

Мамай свободно вздохнул и тотчас пригрозил королю конницей.

Выточенные китайским резчиком, костяные воины снова замерли: Бернаба тщательно обдумывал каждый ход. Мамай отвечал сразу.

Туфля, расшитая золотом, сползла с поджатой ноги, и обнажилась пятка, окрашенная киноварью. Мамай, затаившись, снова ждал генуэзца.

Халат из плотного самаркандского шелка туго обтягивал мальчишеское тельце Мамая. Голова была тщательно выбрита, но борода огорчала — светла, редка. А в иранских рисунках так округлы и густы бороды ханов, так круглы глаза, так узки ладони. У Мамая же ладони, натертые, как и пятки, алой хной, круглы, а не узки, как хотелось бы ему. И Мамай все еще не хан, как хотелось бы Мамаю.

Темник, хозяин войск, он распоряжался ханами, он сменял их одного за другим, но всякий хан норовил распоряжаться темником.

Шестнадцать лет прошло, как зарезали хана Хадыря. Это Мамаю удалось, но стать ханом не удалось. Мамай поставил Абдуллу, но пришлось и этого прирезать. Поставил Магомет-Султана, но пришлось придушить и Магомета.

Невозможным оказалось вырезать всех, кто имел на ханство право. Нужен был хороший поход, свежая слава и новая дерзость, чтобы наконец-то сделаться ханом.

Бернаба тихо шептал какие-то стихи. Они разговаривали по-персидски. Мамаю плохо давался этот язык. Он не всегда понимал смысл стихов и скрывал презрение к Бернабе, когда тот восхищался кем-нибудь из поэтов.

— Слова подобраны хорошо, но смысл их темен! — говорил Мамай.

В ответ Бернаба молчал, но лоб его покрывался румянцем и глаза становились узки. В это время он прятал свой взгляд от глаз Мамая.

А Мамай и не старался любить стихи: любить их было обязанностью Бернабы, как обязанностью раба Абду-Рауфа — чистить Мамаева коня, как обязанностью раба Клима — готовить еду. «Если есть слуга, который умеет любить стихи, незачем это делать князю!» — так размышлял Мамай. Сколько еще дней оставалось ждать до новых рабов? Бегич приведет ему их.

День клонился к вечеру. Где-то ухали бубны, переплетаясь с песнями. Откуда-то проходил караван, и верблюды ревели под картавый звон тяжелого бубенца.

Гуще становился аромат цветов. Их привезли из Турана, как три года назад из Кафы привезли Бернабу, а ковры — из Персии, а ароматные дыни — из Шемахи. Водоем облицован искусным каменотесом из Бухары. Сад разбит садовниками — рабами из Мерва. Скоро из Москвы Бегич приведет голубоглазых пленниц.

Бернаба сделал неосторожный ход.

— Шах! — вскрикнул Мамай.

Бернаба отступил.

— Смерть! — поставил ферзя Мамай с такой силой, что колокольчики долго не умолкали внутри доски.

Калитка распахнулась. В сад ворвались пыльные, оборванные воины.

По садам замолкали бубны, обрывались песни.

Воины неподвижно остановились, уткнув глаза в землю. Так не извещают о победе!

— Не может быть! — тихо сказал Мамай.

Один из оборванных воинов поднял лицо, покрытое пылью. Да это князь Таш-бек, правнук Чингиза.

— Не может быть!

— Бегич убит.

— А войско?

Таш-бек прикусил губу.

— Ну!

— Говорю: все побиты.

— Кто мог побить всех!

Таш-бек молчал.

Мамай кинулся к двум другим.

— Ну?!

Он схватил их за рваные халаты. Никто не ожидал, что в столь худых руках скрыта такая сила. Воины едва удержались на ногах.

Мамай опять подбежал к Таш-беку:

— Говори!

Таш-бек сурово и коротко сообщил все.

Мамай сжался. Халат оказался широк и сполз с плеча. Повелитель войск, он подбежал к ковру, ударил ногой в шахматную доску. Звон колокольчиков рассыпался в наступившем молчании. Доска раскололась под твердой пяткой.

Бернаба стоял, глядя на эту дикую пляску.

Чуть прихрамывая, Мамай добежал до князя и с размаху наметился ударить в лицо. Но Таш-бек перехватил Мамаевы руки, словно сковал их.

— Уймись!

— Пусти!

— Но!

Так же внезапно пришло успокоение.

— Расскажи еще раз.

Таш-бек вытер рукавом лицо. Прошел к блюду, на котором лежала нарезанная дыня, сдвинул ломти в сторону и, подняв блюдо, принялся пить сок. Блюдо вздрагивало в его руках вслед каждому глотку.

Мамай покорно ждал за его спиной.

Обернувшись, Таш-бек впервые заметил, что Мамай очень мал ростом, кривобок, щупл. Только глаза быстры, злы, хитры.

«Хорек!» — но не сказал этого, а снова повторил, как шли, как перешли Вожу, как бились.

— Убиты и Хази-бей, и Бегич, и Каверга, и Карагалук, и Кастрюк.

Мамай сказал:

— Теперь вижу, ты в лошадях лучше всех понимаешь. Сумел ускакать.

— Побывал бы там сам!

— Я побываю.

— Ты?

— Не успеет этот сад пожелтеть, я сожгу Москву, а Дмитрий будет мне собирать навоз для топлива.

— Так и Бегич думал.

— Бегич — не я. А ты так не думал?

— А ты?

— Отвечай!

— Вместе с тобой так думал. Здесь.

— Со мной и пойдешь.

— Не откажусь.

— Я не спрошу.

Мамай кивнул Бернабе:

— Иди. Созывай совет. Быстро.

Бернаба вышел.

Мамай сказал:

— Ты им расскажи, почему вы разучились биться.

Вдруг снова его наполнила ярость:

— Почему? Не могли смять? Не могли изрубить? Вас было мало? Не умели рубить? Разучились в седлах сидеть? А?

Таш-бек, отвернувшись, крикнул одному из воинов:

— Вели принести воды!

Мамай растерялся: его перестали бояться? Он соберет новую силу, двинет новое войско.

Ноздри Мамая то раскрывались, то опадали, суживались, как рты рыб, выброшенных на песок.

А в сад уже начали сходиться вожди ордынских войск. Многих недоставало — тех, кто остался на берегу Вожи. Эти — живые, уцелевшие, отсидевшиеся в Сарае, не могли заменить тех. Не было среди них никого, равного Бегичу, ни Кастрюку, ни Хази-бею.

Придется ему, Мамаю, одному заменить их.

Мурзы и военачальники Орды входили в дом Мамая, смущенные неожиданным зовом.

Этот дом, нарядный и славный, давно их привлекал, но из них лишь немногие переступали его порог: у Мамая были любимцы. С ними он ходил в походы, с ними делил свой кумыс и свою баранину.

Нелюбимых, ненавистных, бездарных собрал Мамай в этот день. Любимые полегли на берегах Вожи.

Вверху сверкал потолок, густо расписанный узорами и цветами. Внизу молчали ковры, плотные, как верблюжьи шкуры. Алебастровые стены, резные, как кружева, были похожи на морскую пену. Многим доводилось видеть моря; немногим — покои Мамая.

Все видели: Мамай не в себе. Весть о разгроме уже дошла до них. Но меру разгрома они медленно постигали лишь здесь.

Они сидели в прохладной мгле комнаты, поджав пыльные ноги, силясь сохранить достоинство; силясь, сохраняя достоинство, понравиться Мамаю.

Мамай знал: есть среди них ликующие. Есть, которые думают: пали друзья Мамая, падет и Мамай.

Некоторое время все сидели молча.

Но он собрал их не затем, чтобы молчать. Он обернулся к Таш-беку:

— Люди собрались, князь, тебя слушать.

Многие подумали: «Хитер! Выходит: не он нас звал, а сами мы собрались сюда!»

Таш-бек неохотно пододвинулся:

— Что я скажу? Мы бились так, что уцелевшим стыдно. Живые завидуют павшим. И я завидую. Русы разбили нас. Из троих бившихся вернулся один. Из троих вернувшихся снова идти на русов решится один. Сами считайте, сколько уцелело воинов. Других слов у меня нет.

Мамай:

— Ты говоришь, как раб, как трус. А я тебя почитал за князя.

— Нет, я не трус. Я снова пойду на Москву.

Мамай:

— Если клинок не дает взамен трех клинков, если, потеряв одного коня, воин не приводит трех — незачем держать войска. Мы резали, и мы впредь будем резать кобыл, если от них нет ни молока, ни приплода. Мы завоевываем, чтоб с побежденных брать приплод себе. Не много — одну десятую часть со всего. Так стоит Орда. Так она будет стоять. Надо опять идти! Говорите, скоро ли



сможете вы встать в поход и как вы в поход пойдете? Русь принадлежит нам, и мы ей напомним наше право.

Таш-бек сказал:

— Многое завоевано Ордой. Нового нам не надо. Надо брать с того, кто завоеван. Так поступал Чингиз. А мы с одних упускаем дани, а на других с кровью и лишениями налагаем их. Мы стали от войны беднеть, а войны хороши, если приносят добычу, если...

Мамай перебил его:

— Я и говорю о том! А если не дают, надо заставить давать.

Один из мурз попрекнул:

— Не надо было уступать Дмитрию. То ты снизил им дани, то сзываешь в поход, чтобы поднять прежние дани.

Еще голос — голос старого Барласа:

— Сам прощал, сам возвращай.

— Что?! — воскликнул Мамай.

Когда притихли и присмирели, Мамай приподнялся с полу.

— Приказываю: собирать всех, кто возвращается из Бегичева похода. Вам завтра быть здесь всем. Кто говорит?

Все молчали.

Они встали, торопясь уйти.

Он не предложил им ни кумыса, ни беседы. С ненавистью он смотрел им вслед.

Когда Мамай остался один, к нему подошел Бернаба:

— Они ненадежны, хан. Надо искать других.

— Воины—не верблюжий навоз. По степи не валяются.

— У меня есть план...

— Некогда, некогда! Пока Дмитрий торжествует, надо подкрасться, обрушиться, не дать опомниться!

Снова вскочил, побледнел и затопал:

— Жечь их! Резать! Давить!

Вскоре успокоился.

— Времени у нас есть только, чтоб вдеть ногу в стремя и хлестнуть коня.

Бернаба смолчал.

— А как я тебе велел: ты учишь русский язык?

— Каждый день.

— Уже говоришь?

— Понемногу.

— За русского годишься, как мы условились?

— Рано еще.

— Торопись.

Бернаба придвинулся; наклонился к Мамаеву уху:

— Остерегись: хан будет рад твоему поражению.

Мамай понимал, что Бернаба хочет ему славы и силы. Он дает советы, помогает, поддерживает, ибо гибель Мамая — это гибель Бернабы, всех его генуэзских надежд. Кому из татар понадобится этот чужеземец, хотя и отатаренный; кому из генуэзцев понадобится столь отатаренный бездельник, хотя и генуэзец!

Мамаю этот хитрый проходимец во многом помог. Бернаба видел многие страны, над ним небосвод был высок и просторен.

Бернаба давал советы безжалостные, подлые, корыстные. Но они совпадали с мечтами Мамая, и этот проходимец был ему ближе всех друзей.

Мамай сказал:

— Хан не будет рад. Я одержу победу.

Бернаба молча отодвинулся: в комнате с ковров собирал сор раб. Ухо раба было срезано, и он низко на щеку опускал рыжие волосы. Раба звали Клим. Он был рожден рязанкой от чьих-то воинов, проходивших мимо.

«Если на Рязанской земле родится человек рыжеволосый, белотелый, значит, родичи его пришлые» — так хитро однажды объяснил Бернабе сей раб, когда Бернаба спросил: «Кто ты, бурнастый?»

Раб не видел родины тридцать лет. Он уже плохо стал говорить по-русски. Мамай заметил, что, чем чаще случались в Орде убийства ханов, тем одобрительнее раб глядел на Мамая, и Мамай приблизил раба: доверил ему уборку комнат и присмотр за едой. И стал отпускать молиться в русскую церковь.

Бернаба удалился. Раб ушел. Мамай спустился в сад.

Было невыносимо думать теперь о Воже. Но начинался новый поход, и крылья надежд прикрыли вожскую рану.

Ночь стояла тихая. Люди не пели; не гремели барабаны. Лишь кое-где розовели глиняные стены, озаренные отсветами вечерних костров. Да в темноте осеннего неба кровавой каплей висела одинокая звезда. Громко текла вода в ручье. Пахло степными травами — полынью и мятой, и к ним примешивался чуждый аромат садовых цветов: как по кошме, не сливаясь с ней, ложатся чуждые войлоку узоры.

Мамай не думал о поражении — его охватили надежды похода. Уже не терпелось поскорее тронуться в путь.

А Бернаба лежал на полу и неистово заучивал русские слова.

— Комонь, комонь, комонь...

Затем говорил вслух:

— Комонь — это лошадь.

Потом опять зубрил:

— Кметь, кметь, кметь...

И повторял вслух:

— Кметь — это воин.

Так Бернаба овладевал неодолимым языком русов.

Наконец он отодвинул из памяти и комоня и кмета, опрокинулся на спину и, глядя в низкий, собранный из палочек потолок, стал вспоминать Омара. Персидский язык дался ему легче. Бернабе было восемнадцать лет, когда отец его умер в Казвине. Было Бернабе двадцать два года, когда, задержанного за отцовы долги, купцы выкупили и взяли его с собой в Кафу, на Черное море. Но не отпустили. Когда исполнилось Бернабе двадцать семь лет, он побывал в Константинополе, а тридцати лет оказался Мамаевым рабом в Сарае. Он поехал торговать, задолжал, и товарищи, не простив неудачнику долгов, продали Бернабу в Сарае, как осла.

А Омар так хорошо говорил:

— Все обратятся в глину! Как это стихами? И дальше: гончар возьмет ком этой глины и слепит чашу для вина из царских черепов и из ног рабов. Не спеши, брат! Не спеши! Ноги вынесут тебя из рабства. Но лучше будет, если с тобой они вынесут еще что-нибудь.

Вдруг в ужасе он вскочил. Но это только свеча, догорев, упала.

Двадцатая глава

РЯЗАНЬ



Кирилл знал: много огня и крови видала Рязанская земля. Первая на Руси она приняла татарские удары. Седьмой год пошел, как всю Рязань повыжгли, повытоптали.

И Кирилл подивился: ныне стоял город высокий, дубовый, складный. Непросторен, сжат, как кулак, готовый ответить ударом на удар. Гордый город над светлой и просторной Окой.

Высоко текли над ним облака. Густо синело осеннее небо, и молодые деревья поднимали позолоченные крылья, словно готовые взлететь.

Скупо подкрашены киноварью верха серых стен. Узкой каймой расшиты у рязан рубахи. Чужеземца сторонятся — не в пример Москве. Недоверчивы — видно, много от чужих народов принято ими мук и обид.

Кирилл, любопытный до новых городов и обычаев, вникал во все. И лапти по-иному тут сплетены—лыко узко, а работа мелкая. И в холстину пускают синюю нитку — из такой полосатой холстины мужики портки носят.

И волосом рязане рыжее, каштановей. И молодые каштаны стоят в городе. Любят тут сады садить, цветы растить. Телеги на базаре и те не как в Москве — покруглее, на ходу бойки.

Пошел по слободам, спрашивал людей, заговаривал. А люди, слыша его пришлую речь, отвечали сурово, неразговорчиво.

Только девушки, поблескивая карими глазами, ласково пересмеивались ему вослед, и Кирилл тихонько насмешливо пропел:

А у нас в Рязани
Грибы с глазами,
Их едят,
А они — глядят...

Девушки оробели и скрылись.

У Пронских ворот встретился неторопливый длинный обоз с припасами: боярам везли из вотчин урожай. Колеса глубоко проваливались в колеи; тощие лошади, напрягшись в хомутах, еле выволакивали возы в гору.

Один из мужиков долго бился над своей лошадью: колесо рассохлось, деревянный обруч лопнул, и телега застряла в глубокой колее; остервенев, мужик истрепал лычную плеть о лошадиный крестец. Конская кожа взмокла и побурела от ударов, а мужик все стегал лошадь, заставляя пересилить самое себя.

— Стой! — строго сказал Кирилл.

Мужик опустил плеть.

— А ежли б тя так хлестать, чтоб ты сдеял?

Вокруг них быстро собрался народ.

— Ух ты! — озлился мужик. — Я исконный рязан, а ты с Москвы назирать явился!

Кирилл угадал недружелюбное молчание народа.

— Не быть московской голове над Рязанью!

— А ежели у тебя своей головы нет?

— Слыхали?

— А чего слыхать, коли то на твоем коне видать.

— Мой конь. Захочу — убью сейчас! Мое право.

— Дурак, — ответил Кирилл.

Тотчас молчание людей переросло в рев:

— Учить нас!

— Москва нас срамить пришла.

— А что на него глядеть!

Кирилл обернулся к ним, улыбнулся и сказал:

— Дураки.

Но отвечать им не дал. Голос его вдруг стал тверд, как меч:

— Что стоит один час работы? Спрашиваю. Ну?

Кто-то, помявшись, крикнул ответ:

— Что стоит конь?

Тот же голос ответил. Остальные молча и выжидающе слушали.

— Вот и вышло, что мужик дурак. Конь его стоит во сто двадцать раз более, чем час работы. А воз разгрузить, вывезти в гору да опять нагрузить за час можно. Можно?

Все молчали.

— Можно! Что лучше? Коня убивать али воз перегружать надо?

— Мой конь! — остервенел мужик. И теперь, ошалелый от внимания народа, кинулся на лошадь с бревном. Он ударил ее около морды, но рука сорвалась, и огромный влажный глаз коня испуганно заморгал ласковыми ресницами.

— То-то дурак!

— А не твое это дело! — крикнули Кириллу из толпы.

— Это-то? Мое! Не дам бить коня!

— Попробуй!

Мужики-возчики сгрудились вокруг товарища. Стали засучивать рукава.

Ярость ударила Кириллу в голову. Он сбежал к дороге, отхлестнул двоих, подвернувшихся под руку, и вырвал бревно из мужиковых рук, а мужика схватил за волосы и повернул так, что тот, взвыв, упал на живот. Пока еще никто не опомнился от удивления, Кирилл крикнул:

— Конь в бой ходит! Кони Рязани надобны! Без коня кто биться может?

Вопрос удивил всех. Кирилл без передыху закончил:

— Без коня войску не быть! А дурак всегда враг.

— Ну-ка, кто за коня, а кто за дурака?

Народ засмеялся.

— Оттого-то я вступился. Ну-ка, люд, поддавай!

И прежде чем подоспели ему на помощь, он крепким плечом уперся в задок воза, гикнул коню, и телега со скрипом и скрежетом вынырнула из рытвины.

Мужик опешил: материться ли ему, кланяться ли за помогу, но Кирилл уже отряхнул плечо и пошел. Перед

ним дружелюбно расступились, и дело обернулось с гнева на милость:

— Ишь, Ольгово войско хвалил!

— Да он, может, и не москвитин.

— А это не Овдотьин ли племяш из Новагорода? Сказывали, нашелся.

— Не. Я человека этого примечал. Он в Нижнем кожами торгует. Оттоль прибыл.

— Скажешь! Он наш, рязанский, из Пронска воскобой.

Так Кирилл пошел по Рязани.

Дубовые толстостенные стояли, стена к стене, дома. Стоял за тыном княжой Олегов терем. На площади теснился торг. В кузнечном ряду ковали коней и мечи. Кирилл остановился, взглянул.

— Подойди, глянь, — позвал коваль, довольный вниманием к своему делу.

Кирилл примерился к новому мечу.

— Не видал таких. Не тяжеловат ли?

— Доле прослужит.

— На Москве такие перестали ковать.

— Ну, за ней разве угонишься! Она, сказывают, на Вожу-то свейские, заморские мечи брала.

— А ты нешь таких не сковал бы?

— Да ведь Москва кует! Еще, сказывают, и к свейским свою поправку дает, лучше тех кует. А нам не велят. Ольг сказал: «Не я Москве ученик, а пущай она сперва у нас поучится».

— Ну Ольга и поучили, как из Рязани шугнули.

— Ой, про то забудь. Голову снимет.

— Ладно. Бог те на помощь!

— Спасибо на добром слове.

Кирилл смотрел рязанские сукна. Не хуже царьградских. Потемней, пестрины в них нет, а работа тонкая.

Видел на торгу многие ремесла—бочаров, утварщиков, медников, овчинников. Их изделия прельщали Кирилла добротной, чистой выделкой. Скромны, не пестрят, радуют не блеском, а нутром.

Кирилл почувствовал себя среди ремесленников как дома. Хорошие ребята. Не похожи на греков—те сделают на полушку, а нашумят на рубль. Эти на рубль сделают, а что сделают, суди сам; не похваляются.

— Люб ты мне, город Рязань!

Он шел с торгу вдоль Лыбеди; за Скоморощенской горой садилось солнце. Длинный седой старик окликнул его:

— Эй, сыне, не коня ли покупаешь?

— Не! — усмехнулся Кирилл. — Своего продаю.

— А чего просишь? — привязался старик.

— А ты моего коня видал ли?

— Я, сыне, стар, знаю: у такого доброго молодца и конь добр.

— По чем судишь?

— Добрый молодец — добрый воин. А в бою много коней ждут всадника. На хлябивой кляче ты нешь поскачешь.

«Ну, а что мне? — подумал Кирилл. — Продам! Рязань, теперь вот она».

Он повел за собой старика и, только положив в пояс деньги, удивился: «А я ведь и впрямь коня-то продал! Выходит, приехал домой!»

Еще день не погас, а уж Кирилл ходил, расспрашивал:

— Гдей-то тут в Затынной слободе огородники?

Ему показали дорогу.

— А не слыхали, есть там Горденя?

— Это — у которого белая капуста?

— Он самый.

— Есть там такой. С того краю второй дом будет.

— Ладно!

На другой день Кирилл собрался к Гордене. Он сунул в суму коломенскую сулею, намазал салом сапоги и, удивляясь своей робости, пошел к огородам.

Тут было хорошо. Низко, близко к реке. Лыбедь текла, поросшая широкими листьями кувшинок. Воздух был свежий, пахло землей и ботвою. За тынами тянулись гряды. Пушистыми зелеными хлопьями сугробилась над грядами ботва моркови. Пунцовыми жилами на плотных и скользких листьях темнела свекла. Кирилл подивился было пустым грядам, но там спел лук, золотясь бронзовой чешуей, и серебряный чеснок. Подале лежало поле, там вразвалку росли огромные голубые кочаны капусты.

Между гряд стояли обширные кади с водой.

Кирилл вошел в огород. Навстречу ему двинулся смуглый черноглазый человек, и в его бровях или в переносице, или в ушах было какое-то переползающее, как тень, сходство с Анютой.

— Тебя Горденей зовут?

— По капусту, что ль? Обождать бы надо с недельку.

— Капуста капустой. А мне Анюту повидать надо. Сказывали, она тут, у тебя.

— У меня.

— Как бы ее кликнуть?

— А зачем?

— Из Коломны я. Наказывали об доме сказать.

— Мне скажи. Она мне сестра.

— Самой надо.

— Самой нет.

— Где ж она?

— К вечеру будет.

— Ну, я зайду.

— А ты скажи, я ей передам.

— Сам скажу.

— Беда, что́ ль, какая?

— Нет, беды нету. А наказывали ее спросить. Там баба одна.

— Постоялка, что ль?

— Не, соседка. Там об ней у соседки справлялись. Ну, дело бабье, — наказала: скажи, мол, ей, скажи самолично.

— Это уж не анафем ли ее пришел?

— Может, и он, не знаю.

— А чего ему надо? Ведь монах!

— Он теперь расстрига. Своим трудом жить удумал.

— Значит, он и приходил?

— Не знаю.

— Ты ж сказал: расстрига.

— Это так. А он ли приходил, не ведаю.

— Пришел ей сказать, а что сказать — не знаешь? Что-то я не пойму.

Кирилл подумал, что запутался. А Горденя, помолчав, решил:

— Ты лучше не приходи. Не сбивай бабу. Сколько годов томилась, стала затихать, а ты опять разбередишь. Не ходи лучше. Скажешь в Коломне: не нашел, мол, нету. Идем, капусту посмотришь.

— А она не придет?

— Нонче, может, и совсем не придет. У ей в городе кума заболела, позвала по дому доглядеть. Может, задержится. Вот, глянь сюда: хороша?

Белые кочаны лежали, словно витые серебряные чаши, в синеватых листьях. Желтоватые шары, гладкие, буд-

то смазанные маслом, поблескивали на осеннем солнце, крепкие, как костяные.

— Чем это ты их так выходил?

— А! Сам дошел. Она тепло любит, а пьет, как лошадь. Только пои. Так я ей теплое даю питье, не из реки, а из кадей. Вода за день согреется, вечером — пей. Вот она у меня и такая. У меня тут многие перенять норовят, да никак не доменкнут, как это я водой ее ращу, не верят; тут, мол, какое-то другое дело. И ничего у них не выходит. Надо любить дело, тогда его и поймешь. А поди морковь у меня глянь. Видал такую?

Кириллу хорошо было ходить по этой земле, где еще утром ступала Анюта, где на влажной земле не ее ли виден узкий след.

— Много у тебя народу пособляет?

— А где его брать, народ? Нешь это Москва? Мы в походы не ходим, пленных не имаем. Отколь нам руки брать? А были б руки! У нас пару коней дешевле купить, чем одного полоняника.

— Да Рязань ведь воевала.

— А ты слыхал, чтоб мы пленных брали? То сами в полон идем, то полон на свой размен спущаем. Мы, брате, не Москва. Наш Ольг голову высоко несет, а дело стоит.

— Место у вас такое. Промеж Москвы и Орды.

— Да уж либо к одним, либо к другим бы прислонялся.

— А ежли б он к татарам прислонился?

— Ну, я б в Коломну пошел.

— Весь народ в Коломне не уместится.

— Я про весь народ не скажу. Он сам о себе знать должен.

— А народ — это нешь не ты?

— Ты что-то тут плетешь! Это на сытый живот с тобой говорить надо. А я еще не ужинал.

Кириллу показалось, что Горденя обиделся. И решил уйти.

— Ты все ж Анюте скажи: приходил, мол, человек из Коломны. Желал ее видеть. Пускай завтра подождет.

— Скажу, ладно. Только чтоб об том человеке промеж вас разговору не было. Такое мое слово.

— Про того я ей ничего не скажу. А ты ей скажи: был, мол, человек из Коломны. Пускай ждет. Надо с ней самой говорить.

— Чудной человек! Ладно. Приходи завтра.

Кирилл ушел. Осталась одна лишь ночь без нее. Только одна. Но не будет ли ночь эта длиннее всех прошлых лет, тяжелее пути, пройденного за эти годы? Она началась уже сейчас, пока светило осеннее белое солнце. И кончится она не раньше, чем солнце снова взойдет.

Двадцать первая глава

МАМАЙ



Мамай проехал мимо ханских садов. Поверх зеленого седла сверкал его алый халат. Желтые сапоги прижались к серебристым конским бокам.

Окруженный выбеленной каменной стеной, сад тянулся долго. Мамай искоса заглянул туда с высоты коня. Сад простирался, как водоем, полный синевы и лазури. Ветви, уже освобожденные от плодов, качались, и шелест листвы заглушал жалобную женскую песню. Как золотые рыбы в глубине струй, где-то шли там и пели ханские жены. Не знали, что вдоль стены по тропе проезжает Мамай, которого боялись все.

Там, в глубокой тени, шла ханша с бровями, похожими на вскинутые крылья стрижа. Мамай однажды застал ее лицо врасплох, когда, привстав на стременах, заглянул в сад. Теперь не привстал: сзади следовали начальники войск, он ехал говорить с ханом о русских делах, о походе и хотел, чтоб люди видели, как равнодушен Мамай к сокровищам хана. Но глаза косились поверх надменных стен и ухо внимало шорохам и смутному плачу песни.

К воротам сбежались воины принять Мамаево стремя, но он круто повернул коня в ворота, и стража угодливо распахнула их перед ним.

Не сгибаясь, Мамай въехал во двор, и так же, не сходя с седел, въехали за ним всадники.

Со смирением надлежало Мамаю войти в ханский дом. Смиренно объяснить позор Бегича. А Мамай въехал победителем и остановил коня среди цветов и фонтанов. Начальнику ханской стражи приказал:

— Сообщи!

И пошел к дому, как к себе домой.

Весть о Воже радовала хана. Хан был поставлен Ма-

маем, обязан был помнить о том, и потому ненавидел Мамая. Хан думал:

«Разгром на Воже смирит гордеца. Убыль войска — убыль Мамаевой силе. Позор унизит и ослабит Мамая и возвысит и укрепит ханскую власть».

В саду под высокими резными столбами террасы сидел хан. Высоко над ним к цветистым узорам потолка ласточки прилепили гнезда и пели, готовясь в далекий осенний перелет. Хан любил птиц. Ноги, зябко поджатые, он покрыл золототканым халатом. Длинные глаза исподлобья следили, как дерзко шел к нему, мимо стражи, Мамай. Круглые, прозрачные, мышиные уши хана оттопырились; розовый тюбетей, глубоко надетый на голову, покрывал круглый лоб. После приветствий Мамай опустился на ковер и замолчал, выжидая.

— Видим беду, — сказал хан. — Нужен мир. Мир дает сил.

Мамай смотрел: вот сидит хан и рад!

Как пойманный барс, Орда ненавидела Мамая, но покорялась его руке, доколе в руке был меч. Ныне, думали, выпал меч. Меч — это войско, а войско побито.

— Выпал меч? — спросил хан.

— Нет, хан.

— А как?

— Новое войско есть.

Беспокойным взглядом хан оглянул вождей, стоявших вокруг Мамая. Каждого знал, многие из них склонялись на сторону хана, но все стояли, робко потупив взгляд. Лишь Мамаев пес — генуэзец — позади других ворочал круглыми, совиными глазами. Была и в этом Мамаева дерзость: являться к хану со своим рабом. Не ему ли внемлет Мамай, кидаясь опять на север, когда ласточки уже кличут в теплые края?

— Иным есть нужда ослабить Орду. Не слушай их.

Мамай не понял, о ком сказал хан, и смолчал. Но нахмурился: Мамай не просил у хана советов, сам разбирается в своих делах. Сам знает свой путь. Если б Вожа не пресекла Бегичева пути, если б Москва пала, пал бы и хан, ханом бы стал сам Мамай. Ныне ж нет сил валить хана, и хан осмелел: судит, будто и впрямь правит Мамаем.

— Надо немедля напасть на Москву. Поход даст победу; победа ж не ослабляет.

— Тебе дана сила Орды. Но силе нужен ум. Смотри ж! — сказал хан.

«Учит! А как будет рад, если Мамай покорится и не пойдет в поход. А как будет рад, если пойдет и падет. Не дам ему меда, дам горечи».

— Пойду и возьму Русь!

Хан угощал туранскими дынями. Зеленая мякоть благоухала, как розы. Сок освежал, и слова складывались в ласковую и медленную речь, словно их пропитал густой дынный сок. Так и следовало беседовать под сенью ханского сада. Мамай говорил, словно, запрятав в рукаве плеть, ласкал ребенка.

Вдали, за деревьями, мелькнули женские одежды. Жены хана станут Мамаевыми женами, когда лезвие скользнет по ханскому горлу. И прежде всех ханских сокровищ Мамай накроет ладонью брови, вскинутые над висками, как крылья стрижа.

Осторожным взглядом Мамай проверил, в доверии ли у хана Пулад-Бугаир, которому Мамай при случае поручит ханское горло. Бугаир сидел слева от хана, заботливо поддерживая полотенце, о которое хан вытирал пальцы, липкие от дынного сока. Но прежде чем Мамай подмигнет Бугаиру, надо встать и победить.

Мамай, благодаря хана за угощенье, кланяясь, улыбаясь, встал.

Ветер раздувал халат. Мелкая дождевая пыль уже студила лицо. Конская спина намокла, и воины сдернули с седла отсыревшее покрывало. Мамай медленно ступил в стремя и, не оглядываясь, поехал навстречу ветру.

Ветер дул с севера. С Москвы. Он нес осень и холод. Он бил навстречу. И Мамай, опустив недобрый бугроватый лоб, хлестнул лошадь. Надо было спешить.

Не хуже ханского высился его дом. Хорезмийские мастера выточили высокие столбы, изукрасили обращенные к саду стены росписью и глазурью. И, словно по запекшейся крови, прошел хозяин войск по коврам. Бернаба шел за ним следом.

Клим подал Мамаю теплый халат, стянул тесные сапоги, пододвинул красные туфли и стал у стены.

Мамай, не оборачиваясь, спросил Бернабу:

— Пойдешь со мной?

— Я боюсь твоей прыти.

— Не надеешься?

— Собери хороших воинов. Обожди, если их нет сейчас; не полагайся на остатки.

— Некогда. Все готово. Воины ждут.

Бернаба взглянул в сад. Рано смеркалось. Покачивались ветви, по листьям хлестал дождь. Если остаться, вдруг забудет о нем Мамай — победит и забудет. Это означало гибель. Что станет он делать один в чужой Орде? Если пойти и Мамай там погибнет, что станет он делать один в лесах Руси?

— Русскому языку учишься? — спросил Мамай, будто понял Бернабову мысль.

— Учусь.

— То-то же!

— Когда мы пойдем?

— Передовых вышлю утром. Днем пойдем все.

Мамай посмотрел на Клима:

— И ты, рязан, пойдешь. Русской речи Бернабу в пути учить будешь.

— Хотел бы сперва свою молитву совершить, хозяин.

— Не запрещаю.

— Благодарю, хозяин.

За долгие годы Мамай привык к этому рабу. Клим одобрительно улыбался, когда Мамай стравливал, как псов, ханских родичей. Клим всегда был на стороне Мамая. Радовался Мамаевым радостям, печаловался о горестях Орды. Ныне, в дни сборов, приготовил хозяину одежду и оружие и припасы в поход.

— Оружие и хозяйство к походу осмотрел, хозяин, — исправно. На кольчуге верх давал перековать, принесли, — искусно выправили.

— Ступай.

Клим вышел и поскакал из садов.

Вокруг города, между садами и на обширных пустырях, стояли кочевые войлочные юрты прибывших издалека, прикочевавших из дальних степей. От юрт пахло кислым молоком, скотом, дымом. Многие высились на широких телегах, готовые в дальний путь; у других стояли лишь решетчатые костяки, и теперь женщины покрывали их широким войлоком. Кое-где варили еду, сгибаясь над котлами. У иных дым поднимался сквозь верха юрт — эти опасались дождя и костер разложили внутри, по-зимнему. Чем ближе был город, тем становилось теснее. Никогда не видел Клим столько людей, толпившихся у го-

родских ворот. Но он горячил коня, и конь расталкивал пешеходов грудью.

Православная церковь стояла невдалеке от базара. Трудно стало пробираться сквозь город Сарай. Улицы узки, народ толпился в них. На крышах стояли женщины. Псы лаяли с крыш. Гнали овец, и овцы запружали улицы. Ехали всадники, жались к стенам пешеходы. Катились на пешеходов и на овец огромные колеса арб. Визжали верблюды. Рев стад, лай, бубны и крики; скрип колес, и ржание, и грохот барабанов стояли над городом.

Чем дальше продвигался Клим, тем тесней и оглушительней волновался Сарай. И уже не коня приходилось хлестать, а толпу, чтоб пробиться. Не будь Клим Мамаевым, не смел бы и в седло сесть, а плеть в руки взять и подавно. Но Мамаеву человеку сходило все.

Вокруг церкви жались глиняные стены русских жилищ; кровли их, настланные плоско, как у татар, либо возвышающиеся каменными куполами, подобными юртам, мало отличались от строений татар. В эти, тихие сейчас, переулки сходились русские люди — купцы, и рабы, и монахи, и служивые люди; одни молитвами, другие русской беседой умеряли тоску по родине. Их в Орде было много.

Орда ткала шелковистые ткани, привозила шелка из Китая и из Ирана, мяла кожу, холила сафьян, нежную юфть, добывала краски, ковала мечи, пряла шерсть и сбывала свои товары на север, на полудень, на закат. И русские купцы скупали на ордынских базарах, вьючили на верблюдов, направляли и степью, и Волгой в свои города дорогие степные товары. А торг не шел без приказчиков, без попов, без слуг. Всяких сословий русские люди теснились в Сарае.

Клим прошел в церковь. Теплилась лампада перед образом Дмитрия Солунского. Во имя Дмитрия Солунского наречен Московский князь Дмитрий.

Клим посмотрел на святого, восседающего на княжеском троне с мечом в руках. Недобрый взгляд скошен на врага, и рука осторожно вынимает меч из ножен. Знали на Москве, чьим именем наречь русского князя! И Клим набожно перекрестился на образ.

Он кланялся, пока вошел и опустился на колени широколобый горбоносый поп. Тогда Клим встал и подошел к попу, прося исповеди.

Они отошли к черному уединенному налою; там, стоя под широкой, как у воина, поповской ладонью, Клим рассказал о чаяниях Мамая, заутра собирающегося в поход на Русь.

Когда Клим пробирался назад сквозь городскую давку, боковыми проулками скорый монах уже торопился навстречу северному ветру.

На окраине ряса мелькнула в тени одинокой лачуги. Сумерки сгущались, сутки перекатили в ночь. Но, видно, зорок был человек, который вывел со двора лачуги коня и погнал его вскачь в ту сторону, где небо еще отливало зеленоватым туманом холодной зари.

А когда заря забрезжила на востоке, передовые сотни вышли из стен Сарая, и следом за ними, в полдень, кинулся в поход Мамай.

Он сидел, вглядываясь в даль, словно цель была близка. Хлестал коня и тотчас осаживал его твердой рукой. Но помыслов удержать не мог, и они, опережая его, опережая передовые отряды, опережая ветер и слух, рыскали по ордынским степям, как волки, мчались, как белки, сквозь русские леса, перелетали реки и броды, как птицы, стремясь скорее, скорее удариться грудью о каменные стены Москвы.

Двадцать вторая глава

ОЛЕГ

Олег сидел в седле чуть наискось, левым плечом вперед. Расшитая белым узором, красная попона покрывала конские бока, тяжелая бахрома свисала до колен коня — татарское изделье либо аланское. Олег возвращался из монастыря.

Пусть у Дмитрия есть за Москвой Троица в глухом лесу, в дебрях. Троица темна и сурова. Олег выбрал высокий берег над светлой Солотчей, где над песчаной кручей высятся необъятные сосны, где в дубовых рощах теперь, на осеннем пролете, собираются стаи звонкоголосых птиц. Тихое струение реки, шелест рощ, птичий доверчивый переклик — там все славит жизнь, и Олег поставил в том месте монастырскую церковушку, а для себя теремок, чтоб было где уединиться от забот, а когда-нибудь, может, и жизнь завершить перед широким простором тишины и мира.

Он возвращался из любимых мест, и подсушенные ночным заморозком травы похрустывали и ломались под бодрой поступью коня. С Олегом ехали немногие отроки из дружины да двое родичей. О ту пору, завершающую летнюю страду, все разъехались по своим уделам собирать оброки и подати, и Олег не задерживал никого. Битва прошумела на Воже, тучу пронесло стороной от Рязани, и теперь все сулило спокойную, надолго мирную жизнь.

Холод воздуха такой, что видно дыхание; белая трава над черной землей; пылающая желчь лесов и синева неба впереди — осень, синевой и силой осенившая каждого человека, уставшего от летних тревог.

Когда высоко на поляне поднялись городские стены, Олег выпрямился в седле, и спутники его подтянули поводья. Олег сидел в седле легко, и конь ступал легко. Рязанская земля постукивала под резвым копытом. Проехали огороды, где на грядах еще лежали синие комья кочанов, и молодая женщина с рябиновым ожерельем на шее приложила руку к глазам, вглядываясь в нарядную дружину, но тотчас запахнула лицо платком и, кланяясь поясно, пропустила великого Рязанского князя. Лишь рябиновое ее ожерелье свесилось из-под платка, и Олег покосился на него пристальным горячим взглядом.

Он проехал под темным сводом Духовских ворот и заметил иней на серых бревнах стен, куда еще не добралось солнце, и лазоревый шелом неба в арке ворот. Князь искоса оглянулся, склонили ль спутники головы, проезжая ворота. Следовало головы склонить не потому, что свод ворот низок, а из почтения: велика честь вступать в город Олега.

Князь повернул коня по узким улицам. Встречные жались к стенам, кланяясь ему, дивясь ему, чтя его, но он смотрел вперед на частые повороты улицы, на красные карнизы над серым дубом строений, кое-где за заборами — резные столбы крылец, кое-где чешуйчатые острия церквей и размалеванные верха теремов. Резко из-за стен вспыхивали осенняя листва да черные ветви уже оголенных берез. Изредка вскидывалась воронья стая и уносилась прочь с граем и шелестом.

Дружно поднял Олег свой город из пепла. Едва минуло пять лет, а уже потемнели дубовые рязанские стены; кому было строиться, построились разом, никто не хотел отстать. Только из слобод еще доносились стуки топоров

да возгласы плотников. Да и там торопились достроиться до холодов. Снова стоит город, словно и не было беды. Много на Рязань легло дубов, безотказно давал их Олег своему городу, поредели рощи по-над Трубежом и по Оке-реке. Теперь вся дубовая стоит Рязань.

«Крепка! — помыслил Олег. — Дуб год от года крепче становится».

А спутники, едучи позади, скинули на седла дорожные армяки и чванились дорогими кафтанами перед сотнями глаз, отовсюду — из домов, из щелей, из ворот — провожающих Олега. Когда он въехал на княжой двор, его удивило, что челядь толпится у крыльца. Быстрый глаз тотчас приметил потную, грязную лошадь без седла с татарским тавром на крупе.

«Чей степняк?» — но не спросил: негоже домой вступать с вопросом, будто чужому. Еще отроки не ухватили повод коня, а Олег уже сошел, осторожно ступая на больную ногу. Шестой год рана не заживает, а великому князю не честь хромать. Чтоб не хромать перед народом, норовил с коня сходить у самого крыльца, а в седло вскакивал сразу с порога. Руку б ссекли, не столь бы горевал — шрам на лице, рука ли, ссохшаяся от раны, украшают воина. Нога — не то, князю надлежит проходить между людьми гордо, легко: не к лицу великому князю прыгать, как воробью. Чтобы сгладить свою поступь, Олег, шагая, выпрямлял грудь, высоко вскидывал плечи и не видел, что хромота его от этого усугублялась в глазах людей. Часто приходила досадная мысль:

«Вон Дмитрий из битв невредим выходит».

Однажды боярин Кобяк подольстился:

— А мнится мне, княже, Дмитрий-то трусоват: в походы ходит, а ран не имеет.

Но сам-то Олег знал: Дмитрий не бережется. Оттого и сам всегда в сечу лез, опасался, не дошло б до Дмитрия, что Рязанский, мол, Олег оробел. А небось рад бы Дмитрий сказать: «Князь Ольг робок».

— Нет, Дмитрий Иванович, не дам тебе сих слов молвить!

Молча Олег вошел в сень терема.

— В гридне, княже, гонец ждет.

— Чей?

— Ордынской.

— Пущай. Сперва омоюсь.

— Бает: весть велика.

— С Орды-то? Обождет!

Отрок лил князю воду из ордынского медного кувшина, и вода будто пела, струясь в чеканную лохань, касанье струи о медь рождало звон, похожий на дальнюю песню. Хотелось ее слушать, не расставаясь с теплой струей.

Раздумывая, утирался холщовым рушником: чего может быть с Орды? Побита, опозорена — не скоро ее голос заговорит русским ушам, да и заговорит ли? Не пожелают ли отныне жить с нами в ладу, проложить твердый рубеж, каков был встарь с половчанами? Не о том ли и весть? Едут, мол, дружбы твоей искать. Вот и выйдет, что чужими руками Рязань ордынский жар загребает. На Москву злы, а с Рязанью сдружиться вздумают.

Он сел на широкой скамье, покрытой черным ковром, и рукой, изукрашенной перстнями, разгладил влажные волосы. В дверь всунулась голова Софрония, княжеского духовника:

— Дозволь, княже.

— Вступи.

Софроний был и умен, и скрытен, а от скрытности казался пуще того умен. Вокруг люди сказывали свои думы открыто, мыслили вслух, и многие Софрония не любили: поп, а голова гола, голос сипл. Но ученость подняла Софрония, и зеленый, кошачий глаз косился на Олега, пока сперва образам, а после князю воздавал он честь.

— Ну, отче? — спросил Олег.

— Человек с Орды.

Чего весь дом его торопит? Ниже ли Рязань Орды? Но, уступая Софрониеву слову, Олег послал отрока:

— Кличь!

Оказалось, что гонец уже ждал за дверью; он перешагнул через высокий порог и стал у двери.

Гонец торопливо перекрестился и поклонился князю. Стоял худ, бел. Одежина испылилась, волосы сбились космами. На белом лице лишь рот пылал и язык жадно облизывал воспаленные губы.

— Что у тебя?

Давно рвавшийся к великому князю через ветры и степи, через тишину и мрак лесов гонец едва раскрыл рот, вдруг задохнулся, словно только что добежал. Покраснел, и только губы без голоса выговорили:

— Батюшка государь...

И слова срывались, застревали, присвистывали, то вдруг вскрикивали, то шептали, пока он сообщил наконец о выступлении в поход всех сил Мамая.

— За обиду карать! — выкрикнул напоследок гонец.

— Да на Москву ведь! — возразил Олег.

— За русскую обиду, господине! — настаивал гонец.

— Рязань обиды им не чинила...

Олег быстро вдруг перебил себя самого:

— А Москве о том вестимо ли?

— Одна весть — тебе.

— Кто тебя шлет-то?

— Весть тую на русской двор полоняник Клим донес, Мамаев холоп. От самого Мамая слыхал. А мы сборы зрили.

— Кого же сбирать Мамаю-то?

— Наскреб великое войско.

— Да то ведь поскребыши.

— А тысячев шестьдесят будет. А то и того поболе.

— Ты-то сам кто?

— Твой конник. В Сарае иноческий сан соблюдал для отвода глаз.

— Ну, вели баню согреть. Мойся.

Гонец ушел. Злая радость уже подступала к Олегову сердцу. Вот оно! В Москве не ждут, пируют победу, еще вожский хмель по головам бродит, а уж срублен гроб, что поставит Москва на стол заместо нонешних яств и празднеств.

Князь обернулся к Софронию:

— Вот оно, как побеждать Орду.

— В Москву бы слать надо! — осторожно посоветовал поп.

Олег отвел от него глаза; эти все к Москве гнут, и Евфросинья заодно с ними. Олег быстро отмолвился:

— Сперва помыслить надо: Москве сослужим, а перед Ордой с чем встанем? Свои все в разъезде: урожай сгребают по вотчинам, а московской-то заступы мы не видывали.

— В Москве земля русская! — сказал Софроний. — Гонца можно слать туда, никто о том не сведает.

— А коли тайное да станет явно?

— То от нас.

— То и от гонца. Да и от Дмитрия.

— У гонца — язык короток. А у Дмитрия — ум долог.

Вошел отрок:

— Гонцу где отнонь быть, господине?

— Пущай в дружину идет. Скажет: я послал.

Чуть ссутулясь, Олег встал. Софроний рассеянно следовал за ним.

Прежде чем выйти в сени, Олег ответил:

— Не решаю, отче. Сперва размышлять буду.

И, прихрамывая, пошел к лестнице.

Вот оно! Сломлена голова Орды, а раненый зверь, издыхая, тщится придушить ловца. Оба задохнутся! Тогда встанет Рязань на шеломе всей земли Русской! О нет, он не пошлет гонца в Москву! Пущай Дмитрий пирует, сладка смерть за медовой чашей.

Вверху, против лестницы, Олег увидел лампаду, пылающую перед Нерукотворным Спасом.

Олег уже ступил на нижнюю ступень лестницы, но остановился, запрокинув к иконе голову:

— Благослови мя, боже, мню: волей твоей сотворено сие. Не дерзну стать супротив тя — не вырву чашу у раба твоего князя Дмитрия, не отведу его от карающей десницы твоей, не вложу меч заместо чаши в руку его.

И набожно перекрестился.

Софроний немного постоял, видя, как Олег легко поднялся наверх к Евфросинье, и быстро пошел с великокняжеского двора.

Двадцать третья глава

ДМИТРИЙ



Когда отгремели московские колокола и растаяли ладанные дымы молебнов, когда затихли пиры, отпраздновавшие победу на Воже, когда иссякли вдовьи слезы и приутихли материнские плачи, только тогда тяжесть свалилась с плеч Дмитрия.

Он встал еще затемно. Тихо ложился снег. Слабо брезжило утро. Одеваясь, послал отрока, молодого княжича Белозерского, на двор:

— Пусть коня подведут. Да чтоб скоро.

В это свежее, снежное утро Дмитрию захотелось прогуляться по московским слободам. Он вспомнил: ехали в Сетунь, на охоту, и за тыном у Валуя пела девушка-рязанка про злых татаровей. Вот встретить бы ее сейчас, приласкать, сказать: отомстили татарам за все ее страдания...

Едва звякнула цепь у крыльца, Дмитрий был уже на дворе. Отрок, приминая зелеными сапожками молодой снег, стоял в красном полушубке и в лисьей шапке, поглаживая шею горячего каракового коня.

— Сполнено, государь.

Дмитрий постоял, радуясь свежему запаху снега. На нем был полушубок с беличьей выпушкой, и только короткий меч на красном ремне изобличал в нем воина. Сказал отроку:

— Сбегай за конем себе.

А сам приподнялся на стременах, заправил под себя полы и слегка поиграл конем, рванул, осадил, чтоб чувствовал пад собой руку.

Вдвоем с отроком они проскакали через расступившихся воинов, выехали на Москву, поскакали слободами, малолюдной дорогой к Валуевой вотчине. Из-под конских копыт вырывались тяжелые комья снега, взметались с деревьев вспугнутые стаи ворон, кое-где женщины в ярких шалях пугливо запахивали за собой калитки или взбегали на высокие крыльца — от воинов всякого можно ждать.

Не доезжая Валуя, Дмитрий натянул узду. Отрок позади замер. Дмитрий, сдерживая топтавшегося коня, прислушался: нет, нынче никто не пел за валуевым тыном. Когда скакал сюда, не подумал, что песни может и не быть. Оглянулся на отрока. Княжич смотрел на него, полный готовности мчаться по единому знаку Дмитрия. Лисья шапка низко сползла на узкий высокий лоб мальчика.

Дмитрий шагом проехал мимо валуева тына. Но тын был высок, и двор, сколь удалось Дмитрию заглянуть, пуст.

Улочка отсюда круто спускалась к речке. Так же, шагом, Дмитрий поехал вниз. От реки, словно распятая, низко склонив голову, шла, вскинув на коромысло руки, женщина.

Дмитрий быстро спрыгнул с седла и отдал повод Белозерскому:

— Отведи, отроче, коней в гору да постой там.

И пошел к реке.

Женщина, заслышав скрип снега, остановилась. Тревожно подняла лицо. Все лицо ее было закрыто платком; лишь единственный глаз выглядывал. Длинный, тоскливый, ласковый глаз.

— Воду несешь? — спросил Дмитрий.

— Сам, что ли, не видишь?
— Дай испить.
Она повернула на плече коромысло, и бадья подплыла к Дмитриевым устам. Глотнув нестерпимо-ледяной воды, он вытер ладонью усы.
— А чего ж не колодезную пьете?
— У нас намедни в колодце кот утоп. А освятить не успели. Что ж, нам поганую, что ль, пить?
— Поганую не надо.
— Потому вот и носим.
— А тя как звать-то?
— Санькой.
— Ты рязанка, что ль?
— А почем знаешь?
— Песню твою слыхал.
Она засмеялась.
— Ты чей сам-то?
— Из Кремля.
— О, высоко живешь!
— Я слыхал: пела ты об татарах; сказывают, ты от них натерпелась.
Она опустила голову:
— Довелось.
— Так нету более тех татар. Все за тебя ответили.
— Как?
— Головами ответили. Слыхала?
— Кто ж не слыхал? Мне б хоть издали Митрия-то Ивановича увидеть. В ноги бы поклонилась.
— Митрий об тебе знает. Слыхал. И велел сказать: «Будешь по Кремлю идти, пой, как в праздник; не бойся».
— Чудная речь: будто обо мне говоришь, а будто не со мной.
Она пригнулась, поставила бадьи в снег и встала, глядя на Дмитрия.
— Чего те надо-то? Не пойму.
Дмитрий подумал, как хотелось ему поехать к ней прямо с битвы, обрадовать, одарить, сесть возле нее и попросить ее песен; о ее песье помнил, стоя на Воже. А теперь не знал, что еще ей сказать.
— Дай пособлю ведра поднять.
— Расплещешь. Я сама.
— Ежели приду, споешь тогда?

— Лучше петь, чем плакать. Потому и пою. А доведется те увидеть Митрия-то, поклонись ему. Да ему невдомек будет, от кого тот поклон.

— Ну что ж. Поклонюсь... прощай.

Он вышел в гору. Когда сюда ехал, думалось, радостно ему будет прервать ее песню, крикнуть ей через тын:

— Пой веселей. Теперь некому тебя обижать! — и проехать дальше.

А вышло не то.

Они возвратились в Кремль.

У крыльца стоял без шапки незнакомый, постыдно лысый поп с позолоченным крестом на шее.

— Откуда такой? — удивился Дмитрий.

— Дожидаюсь тебя, государь, из Рязани! — после приветствий сказал Софроний, поднимаясь вслед за князем на разрисованное алыми полосами высокое крыльцо.

— А чего?

— Беда, государь! Без устали до тебя скакал: к нам весть пришла, будто Мамай на Москву собрался.

Дмитрий остановился.

— Откуда? Давно ль я их отогнал?

— С Орды на Рязань гонец прибыл. Говорит: идут.

«Опять? Готовиться? Биться? Успею ли?»

— Это Ольг, что ль, тебя прислал?

— Нет, государь. Ольг не слал. Я сам.

— Чудно! Эй! — крикнул он Белозерскому. — Погоди слезать! Скачи, отроче, до князя Боброка. Ежли дома захватишь, чтоб немедля ко мне. — И обернулся к Софронию: — Ты поп, что ль?

— Ольгов был духовник.

Перегнувшись через перила крыльца, крикнул во двор:

— Яклев!

— Тута, государь!

Дмитрий приказал разослать по боярам:

— Чтоб живо сюда сбирались!

И возвратился к Софронию:

— Вон оно что? А чего ж сюда прискакал?

— Государь, земля-то Русская не ждет ведь беды. Может, упасем ее от беды-то!

— Увидим! Шапку надень. Волосом-то ты не вельми богат, а нонче студено.

— Вон ты какой, государь!

Дмитрий засмеялся:

— А какой же еще?!

— Рад бы тебе служить, государь!

— Иди, я тебя кликну.

И велел воину проводить рязанского попа на покой. Но сам не был спокоен, пока не увидел во дворе Боброка на черном, покрытом белой пеной коне.

— Дмитрий Михайлович!

— Знаю, знаю. Отрок твой поведал. Успеем, сберемся. Что ж мы, дурее Орды, что ли?

— Да тяжело ведь. От Вожи плечи ноют, а тут опять...

— Коли плечи ноют, знать, голова цела... С Коломны Московские полки идут, так я уж послал — вернуть их назад в Коломну. Успеем, Дмитрий Иванович.

Когда все собрались, вызвали Софрония, и Дмитрий и бояре выслушали его. Поп повторил свою весть и вдруг горячо, торопливо, словно боялся, что кто-то прервет, рассказал о Рязани, об Олеге, все, что накопил в себе.

Дмитрий спросил Тютчева, собравшегося уже уходить, когда совет кончился:

— Ты, боярин, я чаю, татарскую молвь разумеешь?

— Говорю по-татарски, государь.

— Будь готов. Может, поехать туда понадобится.

— Рад порадеть, Дмитрий Иванович. Я вот давно сбирался сказать. Намедни ко мне из рядов купцы приходили: скажи, говорят, государю. Ежели надо будет в чем татар перешибить, пущай: мы казны для того не пощадим. Очень, говорят, велико от татар притеснение торгу.

— То давно знаю. Вызволим Русь, им легше станет. Но иное тяжко: Орда города наши жжет, народ гнетет, а мы ей за то дань платим. А деньги и без купцов есть: дань-то татарам с народа собираю я; отседа и деньги, чтоб татар бить.

Тютчев быстро сошел с крыльца. Пока сидели у Дмитрия, непрочный осенний снег стаял, а теперь, к вечеру, земля опять начала леденеть и громко хрустела под скорыми легкими шагами.

На переулке Тютчев остановился, еще не решив, идти ли вниз — к дому, свернуть ли в собор — отстоять вечерню.

Тютчев ступил на белые ступени коренастого Спаса, и тотчас перед ним поднялся лохматый круглоглазый ста-

рик и, протягивая вперед длинные скрюченные пальцы, крикнул:

— Остановись, боярин!

Тютчев подумал: «Юрод? Блаженный?»

Ими полна Москва, они на всех папертях и во всех дворах. К ним нисходили милостиво, ибо, кроме милости, для них не было ничего ни в Москве, ни по всей Руси. Калеки, старцы, старые воины, погорельцы и сироты — все шли к церквам, к монастырям, к харчевням.

— Чего тебе?

— Боярин! Глянь на мою наготу, на убожество, на старость! Глянь — мне легче будет. Легче будет, что хоть один из вас видит сие!

Тютчев разгневался: ему хотелось в соборной тишине постоять и обдумать предстоящую поездку в Орду, а тут какой-то юрод лезет со своими болестями. Он нетерпеливо шагнул на вторую ступень и протянул старику полушку:

— Помолись, старче!

Но старик ухватил черную полу Тютчева:

— Постой, постой! Дай досказать!

— Чего тебе?

— Я с самой Вори-реки шел. От Троицы. Еле дошел. Дай, думаю, московского боярского слова поищу, может, хоть в Москве, думаю, правду скажут!

— Говори! — насторожился Тютчев.

— Убога Москва.

— Москва-то убога?

— А не золотей нашего Шеренского леса. Град выше, а нужда глубже. Глянь: сколько тут нас — юродов, калек, на морозе, голых и сирых. Избы тут велики, а видал, как в тех избах дети корки грызут, как лебеду мякиной заедают?

— А где ж того нет? То от бога. Был богатый Лазарь, а другой брат — бедный Лазарь.

— Я троих сынов вырастил. Первый с Дмитрием на Тверь ходил. Там пал. Второй со Смоленска пришел — ногу на ремне приволок. Вчерась с ним судили, как дальше быть. Он тут первый день на паперти подаянье просит, а я прошел стороной, сейчас глянул — подают ли? Много их; где ж их всех обмилостивить! Третий сын на Воже бился. А слуху нет: жив ли, там ли зарыт? Ты ска-

жи: чем меня ныне князь Дмитрий Иваныч наградит? Чем? По правде скажи!

— А чего тебе надобно?

— С нас ныне игумен монастырщину требует. Монастырские мы; на монастырской, на игумена Сергия земле пашем. Надо хлеб отдать, надо денег дать. Сергий-то говорит: «Вас, говорит, четверо!» — «Нас, говорю, я один».— «А тогда с земли уходи, такой деревни под дряхлым старцем, говорит, не оставлю. Иди, говорит, к нам в Троицу бога славить, а землю я другим отдам». А я ту землю сам от леса поднял, сам выжигал, сам корчевал. А теперь — отдай!

— В монастырской земле государь не волен. Там монастырь хозяин!

— Да бедствие-то мое от князя, от его войн!

— Исстари так велось — народ вместе с князем тяжесть войны на себя приемлет.

— С князем? А игде ж на нем тяжесть? Нонче поутру на него глядел — с вьюношем на конях верхами промчались. Ничего себе князь — сыт, румян, дороден. А я? У него на коне цепка позлаченная, а меня впору на железную посадить, как волошского кобеля. Зол я, голоден, черен. Посади, боярин! Я за похлебку каждому горло перегрызу, кому скажешь.

Тютчев взглянул в мокрые стариковы глаза и повернулся прочь от собора. Он пошел быстро, но старик опять поймал боярина за кафтан:

— Постой, боярин! Что ж ты молчишь?

— Некогда мне.

— Я, что ль, один такой? Ты всем ответь!

И, обернувшись к собору, крикнул:

— Братцы! Подьте сюды! Боярин ответ дает!

От Спаса рванулось несколько человек. Тютчев увидел их позеленелые в сумерках лица, их смрадные рваные сермяги, космы волос и одичалые безрадостные глаза.

Он резко выдернул из стариковых ногтей свой легкий кафтан и схватился за рукоять сабли:

— Отстань!

Старик от его движения поскользнулся. Тютчев пересек площадь и торопливо вернулся на княжой двор.

— Боярина Бренка не видали?

— Еще у государя! — ответили караульные.

Но Бренко уже сходил с крыльца, радостно вдыхая чистый морозный воздух.

— Михайло Ондреич! Дело к тебе. У Спаса на Бору смерды попусту языки чешут. Ты б ими занялся.

— А чего ж! Сейчас пошлю. У меня это скоро!

— А то чего ж потакать им?

— Я про то и говорю: ко всенощной пойдешь, ни одного не увидишь.

— Обступили меня, за кафтан царапают, государя хулят!

— А у тебя, что ж, сабли с собой не было?

Тютчев застыдился: сабля была, а сбежал.

Он смущенно распрощался с Бренком, слыша, как Бренковы ребята уже пошли тихой ватагой в сторону Спаса на Бору.

Двадцать четвертая глава

МАМАЙ



Степи туманились сентябрьской мглой.

Порывы ветра обрушивались вместе с дождем.

Седла не просыхали. Кожа липла, с оружия свисали капли дождя.

Когда проглядывало солнце, от коней и от одежд поднимался пар.

Снова Орда шла в поход.

Встречались торговые караваны. Вожаки завистливо кричали воинам. Охрана караванов просилась назад, в конницу: всякому хотелось добычи.

Из Москвы в Сарай задешево шли на горбах верблюдов тяжелые московские товары; в тяжелых тюках покачивались лесные меха. Задорого шли в Москву из Сарая кожи, ткани, оружие, серебряные прикрасы красавицам. Шелка и ткани из далеких стран Орда перепродавала Москве с изрядным барышом: не зря стала на торговых путях в Китай, и в Туран, и в Иран, и в Крым, и в Византию.

Встречались широкобородые, широкотелые русские купцы. Смотрели на ордынские войска молча из-под кудлатых бровей. Быстроглазые странники останавливались, опираясь на посохи. Неразговорчивые монахи сурово отворачивались, словно походы, войны и мирские страсти тек-

ли мимо их глаз, как горький дым. Они шли в Орду старым торговым шляхом и показывали пропускные грамоты. Их задерживали и под присмотром отправляли в глубь Орды.

Бернаба, гордясь своей русской речью, заговаривал с ними:

— Аз усретоша вы и рекем: смири крутодушие; тебе плакатись подобаеть, да прощен будеши. Отныне ты есмь не русь, но татар. Овча, пребывая в стаде, не врежена будеть. Русь же покончена есть.

Но мало кто откликался на его речь. И отвечали ему непонятно, словно у русов был другой язык.

Бернаба говорил Мамаю:

— Допросил встречного. Глуп, груб. Русской речи не разумеет. Говорит, словно тщится свой язык сжевать.

Степью шли по древнему обычаю, раскинувшись на многие версты вширь. Так саранча наползает на посевы. Так движется в черном дыму степной пожар.

Но, достигнув лесов, Мамай приказал идти в тишине, обрыскивая обочины, таясь русского глаза: надо было не дать Москве опомниться, навалиться на нее врасплох. Прежде не береглись. Ныне — иное время.

Лошадь Мамая, согретая тяжелой попоной, гордая своей аравийской кровью, порой, словно чужих коней чуяла в лесу, ржала, и лесной гул откликался ей протяжным ревом. Мамай хлестал ее по голове, заставляя молчать. Она вскидывалась, но он крепко сидел в седле.

Мамай вел неутомимо. Переходы бывали долги, стоянки коротки.

Русский сентябрь обдавал их дождями и холодом. На ночь Мамаю ставили белую, расшитую тамгами юрту. Ковры пахли теплой степной травой.

В конце сентября днем они миновали Вожу — выше тех мест, где за месяц до того полегли золотоордынские воины, где по лесам еще бродили одичалые татарские лошади. Вечером воины поставили юрту. Клим внес одеяла. Москва приближалась, заутра предстоял большой и стремительный поход.

— Миновали! — сказал Бернаба. — Но надо бы было набрать больше людей.

— Откуда?

Бернаба побледнел. Мамай улыбнулся: чем больше

проливал он кровь, тем чаще отливала кровь от лиц собеседников.

— Не бойсь. Хватит.

— Если нас не ждут.

— Не смекнут ждать. О шахматах не скучаешь?

— А ты хочешь играть, хан?

— Еще не хан. Ступай спать.

Но Бернаба медлил.

Клим внес ужин и, опустившись на колени, расстелил на ковре скатерть. Воин, опершись о хвостатое копье, вошел охранять выход. Мамай весело сказал воину:

— Ну, видел, Вожа узка.

— Многим она выше горла! — ответил воин.

— Что?! — оторопел Мамай.

Но воин не смотрел на него и молча оправлял ремни панциря. Клим, расставляя еду по скатерти, вслушивался в их разговор.

— Что ты сказал? — подступил Мамай.

Воин спокойно ответил:

— Я пожалел тех, кому Вожа стала выше шелома. Они бы среди нас были кстати.

— Смел ты. Но смелость твоя от страха.

Воин ничего не ответил, и Мамай, помолчав, отпустил его.

Вслед ему Бернаба сказал:

— Мне это не нравится!

— И так бывает в походах.

— Что ты несешь Москве?

— А что бы ей ты принес?

— Приказал бы: срыть начисто город. Церкви пожечь. Иконы и книги пожечь. Русские бы песни запретил: пусть поют по-татарски. Монахов научил бы корану. Русов угнал бы в глубь степей. Женщин их отдал бы татарам — пусть татарчат рожают. Пусть забывают свой язык. Татар поставил бы торговать товарами русов. Так Русь станет Ордой. А когда станет Ордой, двинемся дальше. Задавим весь мир. Мамай станет превыше Чингиза. Это просто и крепко.

— Хорошо думал. Ты, вижу, совсем татарин.

— Да, когда хочу, чтобы ты стал выше Орды.

— И ты рядом со мной?

— С тобой!

— Ты прав.

За юртой во тьме неистово заржал конь.

Они легли.

Мамаю думалось, как он кинет могучий вал конницы на врага. Как следом пошлет второй вал. Так он сломит врага. И во главе третьего вала ринется сам. Путь раскроется. Вся страна ляжет, как перед Батыем, до самого Ледяного моря.

Захлебываясь, заорал осел. Надо бы осла угомонить, но не хотелось двигаться и распоряжаться о том.

Бернабе было уютно лежать. Но сон не шел. Он знал, что Мамай не спит — слышно было его прерывистое дыхание.

Генуэзец думал:

«Вдруг переломится Мамаев клинок? Вдруг споткнется серебристый Мамаев конь? Кто тогда поднимет меня из дорожного праха? Моя судьба — Мамай».

И он слушал дыхание своей судьбы, когда вдруг ковер, закрывавший вход, откинулся.

Вошел, держа полыхающий светильник, мурза Таш-бек. Лицо его пылало и трепетало, обагренное светом.

— Что ты? — Мамай приподнял голову.

— К тебе, князь.

Таш-бек вдруг оробел и заговорил издалека:

— От бессонниц и от ветра глаза наших воинов красны. Мы идем торопливо и тайно, как воры.

— Так надо.

— Воины скучны и суровы. Вокруг костров молчат. Если разговаривают, когда я подхожу, смолкают.

— Говори.

— Я спросил: почему? «Мы,— говорят,— идем быстро и тайно, как воры. Значит, Мамай боится».

— Бараны.

— Они не идут дальше.

Мамай вскочил:

— Ты впереди всех, если несешь плохую весть. Рад?

— Князь!

— Ты позади всех, если надо спешить для дела. Как они смеют?

— Спроси их сам.

Мамай торопливо натянул сапоги и вышел.

Пылали костры. Розовые сосны вздымались в черное небо. Воины стояли вокруг огней. Все молчали. Мамай один спрашивал их:

— Боитесь?

Они молчали.

— Ни один не вернется, если свернет с дороги. А дорога наша через Москву.

Они молчали.

Тогда Мамай кивнул сотникам. Сотники закричали, свистнули плети. Но ни плети, ни уговоры не смогли сломить робости у золотоордынских войск, прежде бездумно и радостно кидавшихся в любую битву.

Мамай приказал выбрать самых упорных.

— Чтоб вам не страшно было в бою, я сам порублю вам головы!

В костры побросали дров, и пламя поднялось выше. Самых старых приволокли к огню и кинули на колени. Они отвечали:

— Своя сабля сечет легче. Секи!

Мамай растерялся и понял: непобедимое воинство Золотой Орды охвачено страхом. А страх сильнее смерти. В глазах воинов текла Вожа, и Вожа казалась им черной от татарской крови и живой.

Поставленным на колени, уже склонившимся перед смертью он приказал:

— Встать!

Он ушел в юрту.

Начальники тысяч торопливо сошлись к нему. Он знал: великое торжество охватило многих из них.

— Говорите!

Они медлили заговорить, они хотели сказать: не время идти в поход — осень. Надо управиться в хозяйствах, в стадах, в садах. Надо вернуться в Орду, отдохнуть, окрепнуть, излечить страх, как лечат болезнь. Но разве посмеешь это сказать?

— Говорите, пора!

Они молчали. В эту ночь говорил он один:

— Вы скажете — назад?

Он вдруг вспомнил мышиные уши хана и высокие брови ханской жены.

— Нет! Дороги назад нет. Вернемся с добычей, с победой. Бояться Москвы?! Идите, скажите: пусть ложатся спать. Пусть крепко спят. Утром я поведу их к добыче. Без победы возврата в Орду нет.

И когда удивленные тысячники собирались повернуться к двери, Мамай крикнул:

— Мы ломали копыта коней и набивали мозоли на

своих задах даром? Каждому из нас надо немного золота и побольше рабов. И вы это возьмете.

Он видел, что глаза их повеселели. Ночью этот блеск разгорится в пламень, и утром их сердца запылают жаждой битв и жадностью. Он знал людей.

Когда все ушли, когда и сам он лег и завернулся, его опять охватила ярость. Он комкал одеяла, грыз их, рвал.

Бернаба молчал, но слышал.

За кошмами юрты тихо топталась стража, и под подошвами воинов похрустывала обмерзшая трава. Но Мамай затих.

Удивленный Бернаба приподнялся и взглянул на князя.

Мамай лежал, запрокинувшись навзничь, стиснув скомканные одеяла, с перекошенным и полуоткрытым ртом. Сон, как стрела, сразил его внезапно.

Бернаба долго не мог уснуть и внимательно разглядывал опрокинутого сном Мамая.

Пусть вся Орда спит, безучастная к грядущему дню, Бернаба не безучастен. Свой грядущий день он силится разгадать, обдумать.

Когда на рассвете принесли кумыс и воду, за откинутым ковром раскрылось зеленое безоблачное небо и белая, захваченная морозом земля.

Все стояли наготове, и Мамай двинул свою силу по пути, который назвал одним только тысячникам. Беспокойным, хмурым взглядом он всматривался, легко ли, охотно ли движутся они. Но словно тяжесть свалилась с них: радостно поворачивали коней в сторону от Московской дороги.

Только тогда, стуча зубами от жажды, Мамай приник к широкой чаше с белым осенним кумысом.

Двадцать пятая глава

РЯЗАНЬ



Кирилл поднялся в город. У ворот остановился и поглядел назад. Туманы застлали нижнюю слободу. Там тоскливо завыла собака. Может, чуяла близкий восход луны.

У Пронских ворот собиралась стража, и, затеплив светильник, воины разговаривали, обратясь лицом к свету.

Город уже затихал. Только у кузнеца еще шла работа. На пороге сидели и стояли люди — купцы, собравшиеся домой, ремесленники — и разговаривали, глядя не на собеседника, а в огонь, словно говорили огню, и слова их были спокойнее, тише, шли из глубины души, будто огонь освещал им темное для них самих сердце. А глаза не моргали, даже когда оружейник бил молотом по мягкому, как воск, клинку.

Оружейник приметил Кирилла.

— Присядь. Расскажи.

— Об чем?

— Откуда пришел, про то и сказывай.

И люди притихли, оглядывая Кирилла.

— Долго говорить. Меня и на постой не пустят.

— А где стал-то?

— У Герасима. На взвозе.

— Куды ж туда в таку темень идтить?

— Дойду.

— Пойдем ко мне. Я собираюсь. Вот только последний докуем.

Строгие, отчужденные взгляды рязан пугали Кирилла. Думал: суров народ. А этот зов из-под хмурых бровей пригрел.

— Ин ладно, — сказал Кирилл.

— Он человек хороший. Ты не бойсь, — сказал Кириллу хилый красильщик, махнув на оружейника окрашенной синью рукой.

— Такой богатырь не спугается. Мне б такую мощь, я б и ночью из города выйтить не забоялся.

— Какая ж у меня мощь? — засмеялся Кирилл.

— Днем видали, как воз выволок. Да и так видать — плечи под епанчу не спрячешь.

Кирилл догадался: видно, в Рязани разговаривали о нем.

Пламя в горне затихло. Нежно сияли угли, подернутые голубой пленкой.

Рязане пошли к своим дворам.

Кирилл ушел к оружейнику.

Двор его стоял недалеко от княжого двора, и Олегов терем поднимался похожей на седло крышей высоко, к мутному небу, где уже всплыла луна.

Дом оружейника, окруженный тыном, был невысок,

но крепок. Узорные кованые скобы и петли на двери поблескивали в лунном свете.

Внутри горела лучина, воткнутая в железный ставец, и тень от ставца трепетала по стене причудливая, как водоросль. В темноте жилья, в скупом свете огонька Кириллу вспомнился далекий край — водоросли, Босфор.

Кирилл перекрестился, прежде чем поклониться.

Женщины молча и бесстрастно ответили на его поклон. На печи посапывали ребятишки.

Он поел из одной чашки с хозяином, и постель гостю хозяйка постелила на нарах в запечье.

— Тут те спокойно. Тараканов у нас нет, — сказал хозяин.

— Сверчок донимает, — сказала хозяйка.

А сестра хозяйки объяснила хозяину:

— Видать, скоро холода станут. С этих пор в избу заполз. Мы уж каждую щелочку обшарили — нету.

— А пущай. Со сверчком в дому теплее.

Хозяйка ответила:

— Пущай.

Так наступила ночь.

Издалека, может быть от городских ворот, долетали удары: били по чугунным доскам сторожа. Изредка раздавался дальний возглас: перекликалась стража. Над Рязанью стояла ночь.

Олег проснулся затемно. Не спалось — думал о Москве, о Рязани. Жена спала, и, чтобы ее не будить, осторожно сполз с постели и прошел к дверям. Слегка приоткрыв их, выглянул. Там сидел на скамье отрок и, предаваясь одиночеству, усердно прочищал нос.

— Палец сломаешь! — сказал князь. Когда отрок спрятал за спиной руку, Олег послал его: — Сведай, топлена ль баня. Да чтоб приготовили. Сейчас приду.

Олег посмотрел в окно. Сквозь мутное генуэзское стекло он увидел задернутые морозной мглой заливные луга за Трубежом и ворон, чистивших сырые перья.

Он обулся в белые валенки, расписанные пунцовым узором, накинул поверх белья полушубок и вышел во двор. Над баней слабо сочился голубой дымок. По верху бревенчатой крепости ходили иззябшие воины, от башни к башне. Тропинка к бане была бела от утренника. Отрок,

племянник боярина Кобяка, еще стоял, переговариваясь с банщиком.

— Я тебя, пострел, мигом слал, а ты прилип.

— Баня, вишь, княже, стоплена. Чего ж спешить-то?

— Ступай к Марьяму, вели меду принесть.

Черноглазый отрок рванулся к теремам, но Олег его задержал:

— Об дяде не слыхал, не вернулся?

— Вчерась не было. Сказывают, урожай хорош: небось не управился.

— Ну, беги.

Олегу нравился этот юноша, в котором смешались острые татарские глаза и тяжелый славянский нос. Проворный, ласковый и смелый, он возрастал в Олеговом терему, задирая других отроков. Олег не раз вставал за него от нападок и наговоров. Старого б Кобяка так не оборонял, а этого было жалко.

В предбаннике, густо застланном золотой соломой, Олег разделся. Банщик прошел с обширным ковшом до кадки с холодной водой. Ковш, стукнув, пробил тонкий лед. Олег поежился.

— Ишь, осударь, каково. До Покрова далеко, а студено.

И с размаху хлестнул на груду раскаленных камней. Пар взвизгнул и, зашипев, ударился в потолок. Влажный и горький от дыма воздух резнул по глазам.

Сквозь набежавшие слезы Олег переступил на скамью и лег. Банщик похлестал его шелковистым можжевеловым веником и дал отдышаться.

Крепко запахло сладкой смолой можжевели.

Тело жадно и вдосталь вбирало густое тепло, покрываясь маслянистой испариной. Шрамы и язвы нежно зудели, и банщик бережно растирал их и в который уж раз привычно умилялся:

— Несть, осударь, живого местушка. Все без остатка тельце измучил за нас, грешных.

— Ногу потише! — поморщился Олег.

— Вестимо, осударь. Берегу.

— А ведь заживает.

— Видно, будто синевы помене стало.

Князь утешал себя: нога не заживала. Будто яд таился в татарском копье, что опешило Олега в той битве.

— Ой, пень! Одурел, что ль? — обозлился Олег: банщик окатил князя нестерпимо холодной водой.

— Помилуй, осударь, оплошал!

Олег встал, и банщик принялся обтирать его мягкой холстиной и подал ковш трезвого меда, заправленного не хмелем, а мятой.

— Хорошо Марьям меды сытит. Дряхл, а разумен.

— Вельми, осударь.

— На, дохлебай.

В предбанник хлынул холод. Вбежал отрок и пригнулся у порога, силясь разглядеть князя сквозь пар.

— Дверь, дверь-то! — крикнул банщик.

— Ты что? — окликнул Олег.

— Где ты, княже? Иди скорей! Татары!

— Чего?

— Татары!

Олег рванулся к двери, банщик, кинувшись наперерез, успел накинуть на его голое тело белую овчину нагольного полушубка.

Мокроволосый, потный Олег выскочил на мороз: облако пара окутало его. Иней протаял, где пробежали его босые ноги. Он вскочил на городскую стену. И тотчас десяток черных стрел впился в бревна над его головой. Он отклонился и увидел татар.

Мамаево войско подступало, охватывая город. Из-за холмов наезжали новые сотни, но и тех, которые остановились под стенами, было великое множество.

В осенней мгле пылали полосатые халаты, алели штаны, развевались косматые бороды копий, лохматились пушистые шапки; иные, надетые наружу мехом, казались чудищами на коротких кривых ногах. Позвякивали кованые панцири, похрапывали и взвизгивали лошади, но люди молчали, медленно наползая на город, может быть ожидая лишь вскрика, чтоб стремглав рвануться вперед. Татары смотрели на серые стены города, на темные башни, на суровую приземистую мощь Рязани, будто затаившейся. Татарские лучники увидели голое тело из-под овчины, когда Олег вскочил над стеной, но он хромал, и лучники промахнулись, рассчитывая на ровный шаг.

На соборе забили набат.

Чьи-то сильные руки схватили Олега и поволокли вниз, через двор, к терему.

— Очкнись, осударь. Нешь тако по холоду ходют? Заледенел весь.

— Пусти.

— Обрядись сперва.

— Пусти!

Но волосы и борода затвердели на морозе, и тело забила дрожь.

Набат гудел. Народ бежал к стенам. Воины наскоро пристегивали мечи к бедрам. Среди княжеского двора раздували костер и волокли котел: варить смолу на головы осаждающих.

Набат поднял воинов, но их было мало: дружина была в разъезде по волостям и на полюдье.

У оружейника, где Кирилл ночлежил, в избе еще стояла тьма, топилась печь и черный дым полз по потолку в душник.

Когда раздался набатный звон, Кирилл поднял голову:

— Ай пожар?

Оружейник рванул дверь.

— Беда!

Обомлев, женщины замерли у печи. Кирилл выскочил во двор, заглянул через тын на улицу. Набат гудел. Улицей бежал народ.

— Чего там?

— Татары!

— Татары! — крикнул Кирилл и, сбивая встречных, вбежал в избу.

Он захватил из-под изголовья меч и кинулся к городским стенам. Боковой улочкой на неоседланной белой лошади проскакала княгиня Евфросинья. Сын ее, княжич Федор, и несколько отроков, ведя в поводу коней, обремененных ковровыми сумами с добром, мчались вслед за княгиней вниз по переулочкам к Трубежу.

— Худо: князева спасаются!

Но Олег, уже окованный латами и шлемом, отбивал впереди воинов первый натиск врага.

Рязанцы стояли на стенах, отвечая на стрелы стрелами, кидая вниз бранные слова и тяжелые валуны. Из княжеских подвалов приволокли вязанки копий и мечей. Оружие лежало грудами, и рязане, сбегаясь, хватали его и лезли на стены. Из посадов и слобод стекалась подмога. Бабы порывались выть, но теряли голос, когда видели, как с высоты стен кто-нибудь, пошатнувшись, валился

навзничь, да так и оставался лежать со стрелой в груди или в ребрах. Убитых бьющиеся сталкивали со стен, чтоб не лежали под ногами, на узком верху у бойниц. Раненые выползали, и родня сбегалась к ним, силясь поднять.

Кирилл взбежал на стены и, протиснувшись мимо Олега, притаился за выступом башни.

Враг отсюда виден был весь. Передовые отряды уже лезли на стены, принимая удары, прикрываясь от стрел и от мечей разрисованными щитами, лезли к средней башне, у которой отбивался Олег. Их запасные части стояли наготове.

В алом халате, в пышной белой чалме Мамай ехал вдоль стен на тонконогой серебряной лошади. Несколько мурз трусцой следовали позади него.

«К стенам примеряется, гад», — подумал Кирилл.

— Дай-кось! — Он выхватил у кого-то лук, и первая Кириллова стрела свистнула возле Мамаева уха.

Серебряная лошадь присела, а Мамай, погрозив камчой, отъехал от стен подале.

Стрелы черной струей ударили по венцам возле Кириллова убежища.

— Спас бог!

И еще одна скользнула поверх плеча.

— Спас бог!

Он увидел, как загорелась угловая башня над Глебовскими вратами.

Подожгли, нехристи!

Башню кинулись отливать водой.

Но еще и еще посмоленные стрелы, объятые пламенем, вонзались в дубовый город. Не хватало рук заливать огонь. Большая огненная стрела переметнулась через стену и упала на крышу терема. Сухой тес мгновенно задымился.

Кирилл увидел, как насильно стащили раненого Олега и усадили в седло. Ворота к Трубежу еще выпускали людей, там татар не было, и чернобородый рязанский воин повел в поводу княжеского коня прочь из боя.

Легкая молодая женщина подбежала к груде мечей и схватила один. Ей крикнули:

— Не тот, Овдоть! На полегче.

Какая-то длиннолицая старуха, стоя на коленях, целилась из лука и посылала вниз стрелу за стрелой; по ее синему сарафану медленно расплывалось черное пятно — кровь.

А набат гудел, и дым застилал небо и разъедал глаза. Все кричали — и татары и рязанцы. Выли и взвизгивали женщины.

«Может, тут свидимся, Анюта?»

Голова татарина, прикрытая щитом, показалась над выступом стены, и женщина, державшая короткий меч, ударила татарина наотмашь. Щит, вырвавшись из рук татарина, откатился к ногам Кирилла.

«А схожа с Анютой!» — подумал он.

Но ее звали Овдотьей, и вскоре стрела сбила Овдотью с ног.

Глаза ее лишь на мгновение взглянули на Кирилла, и, отворотясь, она поползла к лестнице, чтобы спуститься вниз.

— Анюта! — крикнул Кирилл и, видно, высунулся из-за бревен. Стрела ударила его по скуле. Пока он вытаскивал ее, женщину застлал дым.

И мог ли он ее узнать здесь, когда истинное лицо любимой застлало время разлуки?

Он стряхнул набежавшую в бороду кровь, но женщины уже не было.

Татарские плечи поднялись невдалеке над бойницей. Кирилл обернулся к врагу, хотя мыслью еще обшаривал место, силясь понять, куда она отползла.

А руки отбивали удары, пока он не опомнился, а тогда сразу нашелся удар, освободивший Кирилла от супротивника...

Так бились и падали до полудня. Город пылал, чад застил свет, огонь кое-где полз уже по городовым стенам. В посаде, как огромный ржаной сноп, стоял огонь над церковью Бориса и Глеба.

Еще лодки, тяжелые от беглецов, переплывали Трубеж, лугами убегали к лесам женщины и старики, а уж рухнула угловая башня, и татары вломились в пролом стены.

Еще рязанские копья вонзались в гущу врага, и последние ковши кипящей смолы опрокидывались на ненавистную конницу, а уж татарские копыта, прорвавшись сквозь смолу и копья, мчались по телам рязанских защитников, и кривые сабли сверкали над головами детей.

Стены горели, и стоять на них стало незачем.

Содрав с убитого кольчугу и шлем, Кирилл бился в облике воина. Лицо его было окровавлено. Когда стоять



стало невозможно, он спустился со стен и начал пробираться узкими, темными от чада проходами.

Из-за углов набрасывались на него ордынцы, и он отбивался от них щитом и мечом. Он запомнил путь, где проехала княгиня Евфросинья, и бежал тем путем к реке.

Но лодок у берега не осталось.

Броситься вплавь? Но тяжелые латы потянут ко дну. Снимать их — не оставалось срока.

Кирилл побежал берегом по зарослям ивняка и кустарников.

Вверху, на краю обрыва, высоко над головой, как в небе, он увидел серебряного коня и хана под белой чалмой: сопровождаемый мурзами Мамай с этой высокой стороны хотел въехать в горящий город.

Кирилл притаился, пока проехали, и снова пошел. И снова замер: на краю обрыва стоял тонконогий гнедой конь, привязанный к дереву. Всадника Кирилл увидел внизу у реки: он сидел в кустах, занятый своим делом.

Быстро Кирилл вскарабкался по осыпи, хватая стремительной рукой ветви, и кинулся вниз на всадника, сшиб его, запрокинул ему руки и связал их.

Пленник был нарядно одет, круглоглаз, высокобров и напуган так, что рот его остался открытым.

— Попался! — сказал Кирилл. — А я вот цел.

Но тот молчал.

Осторожно Кирилл влез наверх. Татары все прошли в город. Одиноко стоял дивный конь, позвякивая золоченой цепочкой.

Кирилл отвязал его и, подставляя плечо под конскую грудь, сжав повод возле пушистых губ, свел коня вниз, где лежал связанный пленник.

Кирилл подтянул пленнику пояс, перекинул его через седло и повел коня, ища через реку брода.

Невысокий песчаный островок с кустом, вцепившимся в песок корнями, сулил брод. Держась за повод, Кирилл тихо погружал в воду ногу, когда услышал топот копыт. Бросив коня, он выхватил меч. Скакал татарин; полосатый халат, стянутый ремнем, развевался по бокам седла. Панцирь, надетый поверх халата, сверкал, но меч оставался в ножнах. Пушистая лисья шапка скрывала его бородатое лицо.

— Не бойсь! — крикнул татарин, но остановился и оглянулся назад: там, за деревьями и кустами, тянулся в небо, уходил густой черный дым — догорал город. Голоса и крики сливались в отдаленный глухой гул. Татарин сошел с коня: «Господи! Что сотворено с Рязанью!»

Снял шапку и перекрестился.

Глядя на рыжие волосы, зачесанные налево, где недоставало уха, Кирилл ждал, пока татарин обернулся и спросил:

— Брод-то где тут?

— Ищу, — неохотно ответил Кирилл.

— Идем скорее.

— А ты что?

— Русский. Утек от них.

— Хорош, коли Рязань жег!

— Да не жег. А и уйти некуда.

— Как же ушел?

— Мамай своего потерял. Погнал сыскать. А он, вот он, Бернаба, на твоем седле.

— Коль так, щупай брод. Твой конь легче.

Так Кирилл и Клим переправили Бернабу к лесам за Трубеж.

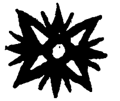
А татарские трубы над Трубежом уже ревели и выли, скликая войска от грабежа и крови.

Надо было уходить дальше.

Опять сошла Рязань с лица Русской земли.

Двадцать шестая глава

ЗАРЕВА



Перешли реку. Прислушались, затаившись в кустах. На холодных ветках гремели одеревенелые листья. Над Рязанью стоял серый столб дыма.

Кирилл примерился, как перекинуть Бернабу через коня, чтоб и самому осталось место.

— Ты его спешь! — посоветовал Клим. — Не то коня уморишь.

Кирилл не понял.

— Чего?

— Бернабу-то спешь. Вздень петлю ему на шею, так и поведешь. Держи аркан!

— Удавится!

— Не бойсь. Петляй.

Бернаба напрягся, приподымая голову, и прохрипел с укором:

— Ой, Клим!

— Осерчал! — качнул головой Клим.

Кирилл удивленно вслушался:

— Видать, по-нашему разумеет?

— Не вельми: мною обучен.

— Что ж дурно учил?

— В Орде мнят: русское слово с Батыгиных времен остановилось; они русскую речь издревлим слогом молвят. Мне ль раскрывать очи врагов моих?

— Может, мнят, и Русь с Батыгиных времен неизменна?

— И тое мнят.

— Опять города палят.

— Небось Ольг не чаял?

— Сонным застигли.

— То-то я гляжу. А чудно: почему застигли?

— А что?

Клим поднял голову и невесело глянул на дымящуюся Рязань. Кирилл переспросил:

— Откуда ж знать было? С застав-то воины по волостям разошлись.

— Теперь судить нечего. Тронем, кабы не хватились нас.

Они выбрались из лозняка. Мокрые кони пошли бодрей. Бернабу повели в поводу, волосяной аркан невыносимо колол и тер шею, и генуэзцу пришлось поспешать вдаль от Мамая.

Гнедой тонконогий конь горячился, порываясь из-под твердой Кирилловой руки, косил глазом, приседал, но колени Кирилла так его стискивали каждый раз, что дыханье срывалось.

— Удал конь! — одобрил Клим.

Бернаба, влачась в поводу, задыхаясь, сморщил лоб, чтоб хоть исподлобья взглянуть на Кирилла.

— А не степняк! — сказал Кирилл. — Не татарских кровей. Те коренасты, да малорослы. А сей, будто тетива, упруг.

— Может, фряжский? — предположил Клим.

Бернаба ссохшимся голосом гневно крикнул:

— Тоурмен!

— Что? — не понял Кирилл.

— Ишь! — сказал Клим. — Фряг осерчал: конь-то, мол, тоурменский, а ты ему цены не знаешь. Видать, от Мамая к нему пришел.

Не сходили с коней до сумерек, не щадили и Бернабовых ног: чаяли уйти подальше.

К вечеру миновали поля и перелески, достигли леса. В лесной мгле Кирилл остановился. Спросил Бернабу:

— Жив?

Бернаба молчал.

— Что ему подеется! — воскликнул Клим.

Бернаба даже плюнул с досады:

— Аз не ведал тя!

— А что б сделл?

— Удавил бы.

Кирилл стоял, отпуская подпругу. Клим устало полюбопытствовал:

— За что?

— Изменник ты!

— Врешь! Я Руси не предал. А Орда мне—не родина.

Привязав головы коней к их передним копытам, отпустили пастись.

Тучи ползли со стороны Рязани, и тяжелые животы их были багровы и алы и то погасали до синевы, то вновь разгорались тягостным багровым светом, и тогда на деревьях прояснивался бурый недобрый отсвет. А порой доносило с той стороны запах гари и смутный вой.

Клим отошел, снял шапку и поклонился до земли:

— Упокой, господи, души их в селениях праведных!.. — и долго молчал, глядя туда.

Когда Кирилл к нему подошел, Клим сказал:

— Долго горит.

— Дубовая.

— Дубовая, а сила не в стенах, а на стенах.

— Той недостало.

— Тридцать годов Руси не видел. Мнилась: зелена, просторна, тепла.

— Время — к Покрову.

— А пришел — кажное дерево и ручья поворот, все не на тех местах. Помнил свою деревню на левом берегу, а вчерась мимо шли — она на правом. Одни чураки на ней дымились.

«Со мной то ж было!» — вспомнил Кирилл.

— Так издали Русь те была теплее?

— Не. Во сто крат она мне теплей теперь. Что мороз, мороз любви не студит! Как жалко-то!

Бернаба, слушая издали негромкий их разговор, крикнул:

— Есть дай!

— Голоден, нехристь?

Мечами они нарубили молодой ельник, навалили его вокруг, как стену, чтоб никто не смог внезапно напасть.

— Хорош осек! — разогнулся Кирилл.

Он не боялся зверя. От волков можно мечом отбиться — будь поворотлив. Медведя ножом сваливать приходилось — только б рука не сорвалась да ноги б не оскользнулись. С вепрем столкнешься — успей повыше встать, снизу вверх он нападать не может. А прочий зверь сам человека опасается, далеко обходит. Одна лишь рысь неслышно крадется следом, таится, изловчается, иной раз

ждет на ветвях и вдруг валится сверху и терзает, не дав опомниться. У нее-то и перенял свою повадку Кирилл — выждать и накинуться: врагу еще надо опомниться, а ты уж одолел. Каждый норовит перенять силу сильнейшего. Кирилл был силен: его растил лес.

Почудился в лесу блеск рысьих глаз. Но кони спокойно щипали обмерзшую траву.

Навалили ельника внутрь осека и поверх постелили епанчу — одну на троих. Вынули еду из седельных сум: Клим свою, а Кирилл Бернабову.

— Дам твоим пальцам размяться, — сказал Кирилл.— Ко сну вновь свяжу, не гневись.

Бернаба с наслаждением высвободил руки.

— Тоскуешь по Мамаю-то?

Клим предостерег:

— С глаз не спускай — уйдет!

Бернаба ответил по-татарски:

— Не знал тебя!

— Что он? — не понял Кирилл.

— Кается, что в Орде меня не покончил! — засмеялся Клим. И строго сказал генуэзцу: — Впредь знай: меж нами не бывает рабов, мы и в рабстве глядим на волю.

Бернаба отвернулся и долго молчал, глядя, как в лесной тьме стоят неподвижные тени. Потом протянул Кириллу руки:

— Вяжи и отпусти спать.

Но Кирилл связал ему и ноги.

— Спи.

Бернаба лежал и прислушивался.

Говорил Кирилл:

— То и со мной было в Цареграде: Русь вспоминал. На материнском дворе росли три березы. Страшной толщи у них стволы. Втроем не охватишь. В дупло голова влезает. Похвалялся перед греками: велики, мол, березы у родимой матушки, таких дерев в Цареграде нет! Вернулся на Москву, весь город поиначен, а березы стоят — махонькие, курчавятся. Каждую свободно смог обнять и обнял. То не материнские березы убавились, то сам я возрос! Таково приходить домой.

Бернаба слушал.

Он не заснул, когда все уснули. Лишь под утро ненадолго свело ему сном глаза. И показалось, что не успел даже глаз закрыть, как Кирилл толкнул:

— Пора!

В лесу еще длился мрак. Но Клим уже стоял, доставая еду. Он протянул Бернабе кусок подсохшей лепешки:

— Подкрепись.

А Кириллу дал изрядный ломоть баранины, облепленный белым жиром. Когда ж Кирилл протянул и Бернабе от того куска, Клим остановил:

— Обойдется!

Но Бернаба неожиданно улыбнулся:

— Ладно, Клим. Я тоже гляжу на волю; только воля моя не здесь.

— А зарезал бы, если б снова в Орде сошлись?

— Нет.

— Ну, возьми, ешь. Ежели правду баешь.

— Правду.

— А все ж приглядывай, Кирилл. Уйдет!

— И то правда, — согласился Бернаба. — Приглядывать надо. Могу уйти.

Мгла прояснялась. Пошли вперед, пробираясь к Перевитску. Туда хлынуло много беженцев из Рязани.

«Верно, и Анюта ушла туда!» — думал Кирилл.

Бернабе он теперь аркан не на шее стянул, а промеж связанных рук — так ордынцу было легче смотреть на свет.

Днем блеснул просвет. Выбрались к городьбе, окружавшей небольшое поле. На жнивье кое-где лежали клочья и вороха соломы, но, видно, ток был не тут.

Объехали городьбу, отыскивая тропу к деревне. А тропа привела опять к городьбе, но здесь был разметенный ток: видно, деревня рядом.

Ежели полей не огораживать, урожая не соберешь: скот бродит без пастуха, на вольной паствине. Да и зверь посевам вредит: кабаны в рожь норовят залезть, на сладкие зеленя; медведь — на овсы, когда овсы наливаются. Хотя жердь для зверя и не велик заслон, а все ж преграда.

На крутом пригорке возле лесного ручья высилась деревня — два двора. Один совсем подгнил, покосился; другой стоял крепко: видно, из старого жилья в новое перебрались, а старое новоселам подкинули.

Крестьяне заперлись — будто от врага можно отсидеться! Но Кирилл понимал: в каждой щели — глаз. Он подъехал к двери и начал негромко уговаривать:

— Нам бы молока испить. Шли-шли лесом, намучились. Думали — живым не выбраться. Выбрались — свои, как от татар, запираются.

За дверью глухо и осторожно прозвучал старческий голос:

— Откеда вы?

— Рязанские. Город-то порушен. Слыхали, что ль?

— Откеда ж слыхать!

— Так откройтеся.

— Повремени.

Видно, всей семьей разглядывали через щель.

— А ну как вы — татаровья?

— Да не, рязаны.

— А чего ж столь пестры?

— Это полоняник с нами.

— Коли вас пожгли, откуля ж полонянам быть?

— Да открывай, что ль!

Видно, продолжали разглядывать. Тогда Кирилл сошел с коня и достал из-за пояса мешочек с трутом. Из-за двери торопливо и громко старик спросил:

— Ты чего?

— Запалю вас, да и к стороне.

— Погодь, погодь!

Слышно, отваливали тяжесть от двери. Заскрипел тяжкий деревянный засов. Приземистая дверь открылась. Через высокий порог перелез длиннобородый, широкоплечий старец и, щурясь на свет, обиженно сказал:

— На уж, на! Казни!

Но тотчас упал на колени и земно поклонился:

— Не ведаю, что за люди. Но, коли милостивы, милуйте.

Кирилл смотрел на темную, будто покрытую вечной пылью, серую холстину длинной стариковой рубахи, на рваную дерюгу его полосатых порток.

— С миром пришли; не бойсь, батюшко! — успокоил Кирилл.

— Ну, спаси вас бог! Хорошо б, коли правда.

— Правда.

— Так спалили Рязань, стало быть, нехристи?

— Всю.

— Нас-то, видать, лес спас.

— Видать, лес.

— А не татаровья ль вы?

Тогда заговорил Клим:

— Вишь, татарина на поводу ведем.

— Хорошо б, коли б так.

Но уже просунулись из-под деда русые ребячьи головы, и степенно сошла с крыльца хозяйка, держа ломоть хлеба и берестяной ковш с молоком.

Старик помолчал, пока Кирилл принял и отхлебнул молоко, но дальше терпения не хватило.

— Слушь-ка, не слыхал, Емелю Лыкина, боярина, в Рязани не прибрал бог под лезвием басурманским?

— А он те сродни, что ль?

— Не. Боярщину ему платим. А коли погиб, не взыщет.

— А велику ли?

— С двух коробьев.

Вдруг Бернаба спросил у Кирилла:

— Сколько платят? Не понимаю.

— А ты слушай. Два короба зерна сеют. По сему и посев исчислен.

Старик встревожился:

— Чего это у вас татарин по-нашему смыслит?

— Смышлен.

Не видя от приезжих обиды, старик позвал их в дом.

— Дак что ж? Не слыхал?

— Об Лыкине-то? А ежели и убили, другой Лыкин сыщется. Да и татары, глядишь, ненароком нагрянут. Поопаслись бы вы!

— Сейчас все в лес уйдем.

— А домы?

— А домы пожжем.

— Это к чему ж? — удивился Клим.

— Правильно задумано, — одобрил Кирилл.

Старик ответил Климу:

— Ежели Лыкин цел, скажем ему: хозяйство татарами пожжено, хлеб взят. Если ж избы устоят — надо Лыкину платить, надо Ольгу платить: Ольг город поднимать станет, надо сыновей отдать — Рязань войско подновлять будет. Дом поставить не велико дело, а хлебушек-то надо цельный год растить.

— Может, тое и верно? — задумался Клим.

— Мудр ты еси! — одобрил Кирилл. — Может, придется когда пройтить, от непогоды укроешь. Как тебя звать-то?

— Гридя я. Приходи.

Они еще пили молоко, а из изб уже начали выносить скудный скарб, голых ребят, на коих не было иной одежды, кроме истертых валенок, черные горшки, кусок холстины, и все это бегом уносили в лес. А в клети под присмотром Гриди ребята сыпали в коробья хлеб, заботливо застилали каждый короб ветошкой и тоже волокли в кустарник — видно, в лесу на такой случай имелся тайник. Овес увязывали в веретья, и, когда Кирилл пошел к лошадям, лесная деревня уже успела опустеть. Лишь Гридя оставался, следя, как ребята приваливают к стенам копны соломы на поджог.

Отдохнув, они ушли. Снова потянулся лес.

Ночью они увидели зарево.

Впереди пылало все небо; птицы, потревоженные огнем, ворочались и перелетали, натыкаясь на ветки.

— А ведь то татары! Перевитск жгут!

«Ой горе мое, Анюта! — думал Кирилл. — Куда она кинулась? Да и кинулась ли?»

С тоской он смотрел на пылающие небеса. Лишь правее, за Окой, глухо и спокойно темнела ночь — там лежали земли Москвы.

Оставался один путь — туда.

Двадцать седьмая глава

ОЛЕГ ЗА ОКОЙ



Олег кинулся из Рязани в Перевитск. Но зарева вспыхивали всюду. Всюду мог повстречаться враг. Несколько раз поворачивали коней, меняли путь. Скакавший впереди князя отрок вдруг осадил коня, взмахнул рукой и, мертвый, упал под копыта. Черная татарская стрела пробила ему шею.

— Горе тебе, Горислав Кобяков, отгорела слава твоей недолгой жизни! — Олег был сильно привязан к племяннику Кобяка.

Князь рванул узду и успел скрыться в лес. Спутники повернули за ним следом. Кобяков конь, звеня пустыми стременами, мчался за ними. Долго чудилось им, что позади хрустят сучья и гнутся ветви, но, видно, погони не было. Открытых дорог, однако, избегали, пробирались лесами, озираясь по сторонам.

Отовсюду зарева гнали их прочь. Деревни и погосты, ставленные на высоких берегах рек и на пригорках, в глубине непролазных лесов, горели; всюду разбрелись стаи Мамаевых всадников, жаждая добычи и пленников.

Один из Олеговых спутников — а осталось их семеро — сказал:

— Одна, государь, дорога—из Рязанской земли прочь.

Не татарская черная, а золотая, перёная московская стрела ударила в Олегово сердце: неужто только одна ненавистная Дмитриева земля безопасна, а родная земля и своего князя укрыть не может!

Олег удержал коня. Он понял сейчас: если б не опасался Мамай Дмитрия, жег бы Москву, а не Рязань. Словно не Мамай, а Дмитрий Мамаевыми руками наказывал Олега за гордость, за одиночество, за любовь к Рязанской земле.

От ярости лицо Олега перекосилось, рот ощерился от бешенства. Но он сжал губы и отвернулся — в глаза хлынули слезы, и руки забила дрожь. Молча он поехал к Оке.

Знакомым бродом перешли на московский берег.

Те же высились леса, те же синицы перелетали по ветвям, обшаривая со свистом сучки и дупла. Перепархивали белки, и стояла хмурая осенняя тишина. Лишь порывы ветра изредка врывались в тишину и перекатывались по вершинам. Но это была Дмитриева земля, которую ненавидел и без которой не мог спастись. Спешить больше было некуда. Одежда изодралась о сучья. Кони дышали тяжело, и ноги их сочились кровью. Да и у самого все лицо было в крови и ссадинах. Он послал двоих воинов вперед по берегу искать деревень, а сам тяжело сполз с седла и лег на чью-то влажную от конского пота попону.

Он смотрел в небо. Высоко, в щели между вершинами елей, по густой осенней синеве мчались в московскую сторону круглые белые облака, словно и облакам стало тесно в Рязанской земле; они мчались, погоняя друг друга. Так теперь татары гонят к Орде стада, так поволокут в неволю рязанских людей, и у Олега нечего дать Мамаю взамен, нечем выкупить пленных, как, бывало, выкупал и выменивал, выезжая к границам княжества, на просторное Рясское поле. Не у Дмитрия ж занимать!

Воины вернулись скоро. Недалеко стоял московский город Любутск.

Олег уже успел помыться и почистился.

— Любутск? Да там Ценский погост.

— То и любо!

Ой, не любо то было Олегу. Хорошо б так постоять, чтоб никто не сведал о том постое. А на погосте причт, да и княжие Дмитриевы люди. Как он им станет в глаза смотреть: вот он, скажут, явился к нашему князю под крыло, без нас не обошелся!

— В слободе видали, нашего народу не мало сошлось. А на погосте, сказывали, боярынь видать — не твоя ль там княгиня?

— Княгиня к Перевитску подалась.

— А в той стороне зарева ж.

— Ну, глянем.

Снова тронулись в путь. Сведав о Дмитрии, княжич Федор на белом коне без седла вымчался встречать отца. Юноше и в беде — бодрость и радость. Радость — что новые места впереди; бодрость — что надо спешить и опасаться.

— Матушка, отче, растряслась. Легла, отдыхает. Об тебе плакала, теперь небось с колокольни сюда глядит. А казну довезли. Там один двоих татар с собой приволок. Ну и здоров — еще не видал такого! По-грецки со мной говорил. Ему щеку Мамай пробил, а он татарского князя схватил и уволок с собой.

Так они переехали реку Цну, и на въезде их встретила Евфросинья.

— Поп со звоном хотел тебя встречать. Да я отговорила: не от радости, говорю, едешь сюды, а с великого горя.

— Золотые слова, касатка.

— Устал?

— Не больно.

— Да мне видней.

Поп их встретил с крестом, и они пошли в церковь и отслужили молебен — возблагодарили за спасение жизни своей.

Олег приложился к кресту и будто очнулся:

— Отче, теперь помолись о убиенных воинах и людях Рязани.

Они постояли молча, пока поп облачался в алтаре из светлых риз в черные. Когда дьячок принес им свечи, Олег обернулся и увидел, что церковь полна людьми.

С краю стоял один в цветном татарском кафтане, рыжий, с татарской кривой саблей у бедра. Пристальные глаза строго разглядывали Олега, и Олег быстро отвернулся: «Откуда татарин?»

Он больше не оборачивался туда, смотрел, как теплилась в его руке свеча, смотрел, как теплилась свеча в тонких пальцах Федора, слушал, как горестно выкликал причт, словно заклинание, заунывные стихи панихиды. Но плечо ныло, как под тяжестью, под взглядом этого рыжего человека, одетого в татарский кафтан.

Так Олег и не взглянул в тот угол. Он прошел, глядя в пол, мимо расступившихся людей. Позади него вышла Евфросинья, ведя за плечо Федора. Но и снаружи стояли люди — каждому хотелось взглянуть на беглого Рязанского князя. Даже на могилы стали, чтоб увидеть, как он пройдет, сколь ныне скорбен этот прославленный князь.

В поповых хоромах им отвели тихую горницу. Попадья им наварила обед.

— Поешь! — упрашивала Евфросинья Олега.

— Не неволь.

Они остались вдвоем. Евфросинья подсела к нему.

— Что ж теперь будет?

— Осень. Сошный оклад еще не собран. Соберем — опять соберемся с силами.

— Да с кого ж оклад собирать?

— Найдутся.

— Бежали сюды, куда ни глянь — дымы да зарева.

— Справимся. Не первый раз.

— То-то: не первый.

— А что?

— А то — Дмитрия жечь не решились. Он не один. Не решились бы и Рязань жечь, будь ты с Дмитрием.

— Супротив собак волка в помощь не кличут.

— Это что ж — он басурман, что ль?

Олег смолчал, только подумал: «Дмитрия жечь не решились!» — и стиснул пальцы. Но Евфросинья не уступала:

— Выходит, виноват медведь, что корову съел; виновата и корова, что в лес зашла.

— Никуда Рязань не зашла. На своем месте стоит.

— То-то, что не стоит.

Не верится, что тишина и безлюдие ныне там, где шумели вокруг люди, пели женщины и плакали дети.

— Поди, принеси испить. Не пускай никого.
— А ты б лег.
— Посижу.

В который уж раз она его в эту сторону клонит. Москвитянка! Нет тут Софрония, этот бы тоже стал твердить. Где Софроний?

«Вернусь, сведаю!»

Ведь впереди снова Рязань! К чему унывать! Он еще станет на ноги!

Евфросинья, вернувшись, увидела посветлевшее лицо мужа. Он попросил поесть.

Утром он вышел на погост, ожидая вестей. Федор пошел с ним вместе. Позади церкви, спускаясь к реке, зеленело кладбище, утыканное широкими крестами. Многие из крестов, расписанные желтыми и красными узорами, стояли нарядные, как бояре. По валу росли раскидистые старые ветлы, уже обдутые осенними ветрами. Вокруг валялись их хрупкие ветки, обломанные непогодой. И от иных тянулись в землю белые корни, а вверх поднимались нежные стебельки ростков. Так и народ рязанский, сорванный с высоких вершин, снова укоренится и поднимется.

Внизу текла заросшая лозняком привольная, тихая Цна. Стлались обмороженные луга, и лугами мчался в алом кожухе всадник вдаль, к Москве.

Олег смотрел, как, обогнув кладбище, Цна мирно втекает в широкое голубое течение Оки. Он поднял веточку ветлы и, разламывая ее в пальцах, пошел к церкви. У ограды встретил попа.

Поп еще издали благословлял князя и кланялся ласково.

— Вот, отче, — сказал Олег, — ракиту ветер сломил. Где ни падает, ростки дает, не гибнет. Таковы и мы.

— Древо сие у нас ветлой именуется. Негибко оно, потому и ломится.

И снова, отводя в сторону ласковые глаза, благословил князя.

Олег никогда не узнал, что всадник, мчавшийся по лугам к Москве, вез от попа письмо к Дмитрию, и поп в том письме писал:

«Рязанцы люди суровые, свирепые, высокоумные, гордые, чаятельные, вознесшись умом и возгордившись величием, помыслили в высокоумии своем, полуумные лю-

дища, как чудища. И господь низложил гордых: в злой сече рязанцы пали аки снопы, аки свиньи закланы были, а сам князь Олег едва спасся бегством с небольшою дружиной и семейством. Ныне на твоем, государь, погосте, что на Цне-реке, в моем худом домишке таятся: тако разумеют, что отныне от супостата единственно твоя земля твердо стоит».

Федор потянул за рукав Олега:

— Вон, отче, который двоих татар полонил!

Олег увидел высокого бледного человека с черной курчавой бородой, со щекой, залепленной зеленой жвачкой.

— Кто ты, человек?

Кирилл поклонился князю.

— За Рязань пострадал, княже.

— Сам-то рязан ли?

— Пришел было, да не судил бог рязаном стать.

— Отколь?

— С Москвы.

— А чего?

— Мало ль к тебе с Москвы сходят.

— И ты с тем же?

— И я.

— Он, отче, по-грецки разумеет, — встрял в разговор Федор.

— Отколь?

— Случилось в Цареграде жить.

— С чем?

— Каменных дел мастером.

Олегово лицо посветлело.

— Добро. Нужен мне будешь.

— Рад бы.

— Дело-то хорошо знаешь?

— На Москве башню клал, похваляли.

— А чего ж ушел?

— Награду не вынес.

— То твое дело. Не я взыщу.

— Благодарствую, княже.

— Ставил я Рязань крепкую. Сожгли. Поставил крепче того — дубовую. Сожгли. Пойдешь со мной, каменную станем ставить.

— Поставим, княже.

— А как же ты в лихе таком татар пленил?

— Не дивно, ежели сами в руки пали.

— Не видал таких, чтобы сами. Воины?

— Мамаевы люди. Один писец, другой ключник.

— Дивно вдвое.

— Оба русскую речь разумеют, а писец и в грецкой грамоте горазд.

— Уж не волхв ли ты?

— Не бывал.

— Ну, смотри! Я те покличу.

— Благодарствую, княже.

Когда Олег ушел в поповы хоромы, Кирилл спустился с погоста, пошел в слободу. Там все избы были густо заселены рязанскими беглецами.

На белом камне сидела девушка, глядя на запад, и тихонько выла.

Старуха, скрюченная, темная, вышла из избы и подняла к Кириллу лицо, прикрытое, словно голубиными крыльями, прядями седых волос.

— Там, баушка, дева плачет. Не слыхала, о чем?

— То, сыне, внучка. Из Курчавы она. Наши ее у татар отбили. Куда ей деться? Приклонилась ко мне. А я ей рада. Пущай живет. Все убивается. Пойду угомоню.

Тяжело неся свое иссохшее тело, старуха пошла к одинокой внучке, и Кирилл не спеша присоединился к ним. Он сел невдалеке, не мешаясь в тихую старушечью речь:

— Ну полно, Вольга. Полно, Вольгушка. Оставь слез к старости. Скудна старость, коль слез не сбережешь про черный день.

Крючья черных старческих пальцев ласково сжимали круглое молодое плечо. Но бабушкин уговор лишь долил горечи. Плача, девушка приговаривала:

— Милой мой, кучерявой мой, светел ты был, как солнушко. Тверд был, как булатный меч. Стоял высок, как елочка. Над челом — шелом.

Она глотнула воздуха и зарыдала опять:

— Жили б мы, миловалися. На божий бы мы свет дивовалися. Прожили б свой век в согласии. Я б те покорялась по самый гроб. А ныне обняла тебя земля холодная, клонится над тобой сухой ковыль...

— Полно, Вольга, полно. Всех не оплачешь. Пойдем.

— Об женихе, что ль? — спросил Кирилл.

Услышав чужой мужской голос, Ольга вздрогнула и умолкла. Повернула к нему заплаканное лицо. У нее были медленные ласковые глаза.

Бабушка, утирая ей своим рукавом слезы, глянула через плечо на Кирилла:

— Да нет. Нету у ей жениха. И не было вовсе. А об ни о ком плачет. Говорит: много на Воже-реке побитых видела. Может, говорит, и ее суженый там. Ежли б не убили, был бы с ней. «А каков он, внучка?» — спрашиваю. «Ох, бабушка, откуда ж мне знать — каков, там разные убиты были». Вот и плачет.

Кирилл оставил их на белом камне среди полегшей вялой травы, пуще заныло сердце: «Анюта, Анюта, как прошла над тобой беда?»

Он оглянулся: старуха, крепко прижав к себе внучку, тихо раскачивалась вместе с ней, что-то вспоминая свое, о чем-то своем, о давно отжитом тоскуя. Сколько их, охваченных скорбью, ныне тихо тоскует на белых камнях Руси!

Глядя на высокий родной берег Оки, о многом поразмыслил Олег за эти дни в Любутске.

Он позвал Кирилла и много говорил с ним о вратах Царьграда. И Кирилл рассказал, как в густую зелень вонзаются белые стены строений — хором и храмов, как высятся белые башни над густой синевой Босфора, как лежат округлые купола под густой синевой неба.

— Предивен и светел град царя Константина. Руки зодчих искусны, и вымысл их хитер.

— Ежели искусен, помоги, поставим Византию над Окой. Будет и у нас град светел и неприступен. Превыше Москвы.

— Руки мои тебе, княже. Превыше ордынского Сарая встанет твой русский город.

— А кто они, твои полоняники?

И Кирилл рассказал, как взял Бернабу и как целую ночь, в глухом овраге, таясь от татар, проговорил с ним по-гречески; как рад был вспомянуть тот язык и как Бернаба читал по памяти Омира, когда волки кружили вокруг их осеки, шурша палыми листьями.

— Вечером приведи. Погляжу его, — велел Олег.

— Слушаю, княже.

И Кирилл вечером поставил Бернабу перед Рязанским князем.

В зеленом небе сияли ранние звезды, по низу неба плыли черные облака, и у самых вершин леса небо чуть отливало румяным сиянием холодной зари.

Сперва Олег спрашивал по-русски о том, что хорошо знал: о славных деяниях Македонянина Александра, и Бернаба пересказал по-гречески, как убит был нечестивый царь Дарий.

Олег спросил:

— А что мнишь ты о премудрости Аристотеля?

Бернаба растерялся: не столь был учен, чтобы вникать в сие, но схитрил:

— Аристотелева премудрость с христианским верованием несовместна.

— Не вся! — возразил Олег.

— Да, не вся! — сдался Бернаба.

Олег заметил быстрый ум у Бернабы и привычку протяжно говорить греческие слова, словно, быстро сообразив, он медлит высказать мысль, затаивает ее. Это не понравилось Олегу: лукав!

Он спросил у Кирилла:

— Может, продашь?

— Что? — не доменкул Кирилл.

— А сего фряга.

— Бернабу-то? Воля твоя, княже, — облегченно ответил Кирилл, — к чему мне раб, какая в нем корысть, только на прокорм разоряться.

Перед Бернабой вскрылась новая даль: вот она, его судьба — этот черноволосый седеющий русский князь с недобрым, прозорливым взглядом. Размышляет над Аристотелем, мечтает о Византии. Не роднее ли он ему, чем малорослый, кривоногий и жадный хан, от которого всегда пахнет кислым молоком и овчиной? Хан — азиат, а этот сидит, как герцог, и небрежно припоминает эллинские стихи. Но чтобы этому угодить, мало знать Омара Хайяма, надо самому думать и уметь говорить. О!

Он наклонился к уху Кирилла:

— Продай, господине, пригожусь.

— Зачем?

— Пригожусь.

— Чем?

— Около Олега-то?

— Около-то — чем?

— Отслужу тебе вдосталь.

— Подумаю, — схитрил Кирилл.

О Мамае Бернаба рассказал Олегу таинственно, но охотно. Лишь когда заговорил он о татарском воинстве,

отказавшемся идти на Москву, Олег быстро прервал Бернабу и отпустил его.

Наконец пришли вести: татары ушли, оставляя позади дымящиеся головни да изуродованные трупы. Можно было вернуться на пепелище, куда уже начали стекаться уцелевшие воины да отсидевшие в лесах рязане.

Двадцать восьмая глава

ОГОРОД



Еще затемно перешли броды и тронулись по Рязанской земле.

Встречались раненые, погорельцы. Подъезжали воины, искавшие своего князя.

На погостах выходили попы с крестами, и князь сходил с коня, чтобы отстоять панихиду, оборотясь лицом к обуглившимся грудам церквей. Медленно приближалась Рязань.

И с каждым шагом страшней казалось взглянуть на нее.

Когда лишь холм остался между князем и пепелищем, ни у кого не стало сил смотреть на Олега.

Тогда он рванул узду, приподнялся в стременах и поскакал на холм. Только Федор поскакал за ним следом.

Вот она!

Перед ним открылись родные холмы, где еще дымились уголья, чернели останки стен, а с высоких валов, словно кто-то облил их варом, стекли и застыли черные ожоги земли.

Виднелись люди, роющиеся в золе, бродящие среди смрада. Слышались женские плачи, как на кладбище.

Не оглядываясь, Олег поскакал к переправе через Трубеж.

Его встретили и окружили десятки людей, и не клики, а плач стоял вокруг князя—народ оплакивал свою оскорбленную землю, глядя на слезы, текшие по Олегову лицу.

Когда он въехал на место, где недавно еще высился великокняжеский терем, сказал:

— Не впервой, братие. Много лилось тут русской крови и наших слез. Не плачьте, не убивайтесь. Руки наши при нас, а топоры в пламени не сгорают. Поставим град крепче и краше прежнего. Была б сила, а силу сберем.

Приказал рыть землянки. Разослал гонцов разведывать уцелевшие волости, с наказом данщикам немедля везти хлеб в сожженные города.

Кирилл шел, перешагивая через обгорелые бревна. Невдалеке от княжого двора, у развалившейся башни, он приметил бревна, сникшие вниз: там был либо тайник, либо медуша.

Ему почудилось, что в этом пустынном, безлюдном углу словно кто-то мучительно дышит либо скребется. Он наклонился и с трудом раздвинул опаленные балки. Чья-то женская рука тронула балку снизу. Тогда Кирилл уперся плечом и сдвинул дуб в сторону. Понадобилась немалая сила, чтоб своротить эту тяжесть с места.

Простоволосое, черное от засохшей крови женское лицо высунулось из тьмы и, ослепленное светом, поникло. Кирилл выволок женщину наверх. Тихо положил ее наземь: в ее волосах, в ее широких коренастых плечах ему опять почудилась Анюта. Но эта была суше, лицо ее со сжатым ртом — строже.

— Овдотьица! — окликнул Кирилл, вспомнив женщину на башне. Но она лишь вздохнула, все еще не решаясь раскрыть глаза.

— Больно, Овдотьица?

И понял — то рана клонит ее к земле, долго лежала она в тайнике, заваленная рухнувшей башней. Вот отлежится и встанет; только б молоком напоить, а где молока взять?

Он долго тер ей холодные руки, пока не пришел на его зов старик — знахарь. Знахарь развязал мешочек, всунутый за пояс, достал зелье и наложил его на две глубокие раны.

— Жёнка, что ль?

— Обнадежь!

— Кости целы. А были бы кости — мясо нарастет. Не печалуйся, сыне.

— Спасибо.

Кирилл отдал ее подошедшим женщинам, а сам опять пошел, шагая через тех, которым никакие зелья уже не помогут встать.

Он вышел за город. Ока уходила вдаль, повертывала в леса, а за нею лежали луга спокойным, мирным простором, словно не было никогда ни шума битв, ни набата, ни грохота падающих стен.

Он сошел вниз и пошел в Затынную слободу.

Здесь кое-где уцелели дома, валялся побитый скарб на дворах и у порогов. Лохматая собака, прикованная цепью к воротам, запрокинулась, пробитая черной стрелой.

Кирилл толкнул калитку и вошел на Анютин двор. Видно, дом загорался, но ветер ли дул навстречу, пламень ли устал полыхать — не догорел. Обнажился обширный подвал, полный просторных пустых кадей.

На потоптанных грядах еще продолжали набухать кочаны капусты, широко раскинув холодные нижние листья. Капуста росла, а холить ее уже стало некому.

Кирилл рассматривал рыхлую землю, запечатлевшую толчею борьбы: следы конских копыт вперемежку с отпечатками мужских подошв и женских босых ног. И в земле вдруг мелькнула, как капля крови, ягодка спелой рябины.

Он оглянулся: нигде рябиновых кустов не видать. Он потянул ягодку, и за нею следом из земли вытянулась нитка красных глиняных бус.

Вот все, что в этой земле от нее осталось!

Где она—лежит ли распластанная на Рязанской земле, идет ли в далекую неволю, вслед за татарским седлом?

Он стоял, лелея на ладони остывшие рябинки бус.

Он долго бродил один среди поломанных кочанов и помятых гряд. Зашел в обвалившиеся сени. Под сенью их, может быть, она вспоминала о нем?

Хотя бы лоскуток от ее одежды...

Он насторожился: на раскрытом чердаке послышался шорох. Мгновенно он поднялся туда. Но это лишь ветер пошевелил листвой, когда-то насыпанной там для тепла.

Словно ожидая чего-то, он медлил. Но обошел все — нигде ни следа. Нехотя пошел обратно в город.

Когда перелез через вал, меж груд золы мелькнула белая рубаха.

— Эй!

Никто не откликнулся. Увидел: мальчонка лет десяти, белокурый, бледный до синевы, хватаясь тонкими пальцами за скользкие чураки, карабкался от него прочь. Одним прыжком Кирилл его догнал и взял за плечи:

— Ну, куда ж ты?

И тотчас пригнулся от боли: острые зубы до крови вонзились в руку. Кирилл тихо, но решительно высвободился.

— Чего ж ты? Я те не съем!

И погладил маленькое лицо.

Дичась, мальчик долго не откликался, но Кирилл чувствовал, как под его ладонями понемногу успокаивается и ручнеет этот светлый зверек.

Он взял его за руку и повел с собой.

Уже Клим смастерил шалаш, и Бернаба наволок туда еловых ветвей и хлама.

— Нет! — воспротивился Кирилл. — Будем жить в огородниках. Там цельные избы есть, да и мертвечиной помене смердеть будет. Толикое множество трупьев скоро не захоронить.

Все еще жила в нем надежда... И она увела его в пустынную слободу, на огороды. Они облюбовали избу, небольшую и складную. Затопили печь.

Когда дым вытек, посадили мальчика высоко на печь. Он не плакал, молчал, слушал, как на непонятном языке разговаривают эти бородатые люди, словно щебечут птицы. Чтоб вслушаться, мальчик лег на грудь, свесив голову. Он не заметил, как после холодных и страшных дней снова его охватило блаженное тепло сна.

Он спал, то всхлипывая, то вскрикивая во сне, и из его мутных, как дым, слов Кирилл понял, что мамка его хоронилась от татар, а татары все ж нашли и навсегда увели за собой его мамку.

Ночью Кирилл доглядывал, чтоб в бреду мальчонка не свалился вниз. Посиневший его рот беспомощно раскрывался во сне. Не раз неумелая ладонь Кирилла гладила мальчика по лицу.

Утром, еще лежа рядом с проснувшимся найденышем, Кирилл спросил:

— Отец-то твой где?

— Нешь я знаю?

— А ты когда его видел?

— И не видел. И мамка не видела. Он у нас не был.

— А где?

— Он — московский. Москвитяне Тверь жгли, а мамка отца встрела. Он Тверь сжег, а я остался. Мать от разоренья в Рязань пришла.

Клим загрустил:

— Не увели б меня в Орду, такие бы вот внуки у меня были. Будет мне этот пущай заместо внука.

— Ну, нет. Он мне кровный сын: руку-то прохватил до крови!

— Тебе вот и дети сами валятся. А у меня и родина промеж пальцев ушла. Взглянуть не успел, а уж она задымилась.

— Будет тебе и родина, Климе. И детей заведешь. Теперь ты дома. Годов-то много?

— Двадцати двух полонили да тридцать в Орде рабствовал. Вот и считай.

— Женишься!

— Поглядим.

Утром Кирилл отыскал Овдотью.

— Ну, девушка, как силы? Прибавились?

— Будто покрепче стала.

— Хорошо!

— Где ж хорошо-то? Ты пойми: вот люди видали, сказывают, мужа татары в полон повели. Чем выкуплю? Брата Сеню тоже повели, а он раненой. Как их оттоль достать? А как в яме лежала, лежу и слышу: ребенок шевельнулся. Легко, как рыбка плеснулась. А у нас их не было. Надо ж ему зародиться в такой беде! Ты, стало быть, не одну меня спас. Всю жизнь об тебе молиться буду. Уж татары ко мне тянулись через обвалины. Да сил недостало: думали, сама задохнусь.

— А и у меня сын. Вчерась нашел. Андреем звать.

— Что ж, иной найденный теплей кровного возрастает. Вьюношек, что ль?

— Младень. Годов осьми. А ты, как город Рязань, отлежалась под бревнами и вот встаешь.

— Твоими руками.

— Полно. Сама сильна. Видел, как на стенах рубилась. Воину впору так.

— Зло взяло. Чего лезут?

— Как это ты столько ден в погребе не евши сидела?

— А там была еда. Чьи-то припасы—репа да морковь.

Однажды Кирилл посоветовался с Климом и отвел генуэзца к Олегу: наскучил он — целые дни озирался вокруг и молчал, с неохотой слушался Кирилла.

Князь вышел из шатра, и Кирилл передал раба князю из полы в полу.

— Сколько ж тебе за него?

— На твою, государь, цену.

— Ну, мне с тобой будет долгий расчет: сказал, чтоб, как ляжет путь, везли б сюда камень. По весне начнем строить. А до весны я те прокормлю. Да и другому скажи, ключнику, — он теперь волен, коль сам из полона пришел, — пущай придет. Ключником и у меня будет.

Кириллу не хотелось оставаться одному в безлюдной слободе.

— Сперва двери, княже, сруби. Не в чем ключом-то поворачивать.

Олег нахмурился.

— Ступай.

Но хоромы Олегу хоть и не затейно, а скоро и складно поставили. Вскоре и по всему пожарищу уже светлели избы, дымились землянки, и людской говор опять потек над крутым берегом города Рязани.

Двадцать девятая глава

ПОКРОВ



Настал Покров. Надо было бы покормить скотину последним пожинальным снопом. Но в далекую Орду ушел рязанский скот, и в пламени погорели снопы. Журавли улетели задолго до Покрова, и это сулило раннюю и холодную зиму. Ветер весь день дул с востока, с Орды, — та же примета: жди суровой зимы.

А девушки по всей Руси в этот день молились:

— Батюшко Покров! Покрой землю снежком, а меня молоду — женишком.

Наступили сроки осенних свадеб, и над теплым пеплом Рязани в глухих и темных землянках закипели свадебные каши, загудели венчальные пиры.

Звенели песни, поминая богородицу и Ярилу, и старики за свадебным столом завистливо почесывали бороды, глядя на стыдливое нетерпенье повенчанных, а матери выглядывали за дверь, не лег ли снег: выпадет на Покров снег — добрый знак: молодым он сулит благополучную жизнь.

Кирилл стоял в эту ночь у своих ворот.

Небо над ним чернело зловещей мглой. А по белой земле ветер гнал легкую поземку. Из города долетали голоса, возгласы песен и звонкой девичьей радости.

Кирилл тоскливо вслушивался во тьму. Еще не обсохли землянки, а уж свадьбы поют. А ему — стоять на ветру, слушать далекие пиры да глядеть, как переползают волны снега по буграм окоченелой земли. Так постоял он, отошел от ворот и крикнул:

— Анюта!

И ветер отнес во тьму его тягучий зов.

Кирилл прошелся по пустырям. Всюду мело, отовсюду долетали вскрики свадебных песен и причитаний. Никогда так не томил его пустой, неприютный дом.

«Может, в Коломну к Домне сходить? Нет, не то думается».

Невдалеке, меж изгородями, ша́рахнулась, ляскнув зубами, тень волка. Кирилл свистнул. Тотчас волк остановился и повыл. Ему откликнулись издалека.

«Подмогу зовет!»

Кирилл вспомнил о доме.

«Как бы вой Андрейшу не напугал».

Не спеша он пошел обратно; ветер бил в лицо сухим, жестким снегом, мешал смотреть. Отворачиваясь от ветра, он видел, как не спеша следом плелся волк.

«Чего пристал?»

Но невдалеке от дома волк взвизгнул и остановился. Кирилл оглянулся на него. Волк стоял, ощетинившись, поводя носом по ветру, и тревожно, негромко скулил.

«Кого чует?»

Кирилл тоже остановился и огляделся. Впереди ничего нельзя было рассмотреть: ветер слепил. Возле своих ворот увидел свежий медвежий след: его еще не успело замести.

Кирилл вынул кинжал и пошел к дому. На ступеньках и на крыльце виднелись по снегу свежие медвежьи следы. Медведь, шатающийся в эту пору, страшен. Кирилл огляделся и вдруг заметил, что дверь в сени приоткрыта и следы уходят туда.

Он прислушался. В глубине сеней было темно и тихо.

Тогда, с кинжалом в руке, Кирилл решительно вошел в сени, запер изнутри за собой дверь и остановился.

«Притаился? Оробел?»

Так же быстро он перешагнул сени и рванул дверь в избу. И Кирилл увидел в тусклом свете свечи Андрейшу, сидящего на скамье, и медведя, разлегшегося у его ног. А у печки, прислонившись к ней спиной, скинув на пол шапку и рукавицы, стоял бледный и лохматый человек,

дуя на обмерзшие руки. Он ошалело уставился на кинжал и, взвизгивая, вдавился в стену:

— Не надоть!

— Отколи ты, Тимоша?

— С Коломны. — Тимоша сразу отошел.

— Давно?

— Еще не садился, сразу с пути.

— Как же меня-то сыскал?

— Я давно думал, что ты сюда подашься. А теперича, как на пристани спросил, не видали ль человека с кольцом на пальце да борода курчавая, так сразу к тебе путь показали. Открыто живешь.

— А чего таиться?

— Гляди! На Коломне тебя разыскивали.

— Тут не достанут.

— Правда? — Тимоша сразу перестал дуть на руки и повеселел.

— А кто ж достанет? Тут — не Москва.

— Хорошо бы.

— А ты сбежал, что ль?

— Всю дорогу бежал. Ой, батюшки, страх какой!

— А что?

— Да выследили меня. Еле ушел. Гриша-то еще прежде обо мне знал, да молчал до времени. А то вдруг схватили. Я у одного вырвался, а другой Топтыги забоялся — отскочил. Я в переулок да вниз. Топтыга следом. Сам не пойму, как ушел. Ведь что мне теперь будет? Клеймо поставят. А еще что? Живым-то оставят? Не знаешь?

— Аль смерти боишься?

— А как жа!

— А сам-то убивал!

— То я, а то меня!

Вдруг Андрейша сказал:

— Все равно, дядя, помрешь.

— Ой, что ты! Не надоть!

Кирилл присмотрелся к Тимоше:

— А ты, видать, и впрямь напуган.

— Да нешто врать стану!

— Жрать будешь?

— А в лесу кто ж нас накормит?

— А ты лесом пер?

— Прямиком. Страшно дорогой-то!

Кирилл достал варева, отрезал хлеба; Тимошу кину-

ло в озноб, руки дрожали, ложка стучала по чашке, расплескивая щи.

— С бараниной! Сытно живешь.

— Ешь, ешь!

— Ты Топтыгу покорми. Его все в сон клонит, да какой тут сон! А ты не бойсь! Хозяин-то навряд ли вернется.

— Какой?

— Да этой-то избы. Она ведь бежецкая.

— Бежецкая. А чего ж ему не вернуться?

— А кому ж он тут будет капусту растить? Народ-то иссяк. Изба — не хоромы: такую-то везде срубит, а землю и там найдет, где народу поболе. Можешь спокойно ею володать.

— Ты вон про что! А пущай приходят, я им избу не изломал.

— Будто тебе все одно!

— Придут, веселей будет.

— Да хозяевами-то они станут.

— Ну и что ж: в другое место пойду, мне это привычно. Чего ты чешешься-то?

— Вши заели!

— А полезай в печь, мойся. Исподнее дам. Вода в печке.

— Вот хорошо-то!

Тимоша скинул белье и выбросил на мороз в сени. Все еще охая от холода и ежась, он голый возился в избе, тащил в печь то веник, то шайку, то попросил огарок свечи, зажег его и наконец полез.

— Гляди, на шостке уголья, не измарайся.

— Теперь все одно: отмоюсь.

Он осветил печь изнутри, урчал там и веником гнал из себя озноб, усталь, ужас, временами восклицая:

— Господи, как хорошо-то!

— Ой и хорошо!

— Ой, батюшки, как тут тепло-то!

Наконец, раскрасневшийся, потный, полез назад.

Пришло время сна. Андрейша уже спал на скамье, Топтыгу прогнали спать в сени, Кирилл лег на коник, а Тимоша запросился на печь.

Уже лежа на печи под овчинным тулупом, он заговорил:

— А нехорошо так жить, Кирилл, как ты.

— Чем?

— Бобылем-то? Бобылю надо в семейную избу на постой идти.
— Зачем?
— Домового у вас слыхать?
— Не слышно.
— Домовой не любит, когда так вот, без баб, бобыли живут. В таком доме не жди добра.
— А ты женат?
— А как жа! Стал бы один в избе ночевать! Я домового уважаю. Я кажную пятницу от своей бабы отдельно сплю. Пущай, его дело.
— А баба что говорит?
— Не сознается.
— А ты?
— Бил ее. Бил, каюсь. Не сознается. Не приходит, говорит. А как может не прийти, ежели баба одна лежит?
— А может, у тебя домового нет.
— Что ж, моя изба хуже других, что ль?
— А может, твой домовой в Орду сбежал?
— А он нешь татарин? В Орде небось свои есть.
— Ну ладно, спи.
— А я сразу приметил, зачем ты мальчишку в дом взял.
— Ну?
— Домового отводишь. Только, скажу тебе, из них не всякий на это идет.
— Спи, дурак. А то в сени сгоню.
— Не, с печи ты меня уж не сволокешь!
Временами они прислушивались, как гудит метель; скулили волки.
Тимоша заснул, а Кирилл долго еще думал о себе: «Бобыль, бобыль, бобыль...»
Ему снился маленький, бородатый, шустрый старик, который сидел на печи и стучал о чело лапотками:
— Чего ж твоя баба дров не несет? Мне, поди, холодно.
— Домовым завсегда тепло!
— А ты послухай, как дует!
А и впрямь дуло от окна. Кирилл отодвинулся к стене, и больше ничего не снилось.
Утром Тимоша рассказывал, как он уходил из Коломны; спасло его, что в Коломну много людей из Рязани сбежалось. В многолюдии потерялся.
— А тут найдут. Одним махом накроют!

— Ну так в лес уходи.

— Да, если б дорогу знать!

Кирилл всмотрелся в Тимошу. Видать, не притворяется. Страх совсем сбил человека с толку.

— Я б сказал, да надежен ли?

— Я тя предавал, что ль? Меня Гриша об тебе пытал, а я к тебе побег: уходи, говорю! Так?

— Тогда я дорогу тебе открою. Только не сбейся, смотри. В эту пору собьешься — сгинешь.

И в тот же день Тимоша повел ленивого и сонного Топтыгу по дороге на Перевитск, в шалаш к Лешему.

Так наступила зима.

Тридцатая глава

ВИЗАНТИЯ



Кирилл пошел к Олегу. Февральский снег слепил глаза, налипал на выпушку полушубка. Пахло морозцем, и радостно было дышать.

Он обогнал обоз, медленно поднимавшийся в город. Дымившие от натуги лошади терпеливо шагали по ступенькам, выбитым копытами по горе. Ноги у лошадей стали лохматы, а бока обросли длинной шерстью: зима!

В глубоких санях везли плоские желтоватые камни.

Один из мужиков, запрокинув шапку над красным взмокшим лицом, радостно обернулся к Кириллу:

— Вот, батюшка, везем.

— Камень, что ль?

— Везем, везем! Крепкая Рязань у нас будет.

— Доброе дело.

— Да вот потеплело не ко времени. И нонче-то уж тяжело везти, а так день-другой постоит—не вывезешь.

— Может, бог даст, захолодает.

— Дал бы бог: дело нужное.

На горе, в городе, уже разгружался другой обоз. Укрывшись в глубокий тулуп, приказчик кричал:

— Ровняй, кобель! Как кладешь, анафема?

Мужики старались, сбивая до крови руки об острые углы камней.

Завидя Кирилла, приказчик смолк, низко поклонился: знали, что мастер идет, великого князя зодчий.

Олег жил в небольшом бревенчатом тереме. В низкой

комнате темнели ордынские ковры по стенам, будто княжеских богатств ни меч, ни пламень истребить не может. Олег сидел с Бернабой, когда впустили Кирилла. Он привык к генуэзцу: требовал рассказов об Орде, о Мамае, о дальних странах, и Бернаба служил князю усердно, а к Кириллу благоволил.

— Время к весне, — сказал Олег. — Пора думать, как камень класть будем.

— По всему ль городу сразу? — спросил Кирилл.— Может, с башен начнем?

Олег промолчал. Потом, будто в раздумье, полюбопытствовал:

— Где б ты думал поставить мне терем? Тут будто шумно — от площади недалеко. Мне б где-нибудь потише место выбрать.

— А на углу, над Трубежом, высокое место. Оттуда и Оку видать.

— Ты мне обскажи, как ставить терем. Чтоб, как уговорились, хорош был.

— Как у патриарха на Босфоре, поставим.

— Так гляди: завтра спрошу. Обмысли.

— Сделаю, княже.

Ранние сумерки уже погасили свет в маленьких окнах. Зажгли свечу, у икон теплились лампады. Нежный туманный и теплый свет наполнил горницу. Когда Кирилл собрался идти, Олег сказал:

— Людям скажи, чтоб камень везли в тое место, где ты покажешь складывать.

— Да ведь там, где кладут, башни станут. Чего ж его с места на место переволакивать?

— Пущай переволокут. Об башнях разговор в другой раз будет.

— Велю, княже. Пущай.

Бернаба прошел с Кириллом в сени.

— Ты не гневись, Кирилле. Все недосуг до тебя зайти. Андрейка растет?

— Да что ему подеется! Балует.

— Снеси ему.

Бернаба дал золотое яблоко, покрытое толстой, как у кабана, кожей.

— Отколь сей плод?

— С Орды князь получил.

— С Орды?

— Он уж с Покрова с Мамаем перекликается. Дружбу завести норовит. Сам в Орду ехать хочет.

— Чего?

— Силу за ней чует. Мамай заколол хана Махмета. Вроде хана стал. Слыхал?

— Сам?

— Теперь у Орды — сильный хозяин.

— А ты об нем не заскучал?

— Я — Олегов.

— Хитришь... Теперь Олег уж не под татар ли стать думает?

— Да если б великим князем остаться, то и под Ордой бы сел.

— Не твои ль в том хлопоты?

— А ты сей разговор забудь.

— Может, ему ордынским обликом терем удумать? таких строек не строил.

— Строй, как уговор был. Ему и Византия снится.

— Гляди сам. Чтоб потом не перемышлять.

И уже пошел было, да спохватился:

— Слышь, Бернаба!

— Что ты?

— Чего ж это он терем ставить прежде башен выдумал? Со стен бы начать, город крепить, а с теремом успелось бы.

— А ты ставь, как велят. Ты весь — в его милости. Нечего поперек идти.

— Ой, не твои ль тут хитрости?

— А мне чего хитрить? Олегу служу, об его удобстве забочусь.

Кирилл пошел по темному городу. В окне у великого князя по-прежнему светлым туманом горел огонь. Захолодало, дул студеный ветер, небо вызвездило, сапоги скользили по оледенелым тропкам.

На площади пылал костер.

Вокруг костра сидели, укутавшись в тулупы, мужики, невдалеке под дерюгами и армяками стояли выпряженные лошади.

— Ночевать, что ль, тут удумали?

— А где ж? Прежнего-то города не стало; где и есть двор, под гостями али под монахами занято.

Другой примирительно сказал:

— Да нонече ночь, не сказать, что студена. Студеней того видывали.

Кирилл подошел к огню ближе, чтоб поглядеть приказчика и передать ему Олегов наказ. Один из мужиков обратился к белобородому крестьянину, усердно жевавшему корку беззубым ртом.

— Ты, дедок, сулил сказки сказывать.

— А морозно.

— Ежели длинна будет, мы по снежку попрыгаем, опять слушать подсядем.

— Да не. Длинную в тепле хорошо говорить. А тут другие надобны.

Все смолкли. Старик выплюнул корку на ладонь и всунул ее в карман. Отодвинул овчину от лица и, оборотясь к огню, сказал:

— Был грецкий царь и богат и славен, да минуло сие. Вовсе захирела великая Византия. И вот сели греки думать, как им дела поправить. Ниоткули дары им не идут, податные народы отпали, стены в Цареграде обветшали, а чинить не на што. Вот, к примеру, у нас стены пожжены, а мы собрались да паче тех новые воздвигать будем. А там не то. И надумали греки, что никто столько денег не даст царю Константину, как Русская земля. Надобно, значит, опять зазывать русских паломников. А русские туда ходить стали неохочи—дорога длинна, через татар ходить боязно, а святыни и диковины у нас и свои завелись. И решили греки—чем заманить? Думали-думали и вспомнили—как кто из Руси ни придет, всяк спрашивает: а где, мол, у вас Вольгов щит прибит над воротами? А щит, может, и поныне б там висел, да ворота те давно изветшали и рассыпались, а новые построить денег нет. Вот и надумали греки хоть тесовые ворота соорудить и на них Вольгов щит прибить. Пускай, мол, русские приходят — дивуются. Хорошо. Поставили ворота...

— Выходит, дедко, на это нашли казны?

— Да не, из достушек слепили кое-как. Надо щит прибивать. А щит тот давно потерялся. Стали по городу русский щит искать. Великой переполох наделали: нету нигде щита. Николи греки русского оружия себе не добывали. Вот у одной старухи спрашивают: «Нету ли у тебя, Василиса, русского щита—муж-то твой родом с Киева?»—«А может, и есть,—говорит старуха,—поглядите

на дворе». И видят: действительно, длинной, округлой, железной лежит в сарае. «То,—говорит старуха,—муж мой с Киева приволок». Обрадовались греки: хоть одна будет у них теперь память о былой славе—Вольгов щит.

— Хороша слава! Вольг-то их сперва раскрошил, а потом, чтоб о позорище помнили да смирно сидели, щит свой прибил...

— Ты молчи. Твой рассказ и я знаю. Прибили они это над воротами — славу пустили. Приезжают али приходят из Москвы, от митрополита, люди. «Во, — говорят греки, — Вольгов щит!» А москвитяне глянули, да и ахнули: мы, мол, Византию чтим, а гляньте-ка, чем Вольг их победил; это ж корыто, из коего в Киеве гусей кормят!.. Тако греки свою древнюю славу подновили.

Морозные звезды в небесной синеве, ветер, взлохмативший на тулупах овчину и колыхающий пламень костра, снег, отразивший небесную синь, рыжие заиндевелые бороды мужиков и нежная даль Византии — все сплелось в голове Кирилла.

Дед снова жевал корку, а мужики разложили огонь пожарче и приноравливались вздремнуть вокруг костра — благо овчин вдосталь.

— Дедко, — спросил Кирилл, — от кого ты про ту Византию слышал?

— А тебе чего?

— Полюбилось, как сказывал.

— А в лето я на Москву отседа товары возил. Там сказывали.

— Знать, московская сказка.

— Там слыхал. А ты бы шел себе спать.

— Да я уж иду.

— С богом.

Едва отошел, встретилась женщина, увязшая с головой в мужской тулуп. Он бы прошел, но она окликнула:

— Никак, Кирша? Родной!

— Овдотьица! Отколе?

— У родных была.

— А идтить в эту пору одной не боязно?

— Бог не выдаст, свинья не съест.

— Смела!

— Такой уродилась.

— А ты будто бодрей стала.

— Дело одно надумала.
— Ну?
— Только чтоб промеж нас. В Орду пойду.
— Ты?
— Как потеплеет, так пойду. А не управлюсь, па ту весну, непременно.
— Чего?
— Своих выкупать.
— У те затылок... как? Не горячий?
— Не смейся!
— Да не, я не смеюсь.
— Ну то-то. Иди да помалкивай.

Он удивленно посмотрел ей вслед и пошел домой. Ворота были на запоре, он отодвинул потайной кол и протиснулся внутрь двора.

В избе горела свеча, и мальчик лежал на лавке, накинув на босые ноги курчавое овчинное одеяло.

— Чего не спишь?
— Дожидаюсь.
— Спал бы.
— Скушно.
— А не боязно?
— Не.
— Думал, что ль, об чем?
— Мать вспоминал.
— А ты не горюй. Ей теперь уже хорошо.
— А и себя жалко.
— Чего?
— Может, она обо мне плачет. Ночь ведь.
— Она теперь спит. В Орде тьма прежде нас наступает.
— Чего так?
— Спи. Так от бога.
— А ты?
— А мне подумать надо.

Кирилл взял с затопа уголек и сел за стол. От него отодвинулись и стены, и Рязань. На белой крышке стола сияло теплое море, в небе летели белые птицы, а между морем и небом он замыслил диковинный терем, и уголь в быстрых пальцах создавал тот терем на белых досках стола.

Возникла витая арка ворот, проглянули, словно удивленные, глаза-окна. И, как брови, над ними навис карниз.

— О! — воскликнул Андрейка.

— А ты не спишь? — Кирилл оглянулся

Мальчик стоял позади, белый, босой, тоненький, как свеча. Зачарованными глазами он смотрел на рисунок Кирилла.

— Думается, окна б чуть раздвинуть.

— А пуста стена будет.

— Нет, раздвинь.

— Да откуда тебе знать, как лучше?

— А что ж, у меня глаз, что ли, нет?

— Ну, иди спать. Раздвину.

— Сперва сделай.

Кирилл засмеялся, и еще радостней стало создавать этот будущий дом, когда рядом внимательно смотрел мальчик.

Когда он кончил рисовать и оглянулся, Андрейка уже спал, свернувшись на голой скамье. Свеча расплылась, ноги у Кирилла остыли.

Он перенес Андрея на постель, а сам полез на печь. Из темноты видно было, сквозь узкую слюдяную щель, нежно-голубое лунное небо, а по краям оконца намерз иней, и небо казалось втиснутым в пушистый круг.

Когда утром он проснулся и глянул с печи, мальчик быстро метнулся от стола и скрылся под одеялом.

— Любопытствуешь?

Андрей не откликался.

Кирилл полежал еще, думая о рисунке, прежде чем взглянуть на него. Потом слез и подошел к столу. Сперва он хотел гневно кинуться к одеялу и вытащить грешника, но, всмотревшись, подивился: широкие простенки меж окнами были заполнены какими-то склоненными людьми, цветами и птицами. Мальчик не успел дорисовать: оброненный уголек валялся на краю стола. Но окна, соединенные рисунком, сливались в широкий пояс вокруг всего терема, и верх словно висел в воздухе, приподнятый стеблями цветов и крыльями птиц.

— Да глянь-ко, какой ты мастер! — приласкал Кирилл Андрея. — Да ты откройся.

— Боюсь.

— Да не. Не бойсь.

— Я хотел стереть, да не успел.

— Зачем? Ты мне помощник будешь.

— Не серчаешь?

— Вылезай. Печь топить надо.

Сдвинув овчину, Андрей вылез и стал зябко и торопливо одеваться в захолодевшей избе.

— А солнышко-то уж на весну! — увидел Кирилл, распахнув дверь.

С тяжелых сосулек, намерзших над дверью, озолоченная утренним солнцем ползла вниз первая капля.

Тридцать первая глава

ТЕРЕМ



Трава пробивала смерзшуюся землю. Позеленели холмы Рязани. Даже по бурым выжигам бурно пошла нежная зелень. Зима, как змея, уползла в щели и в камни, и когда начали брать камни для кладки, их не легко было отодрать.

Но терем вставал.

Городские стены Олег велел рубить снова из дуба, башни почали ставить тоже дубовые, а терем—каменный.

Каменотесы пели, отесывая неровные края. Каменщики пели, смыкая замесом ряды кладки. Плотники пели, венчая бревна кремля. А многие руки разгребали погорельщину, расчищали город. Вокруг бушевали леса молодою зеленью, зацветали буйно и пестро луга. И лишь городище высилось убого, и о нем печаловались люди, ему служили усердные руки, и песня гремела о нем:

Ой ты, пустынюшка-пустыня,
Наша ты прекрасная раиня...

Раиней, раем высился для строителей этот унылый холм, ибо это была их родина и они ее поднимали из пепла.

Так прошло лето, настал сентябрь.

Кирилловы руки, до крови избитые камнями, забрызганные замесом, не уставали. Лоб измазан, брови запорошены пылью. Синий кафтан покрылся белыми пятнами, борода будто подернулась сединой.

Но Андрейка не видел на Кирилле ни грязи, ни прорех. Мальчик стоял высоко, на верху, на ветру, держа горшок с кашей, накрытой коричневым ломтем хлеба.

— Принес?

— Кушай, отче.

— Сядь.

И снова отвлекался к стройке. Подождав, Андрей поймал Кирилла и повел за рукав к горшку:

— Кушай, отче.

— А тебе не терпится?

— Пора.

Кирилл крикнул вниз со стены:

— Трапезуй!

И песня смолкла. Воткнулись в дерево блестящие топоры. Вылезли из-за онуч ложки, заскрипели горбушки на зубах, и потек запах хлеба и дыма.

Зайдя за недостроенную стену, Кирилл обмыл руки, оплеснул лицо и, утираясь, вновь вышел на стену. Ветер подхватил края полотенца, расшитые узкой алой каймой; словно лебединые крылья, они вскинулись в небесную высоту.

Кирилл постоял, глядя глубоко вниз, где синел Трубеж, и в раздолье Оки, по которой уже текли челны, ладьи и ушкуи. Иные шли из Нижнего Новгорода в Новгород Великий, везли товары с Орды в далекую свейскую землю либо в немецкие города. Другие плыли вниз, из Москвы. Все приставали здесь. На пристани уже толпились пестрые кафтаны, епанчи, халаты. Там уже построились склады, гостиные дворы, сараи—купцам ждать недосуг. На реке теснились черные, смоленые, и красные расписные суда, и оттуда кто-нибудь смотрел сюда, на мечущееся по ветру полотенце, а Кирилл стоял и думал о приволье долгих путей, о красоте невиданных городов.

Что ему этот холм, этот город, когда столько дивных городов на Руси? Он бился за Рязань и, может быть, ныне лежал бы в ее земле, если бы татарская стрела ударила чуть прямее.

За Рязань и Анюту встал он тогда в бой. Бил татар, ибо посягали на его счастье. А не его ли счастье вся эта необъятная ширь Руси, где та же русская речь, где те же неустанные руки творят красоту на радость родичей, на диво чужих земель?

— Кушай! Стынет!

— Давай.

Они сели на выступ.

— Дом-то запер? Народ прибывает. Мало ль кто забредет.

— Снаружи посошком припер. Кто подойдет, увидит: хозяина нет.

— И так ладно.

— Глянь, как руки избил! Без тебя некому камни класть, что ли?

— Рук много, а все думается, сам сложишь скорей.

— Камнем заслонишься, терем не разглядишь.

— Не учи, млад еще. А то разумей: в кои-то веки каменный дом кладут. Были у Москвы Климен с Иваном, добрые мастера. И весь свой помысл вложил в церкви. Хорошо, складно строили, а может, им радостней было бы терем воздвигать либо башню. Да не давали. Вот и зограф Захарий рад бы был своей острой кистью цветы писать, да птиц, да девушек, а кто на то ему красок даст — писал иконы, всю из себя красоту в них выложил. Тож римлянин Борис—забрел на Русь, колокола льет. Сладостный звук у его колоколов. Не к чему кроме ухо приложить, льет колокола, лишь ими живет. То наше время, дитя. Чти его в иконописанье, в зодчестве церквей, в гуле колоколов. Нам нет иной речи, мы говорим так.

Отсюда им было видно лишь небо; вечное, оно опиралось о край их белой стены. И Кирилл, разводя руками, договорил:

— Вот и горячишься — хочется поскорей замысл свой досказать.

— А и в икону можно живых вписать! — подумав, сказал Андрей.

Кирилл на него покосился.

— Тебе десяти годов небось нет, а уж ты мудрствуешь. Неси горшок домой.

— Дозволь побыть, отче.

— Хочется с нами?

— Дозволь!

— Да сиди уж.

— Почивать ляжешь?

— Не, не спится.

А на город уже опускался полуденный сон. Жизнь начиналась до света, и в полдень ложились все.

Кирилл разговаривал с мальчиком, расхаживал по мосткам, внутри стен. И вдруг замер: в просвете, где виден был Олегов двор, к терему шел твердой поступью человек, знакомый по минувшему году. Черная епанча покрывала воинский наряд, голову, будто под тяжестью шлема, гнуло к земле.

«Гришка? Неужели Гришка Капустин? Зачем сюда?»

В сердце Кирилла вползла тревога.

Олег лежал среди своих тоурменских ковров, и Бернаба, сидя в его ногах, говорил:

— Мамай ныне хан. Орда сильна. Кто ж ее победит? Лучше с ней дружить, а Москве улыбаться до времени.

Как ясно умел он вложить в слова тайные Олеговы мысли!

— Орда не свалит тебя никогда: ей твоя власть нужна.

— Нужна?

— Мамай над Русью князем стать не может. А когда княжит друг, зачем обижать друга? А Москва задушит тебя и на твое место сама сядет. Мало ли ныне князей под ней?

«И то правда!» — но этого не сказал.

— А Мамаю нужен друг. Он поможет. Ты станешь на Руси первым...

Отрок вошел внезапно и удивленно:

— С Москвы посланец, княже.

— Впусти.

Быстро скинул ноги со скамьи, сел. Бернаба отошел к двери.

Сгибаясь в дверях, еле влез в терем Гриша Капустин.

— Благословен буди, государь Олег Иванович.

— С чем ты?

— По розыску.

— А по ком?

— Уследили в твоей земле убивца и татя, государева князя Дмитрия Ивановича раба — Кирилла, прозвищем Борода, каменных дел человека, зодчего. От казни сбег. Второй год рыщем. Приказано того человека не миловать, а тебе, государь, боярин Бренко Михайло Ондреич в том челом бьет. Пожалуй, милостивец.

Олег тихо отошел к окну, искоса глянул на высокий терем. Стены уже завершены, начали сводить своды.

Беглых выдавать было в обычае. Но мог и не дать — на рязанские земли Дмитриева рука не простиралась. Однако ж просит смиренно, да и Бернаба даже сказал: надобно до поры к Москве подходить с улыбкой.

— Погляжу — дам ли. Самому надобен.

— Ведаю — надобен. Да виноват боле, чем тароват.

— То сам обсужу...

— Прости, государь.

Задумался: Дмитрий силен. Мамай от похода устал и занят сейчас собой, своих врагов режет.

«Пущай Дмитрий мнит, что Ольг рад дружить с Московским великим князем».

— Да, пожалуй, отдам. Дмитрий-то князь Иванович не какой-нибудь татарский хан, свой человек. От меня ему отказа не будет.

— Дозволишь взять?

— Бери.

— Может, на Москву что передать велишь?

— А вот и передашь... мастера. Дмитрию он надобен, а я себе мастеров завсегда найду.

Бернаба вышел следом за Гришей в дверь и кинулся сенями к амбарам. Там, принимая от мужиков хлеб, стоял убеленный мукой Клим.

— Эй!

— Чего тебе?

— Спеши напрямик к Кириллу. С Москвы за ним прислано. Князь отдал.

— Погляди тут!

Кирилл, услышав тревожный от хрипоты голос Клима, огляделся: оставалось свод свести, но чело терема успел вывести, остальное достроят сами. Опережая Клима, он сбежал со стен.

— Климе, отче, прими моего вьюношка. Приюти. Укроюсь — приду за ним.

— Давай.

— Отче! Я с тобой.

— Куда?

— Всюду.

— Не, бог с тобой!

— Отче! Возьми!

Клим решил быстрее:

— Подь, Кирилле, в амбар. Под моим ключом досидишь дотемна. Князь выдал, княжьим ключом и скроем. Подь скоро, пока сюда не пришли. Там мужиков полно, меж них затеряешься. А ты скачи, Андрейша, домой. Забери ветошь, что унесешь, да ступай к пристани. Там всякой народ, приметен не будешь. А смеркнется—выходи к гостиному двору, будто возы стережешь.

Кирилл залег в длинных закромах ржи.

Ночью Клим его выпустил, вывел с конюшни гнедого Бернабова коня да своего солового в придачу. Они вышли с княжьего двора на пустырь.

— Вот те, Кирилле, каково Олегово спасибо за труды да раны!

Жесткий голос из тьмы прервал Клима:

— Не так сказал!

Клим отшатнулся, но Кирилл с яростью взглянул во тьму — перед ними стоял Олег.

— Побег, Клим, сготовил?

Недобрым оком взглянул на него Клим. Но во тьме за князем могла быть стража.

— Уходишь, Кирилл? — спросил Олег по-гречески.

— Сам видишь, государь.

— А кто ж за твой труд получать будет? Терем-то едва не готов.

— То прощу тебе княже.

— Мне не надо. Прими на дорогу от меня.

Он протянул Кириллу горсть денег, но опустил руку, видя, как Кирилл отстранился. Взглянул на коней, на дрожащие руки бледного Клима, сжавшие повода. И молча ушел: не было с ним ни оружия, ни стражи.

— Эх, жаль! — рванулся Клим, но опомнился: — Кирилл, уходи скорей. Не то людей кликнет!

— А ты?

— Подожду.

— Как знаешь...

— Слышишь?

Во тьме звякнуло чье-то оружие. Кирилл вскочил на коня и увел за собой солового.

Не доезжая гостиного, свистнул. Меж возами свистнул еще. Андрей откликнулся.

— Отче!

— Ну-ка, скорей!

Андрей тотчас приволок тяжелый узел и снова направился во мрак.

— Куда ты?

— Там еще есть.

— Ты, может быть, и самую избу приволок?

— Не. Избу оставил. А чего добро бросать? Князья мы, что ль?

— Ну, давай скорей!

Кирилл спешился и торопливо закрепил узел за седлом. Андрей снова появился, волоча поклажу.

— Как ты доволок-то?

— Я не сразу.

— Ну, давай, садись!

— Уже!

— Ты на коне-то крепко сидишь?

— Как на печке!

Объезжая улицы переулками, наткнулись на заставу. Протянув копье поперек пути, стражи окликнули:

— Кто идет?

— Кирилл Борода, зодчий великого князя.

— С богом!

Их охватила ночная прохлада, ветер потек душистый и легкий — проезжали луга.

Кирилл оглянулся: позади, в Рязани, на высоком берегу горел костер. Розовый пламень освещал каменную белую стену — терем.

— Каменщики костер жгут! — угадал Андрейша.

— И так не замерзли б! — ответил Кирилл.—Угомону им нет! Спали б, на заре им опять на работу.

И яростно хлестнул своего горячего коня.

Тридцать вторая глава

ОРДА

Олег со свитой поехал в Орду.

Ночь застала их под стенами Сарая. Рязанский стан остановился в степи. Пахло мятной прохладой трав, конями. Позвякивали цепи на конях, оружием постукивала стража. Кричала ночная птица.

Из степной тьмы Олег смотрел на освещенный Сарай; шла одна из последних ночей уразы, Рамазана, месяца, когда по целым дням строго соблюдался пост — ни капли воды, ни крошки хлеба никто не брал в рот. Но теперь была ночь, и от звезды до звезды яростно утоляли утробу наголодавшиеся постники — те, которые имели еду и питье. И каждый двор, озаренный свечами, сиял в те ночи, и торговая площадь раскрывала съестной торг, засветив огни над соблазнительными грудами товаров. Город, весь в отсветах огней, костров, простирался вдаль под розо-

вым заревом, как под княжеским одеялом. И оттуда пахло горелым маслом и мясом, оттуда гудели трубы, и дудки, и бубны. Временами долетали гулы толпы, ликовавшей и счастливой от зрелищ.

— Что они творят? — спросил Олег у Бернабы.

— Единоборствуют, обнажаясь до пояса. Либо по канату пляшут в небе. А может, шуты басни бают.

Бернаба уже побывал у Мамая, известил о приближении Олега, и Мамай с Бернабой выслал навстречу князю двух именитых мурз.

Мурзы завистливо смотрели на праздничный Сарай, но скрывали друг от друга досаду, что приходится в такую веселую ночь чинно стоять позади рязанского гостя. Они скрывали досаду на генуэзца, что он не сгинул в рязанских лесах, прибыл с князем, возвращен князем хану. Мурзы скрывали досаду, что хан одобрил Олега, сказал:

— Видно, князь не злобствует за Рязань. Моего слугу уберег, сам едет, дары везет. Встречайте Рязанского князя с честью.

Хитер Олег, что повез Мамаю Бернабу. Хитер Мамай, что встретил Олега с честью.

Утром Сарай раскрыл свои ворота перед Олегом. Улицы заполнил народ, глядя русских воинов. Но в воротах Олега не встречали, на улицах князя не привечали, никто великого князя Рязанского Олега Ивановича в Орде не почтил, кроме двух мурз, молча ехавших по городу впереди Олега.

На дворе, отведенном рязанцу, поставили стражу, и как это понять, Олег решить не смог: для почести ли и охраны, для того ли, чтоб не смел со двора сходить. А когда сказал, что хочет сперва пойти в церковь отслужить молебен за благополучное завершение пути, долго переговаривались, спрашивались у Мамая, спрашивали и у православного епископа, должно ли идти князю в церковь.

В этот день в саду, где цвели деревья, хан снова слушал обретенного фряга. Бернаба говорил:

— Сила его не велика. Но гнев на Москву велик.

— Зависть — не гнев! — сказал Мамай.

— Завистью распален до гнева, до ярости.

— Годится? — спросил Мамай.

— Слаб. Одного его мало.

— А еще кто есть?

— Есть. Всякий Дмитриев враг — нам друг.
— У Дмитрия есть и русские враги.
— Не остается. У него есть и не русские враги.
— А ну?
— Ольгерд из Литвы Дмитрию враг?
— Он умер.
— А сыновья есть.
— Вчера сказывали: двое Ольгердовых сыновей перешли к Дмитрию. На Ольгердовой дочери женат Дмитриев брат — Владимир Серпуховской. Ольгердов племянник Боброк на Дмитриевой сестре женат. Они все в родстве. Все — из одного гнезда, а наше гнездо — другое.
— А Олег в наше гнездо пришел.
— Слаб. А то б он напомнил нам, как Бату-хан его родню резал.
— А у Ольгерда много сыновей. Кто стал под Дмитрия?
— Андрей, Дмитрий.
— Ягайлу забыл, хан. Ягайла этим братьям враг. А все литовское войско у Ягайлы.
— Двадцать тысяч воинов Олег наберет. Сорок тысяч Ягайла наберет. А остальных где взять? Наших ты под Рязанью сам видел.
— Воинов у тебя нет, но золото есть. Золото Орда в скольких боях копила? А золото можно перелить во все — в коней, в оружие, в воинов.
— А ты, вижу, думал в Рязани об Орде?
— О тебе, хан. Орда — мне чужой край. Ты мне — родной отец.
Долговязый, тяжелоносый, круглоглазый генуэзец ласково просился в сыновья к хилому, маленькому, кривоногому татарину. И хан внял нежной сыновней просьбе — подарил Бернабе халат и перстень. А перстень был золотой, и золотым огнем сверкнули глаза генуэзца от этого первого золота, попавшего в его руки. Он поспешил на Рязанское подворье.
— Хан те шлет, государь, поклон. Сейчас постится. Пост пройдет — будет с тобой говорить.
Олег нахмурился: посту еще неделю быть. Надо неделю ждать. Но что делать: Олег не хан, а только князь из разоренной Рязани.
— Благодари хана за милость — дождусь!

Бернаба подумал: «Сколько захотим, столько подождешь!» Генуэзец уже не скрывал, что вновь перешел к хану.

— Мой хан справляется, доволен ли ты, Ольг Иванович, едой, слугами, постоем?

— На тебе, Бернабушка, от моей бедности подарочек. Ты ведь мне не чужой — будь другом.

И еще один перстень получил Бернаба.

Мамай как-то спросил его:

— В кого ж перельем мы наше золото?

— Есть в горах яссы, в степях есть черкасы, в пустыне тоурмены, в Кафе есть генуэзцы и во многих окружных областях есть народы и люди, жадные до золота, до добычи, до грабежа. Скажем им, посулим, дадим, они пойдут...

— Охота ли им умирать?

— Каждый надеется, что стрелы летят в грудь соседу.

— А если вонзятся в их грудь?

— Больше нам останется. Мертвые платы не просят.

Пост не препятствует труду. Искусные плотники ставили новые столбы перед ханским домом. Столбы высокие, вырезанные острым резцом бухарских мастеров. Садовники расчищали сады. Пересаживали кусты цветущих роз ближе к дому. Может статься, что и засохнут эти кусты, но не прежде, чем рязанский гость, Олег, пройдет мимо них, иначе засохнут садовники. Мамай готовил свой дом, как ткут ковер, плотно сплетая нить с нитью, чтобы создать прекрасные узоры: хан знал — Олег учен, умен, горд. Он хотел раскрыть перед ним свою утоленную гордость и скрыть под тем ковром свое жадное, голодное сердце, коему одно утоление — Москва.

И Олег пришел в этот сад.

Они разговаривали, словно не лежал между ними пепел Рязани, словно не пасся рязанский скот в ордынских степях, словно не руками новых рабов богатеют татарские воины.

— И вот, — говорил Олег, — известно мне: Дмитрий тебе, хан, враг. И мне враг.

Но Мамай только слушал — пусть князь сам напрашивается: не Мамаю ж кликать себе помощников!

— И тебе лучше, и мне лучше — его сломить.

— А силен ли он?

— Да ведь и мы слабы не будем. Призовем Ягайлу Литовского. Поделим промеж себя Русь. Мне — Москву, Суждаль, Новгород, Ягайле — Смоленск, Псков. Будем тебе дань давать по-старому, как при Батыге давали.

— А сберете ль столько?

— Чего же не собрать? Русь велика. У Дмитрия хозяйство крепкое. А наши руки глупее, что ль, Дмитриевых? Он у тебя скидку выторговал, а гляди, как озолотел на том! А то б тое золото тебе ж бы шло.

— А на что мне Москва? И золота у меня вдосталь.

— А кто его знает, может, Дмитрий удумает твое золото у тебя отнять?

Брови Мамая колыхнулись, руки сжались.

— Ну нет! — Превозмог себя, сказал спокойно: — Что ж, князь! Готовься, посмотрим.

— Буду готовиться!

— Готовься.

Мамай не только принял дары от Олега, но и сам Олегу отдарил.

«Пусть не выносит из Орды обид».

Еще Олег плыл по Волге в Рязань, а уж в Сарае встретили нового гостя.

Тридцать третья глава

МИТРОПОЛИТ



Во вторник 26 июля 1379 года наместник митрополита всея Руси Михаил-Митяй переехал через Оку, направляясь в Царьград к вселенскому патриарху Нилу принять посвящение.

Из разукрашенной отплывающей ладьи он смотрел на высокий коломенский берег. На берегу стояли провожавшие его от Москвы до Коломны великий князь Дмитрий, старейшие московские бояре, епископы; сияли золотом их облачения, сияло золото икон в их руках, сияли хоругви над их головами, гудели над Коломной колокола, вставали на горе башни и церкви родной Коломны.

Широким взмахом руки Митяй благословлял их. Высокий, широколицый, он смотрел назад, и ему казалось, что это берег отходит от него. Неожиданно из-за темных башен к белым июльским облакам взлетела, кружась, белая голубиная стая.

Давно ли он на том вот берегу гонял голубей над бревенчатыми теремами? И так же вот сушилось красное и серое белье на шестах в слободе, такие ж стояли бабы на пристани. Но тогда никто не смотрел на него, а сейчас сам Дмитрий, великий князь, трижды облобызал его щеки, сам большой великокняжеский боярин Юрий Васильевич Кочевин-Олешинский возглавляет Митяеву охрану, три архимандрита, шесть митрополитских бояр, сам московский протопоп Александр, игумны, переводчики, клирошане, всякие слуги и много подвод, груженных казной и ризницей, сопровождали Митяя в Царьград.

И еще вез Митяй с собою две белые хартии, скрепленные печатями Дмитрия, дабы при нужде вписать в них от Дмитриева имени свою волю.

Никому из митрополитов не воздавалась такая честь. Дмитрий, отправляя Митяя, хотел перед всеми показать, что выбор князя тверд и волю великого Московского князя всея Руси следовало уразуметь царьградскому Нилу, патриарху Вселенной.

И вся эта великая честь еще выше подняла голову Митяя. Он смотрел на голубей, благословляя коломенский берег, а казалось, что в небе видится незримый свет и бог благословляет Митяевой рукой Московскую землю, — так стало светло его лицо и слезы текли из глаз.

«Вся моя жизнь вам, московские голуби!»

Несколько недель спустя, уже за пределами Рязанской земли, в ковыльном просторе древних половецких степей Митяя остановили татары:

— Хана Мамая племянник — Тюлюбек болен. Хан просил тебя сотворить молитву над Тюлюбеком.

— Милостью бога Тюлюбек встанет с одра здрав. Ведите, я помолюсь о нем.

Мамай ждал Митяя в Сарае. Его рассердил самоуверенный ответ Митяя. Вечером Мамай говорил с Бернабой. Но Бернаба ответил издалека:

— Дала Орда Москве право собирать со всей Руси для Орды дань?

— Дала. Великому Московскому князю Ивану.

— А он от того стал богат. А став богат, стал силен, — тебе денег недодавал, с князей лишнее брал. Сам на те деньги мечи ковал, а князья под ним хирели. Он крепнул против нас своей властью над русскими князьями. Так?

— Так.

«А если вера покорна узде, если не она ведет, а ею правят, — думал Кирилл, — чего же ради принимал я муки, ради чего смирялся? Чтоб выше и выше вставал Дмитрий?»

Всю ночь протекала мимо, волна за волной, вся быстротечная жизнь, вся долгая, многими событиями растянутая жизнь.

Вот он лежит, опрокинутый навзничь, в лесной берлоге, и множество людей по Руси лежит так, таясь по лесам, либо отдыхая от работы в звериных норах, завернувшись в звериные шкуры, боясь говорить человеческие слова, опасаясь друг друга, одичалые, втоптанные в землю, из которой они растят для других хлеб и добро. Дед в Коломне сказал, что были времена, когда было иначе. А будут ли такие времена?

Как поднять руку на князя?

Только ночью, только в глухом лесу, только в полусне могут родиться такие мысли!

Разбросаны по лесам, все порознь, по деревням, а деревни не боле двух-трех дворов, — где найдут люди единую мысль? Их собирают воедино лишь затем, чтоб ходить в поход, биться за княжеские города.

«Битву бы нам! Чтоб победить, чтоб там, пока все вместе, просить... У кого, чего? Микейшу б спросить! Да спит. Да и что скажет?

Лютое свое дело сам знаю. А иного Микейша не ведает. Андрейша мал. Надо хоть его вывести из лесу. А куда, к кому?»

Во всем мире был, хотя и далеко, один человек. Может быть, был! Коему можно было грубо сказать правду, коего не стыдно было просить.

Если бы Мамай не погубил, не увел бы али не спугнул Анюту, был бы человек! Но тогда, может, и Андрейши у Кирилла не было бы.

Он решился.

Едва рассвело, достал из сумы лоскуток бумаги, развел талым снегом ссохшуюся медвежью кровь и написал:

«Во имя отца и сына и святого духа!

Отче Сергие,
прости мне дерзновение мое, ибо аз есмь грешен, блуден и нечист вельми. Аз не ведаю, коим зрением прозрел ты

меня и познал, но ежли ты зорок столь, не стыжусь, не робею: видишь падение мое, но ведаешь, что не упасть не мог. Был бы я мудр, но телом хил, избрал бы, как ты, спутников себе из богатырей, преподобный отче. Был бы могутен, но разумом темен, следовал бы за мудрецом, и мудрец оборонялся бы моими руками, моими бы руками душил врагов. И меня б осуждали за жестокосердие, и его похваляли б за беззлобие и кротость.

Аз есмь обучен книгам, а жизнью обучен жизни и крепок телом. Сам зрю путь, своими руками душу врагов. И не себе милости, не хулы, не суда молю — молю об отроке, зане он слаб и немощен, а лес суров, и время наше суровое. Приюти и подними его дух, яко аз грешный приютил его тело.

Несть в мире никого кроме, кто пригрел бы его, а студено и вьюжно вельми».

Крещенские морозы трещали по всей Руси. На реках лопался лед, в лесу обламывались обмороженные ветки. Птицы замерзали на лету и, упав, ударялись о наст, как камешки.

А на Москве-реке, против Тайницкой башни, воздвигли иордань. Сложили изо льда храминку — купель над прорубью, обставили зелеными елками, а доброхотные руки украсили колкую зелень красными, синими и пепелесыми лоскутками и лентами, словно цветами.

В Крещенье на иордань сошлась вся Москва.

Позади епископов, на алом ковре, без шапки, стоял на льду Дмитрий.

Клир пел. Епископ опустил в прорубь большой серебряный крест, и крест сверкнул в его руках, как ледяной, а серебро заиндевело.

Весь великокняжеский двор позади Дмитрия стоял без шапок. Лишь дряхлый князь Тарусский окутал голову красной шерстяной повязкой.

— Блюдите русское благочестие! — завещал митрополит Олексий. — Оно есть обод вокруг Руси; оно есть обруч и оно есть меч.

И тысячи москвитян стояли вокруг купели на льду. Женщины сплошь скрылись под шалями и платами, меховые воротники и выпушки обросли инеем. Дыхание поднималось белыми клубами.

Но едва епископ окунул кропило в купель и хлестнул студеной капелью по лицам предстоящих и молящихся, к проруби кинулись больные, чающие исцеления, скоморохи и гусельники, плясуны и блудодеи, торопившиеся христианским подвигом искупить накопившиеся за год грехи.

На берегу они сбрасывали на лед шубы, и тулупы, и валенцы, скидывали рубахи. Причитая молитвы, они стремительно окунались в прорубь, и еще раз, и еще третий раз, и с остекленелыми глазами, охваченные льдистым ожогом, набрасывали на себя тулупы и валенки. Иные тут же, едва запахнув тулуп, падали и катались по снегу, чтоб скорее пришло тепло.

А и не столько было бы на водосвятии богомольцев, если б не ежегодная эта скоморошья купель, совершаемая во искупление плясок и песен и всех иных языческих забав.

Отбыв крестный крещенский ход, Дмитрий грелся в своем тереме горячим медом, терся спиной о раскаленную печь:

— Ой, дюже холодно!

Сумерки застали его за столом, и, отирая рушником пальцы и бороду, он одобрительно покачивал головой:

— Ой, и жирны беломорские осетры!

Дмитрий сошел с крыльца и вместе с Евдокией и сыновьями сел в покрытые ковром, поверх мягкого сена, сани и, сопровождаемый многими такими же санями с ближайшими и родней, поехал кататься по Москве.

Сани, задевая о заборы и стены своими дубовыми грядками, мчались по скользким до блеска дорогам, под морозными звездами. И следы от полозьев сверкали на снегу, как мечи. А Дмитрий, склоняясь к веселой, раскрасневшейся Евдокии, пофыркивал:

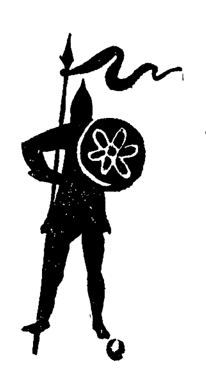
— Ну и мороз! Дух захватывает!

По оледенелому городу трещали от мороза бревенчатые избы, народ расходился с Москвы-реки, свистели по снегу полозья, и подшибали прохожих раскатившиеся розвальни.

Тем часом шли по Москве двое калик. У старшего на лицо наползла шапка из рысьего меха, бурые брови срослись на переносице, горбоносое лицо обросло соломенной

бородой, а горбина на носу рассечена. А зеленые глаза озирались, ворочая белками. И одна рука висела, как плеть. А другой, маленький и тощий, смотрел вокруг темными пытливыми глазами на высокие башенки церквей, на разукрашенные быстрые сани, разглядел и Дмитриево лицо. Но шел и молчал.

Так, безвестные, они прошли в тот день по Москве.

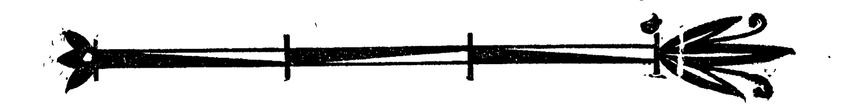




Часть третья







Тридцать седьмая глава

МАМАЙ



Настала весна 1380 года.

Едва первая зелонь покрыла степную даль, Мамай повел свои кочевья вверх по Волге.

Прошла зима, полная забот о большом походе, переговоров, посулов, задатков, даров. Не спеша шли стада в сочной молодой траве. Кони набирались сил, с верблюдов комьями отваливалась заскорузлая зимняя шерсть, на многие версты вокруг гудело блеянье овечьих стад.

За стадами следовали юрты воинов, их семьи, домашний скарб. Скрип телег, визг тяжелых колес, говоры, мычанье стад — извечный гул ордынского похода медленно, но неуклонно полз к северу.

В первые дни июня Мамай переправился через Волгу. Немало времени и труда ушло на перевоз, но и это минуло десять дней спустя. Орда уже снова медлительно и неудержимо ползла к северу. По пути начали присоеди-

няться новые, неведомые племена и воинства. Мамай не спешил — он хотел, чтобы разноплеменные воины успели снюхаться между собой, как стадо со стадом.

При устье реки Воронежа Мамай задержался.

Отсюда он послал Бернабу по дороге на Кафу, навстречу генуэзской пехоте, чтобы торопить и горячить чужеземцев посулами и соблазном близких побед; послал молодого мурзу Исмаила к Олегу Рязанскому — напомнить об уговоре против Дмитрия, а мурзу Джавада отправил в Литву к Ягайле, с которым за зиму хорошо успел договориться.

На высоком взгорье, у впаденья Воронежа в Дон, Мамаю поставили стеганый шелковый шатер, и хан смотрел, как привольно сливаются русские реки, как жадно пасутся на тучных полях ордынские табуны, — еще Чингиз завещал давать коням волю и покой, если готовишься к большому походу: «Кони—это наша поступь по времени».

Этого не знали враги, в этом была тайна быстрых переходов, нежданных ударов, заходов в тылы врага. Еще были тайны, завещанные Чингизом. Мамай их знал и хранил. Он знал, что никогда не выдерживали враги охвата со всех сторон, — враги готовили удары в лицо, скопляли силу в едином месте, а татары не били в это лицо, они лишь отвлекали врага, а всю свою силу бросали на края, на оба разом, и тем рушили единство вражеских войск, сминали их и врывались в беззащитные страны. Это была вторая тайна Чингиза. Были и еще великие тайны. Их соблюдал хан Батый и побеждал неизменно. Их внимательно изучил и запомнил хан Мамай.

Он сидел на холме, среди полевых цветов. Ему сказали: из Рязани прибыла женщина, которая хочет говорить с ханом.

— Женщина?

— Так, хан.

— Из Рязани?

— Так, хан.

— От Олега?

— Нет, хан. Сама.

Он был один и послал за ближними мурзами. Когда мурзы сошлись и сели на ковер у ног Мамая, он велел ее позвать.

Она вошла и сразу поклонилась ему, словно уже видела его. Переводчик сказал:

— Это рязанская баба Овдотья называет тебя царем, и кланяется тебе, и просит, чтобы ты ее выслушал.

— Слушаю бабу Овдотью! — согласился Мамай.

— Когда ты пожег Рязань... — сказала женщина.

— Припоминаю, — сказал Мамай.

— Ты увел в полон мужа моего, брата моего, свекра моего и деверя моего. Пришла я просить: отпусти, дай откупить мне этот полон у тебя, царь Мамай.

— Не бывало еще, чтоб бабы сами по этому делу ездили.

— Мужиков в моем роду не осталось.

— Кого ж со мной поведет князь Олег, если у него мужики иссякли?

— Того, господин, не ведаю, где он таких мужиков возьмет.

— А почем ты платить за свою родню будешь?

— А почем думаешь положить?

— Восемь коней за каждого.

— Хватит у меня на одного.

— Кого ж выкупать станешь?

— Брата, царь.

Мамай удивился:

— Брата? А муж?

— Замуж выйду, муж будет; будет муж — свекор будет; муж будет — сын родится, а сын у свекра родится — деверь мне будет. А брата мне уж нигде не взять — родители мои в Рязани сгорели.

— Все ли у вас бабы в Рязани таковы? — усмехнулся Мамай.

— Все ли, не ведаю, да я не краше иных.

— С лица ты и верно не красна, шрам вон на лбу, лет тебе не совсем мало...

Мамай посмотрел на своих мурз. Ему хотелось удивить их. Он вспомнил: великие завоеватели мира всегда проявляли щедрость, чтобы потомки с удивлением вспоминали о них; потомкам надлежало также вспоминать острый и мудрый ответ, облекающий эту щедрость. Бернаба подсказал бы, но Бернабы не было. Тогда Мамай сорвал распустившийся возле ковра жесткий белый цветок и подал его Овдотье:

— Иди по моей Орде, доколе не увянет этот цветок, и тех из своей родни, кого успеешь сыскать за это время,

бери без выкупа. Аллах завещал нам проявлять милость к женщинам.

Овдотья, потупившись, с горечью взглянула на цветок, но вдруг лицо ее просветлело:

— Благодарю тебя, царь, — ты сам не ведаешь меру своей щедрости.

Мамай самодовольно улыбнулся: «Глупая женщина».

Овдотья, в сопровождении воинов, не спеша пошла по Орде. Цветок в ее руке был галечник—беленький донской бессмертник.

В этот день пришли два известия.

Олег извещал, что собирает войска, что оружия у него вдосталь, что уговор свой блюдет крепко, но и Мамая просит не забывать своих слов.

В ответ ему Мамай отправил гонца и велел передать Олегу только одно слово:

— Помню.

Вторая весть была от Бернабы.

Бернаба встретил в пути черную пехоту из Кафы и возвращается с ней: через три дня они будут у устья реки Воронеж.

Мамай отослал второго гонца в Литву сказать князю Ягайле Ольгердовичу:

— Мамай помнит свое слово, но и ты, великий князь Ягайла, помни свое слово.

Хан не знал, что от самого Сарая среди его воинов идут люди Дмитрия. Хан не знал, что Дмитриевы пограничные стражи стоят и на реке Воронеже.

А в Московской страже на Воронеже в ту пору были — Родион Жидовинов, Андрей Попович и пятьдесят иных удальцов. Одиннадцать дней они объезжали Орду, едва смогли ее объехать за одиннадцать дней!

В этот, двенадцатый день один из них попался татарскому разъезду — еле успел двоих свалить, как остальные стащили его с седла, накинув аркан на шею.

На закате дня, когда тяжелое багровое солнце лениво увязло краем в степной траве, к Мамаю привели Андрея Поповича.

— Наш разъезд поймал. Откуда взялся, не ведаем.

— Откуда взялся?

— Чего откуда? Я на своей земле.

Но день прошел хорошо, давно не было у Орды столь обширных войск, и Мамай засмеялся:

— Ты не московский ли?

— Угадал: московский.

— А ведомо ль моему слуге, Мите Московскому, что я к нему в гости иду?

— А небось ведомо.

— А ведомо ль, что силы со мною двенадцать орд и три царства, а князей со мной тридцать три, кроме христианских. А силы моей семьсот три тысячи. А после того, как ту силу считали, пришли ко мне еще великие орды, тем я числа не знаю.

— Ведомо ль это, не ведаю, но прикажешь — я извещу.

— Вот, ступай извести. Да спроси, может ли слуга мой Митя всех нас употчевать?

Мамай отпустил воина: в силу свою, которой равной на свете нет, он верил, пускай Дмитрий узнает о ней из уст своего же воина — больше веры будет.

Воин спокойно прошел через весь ханский стан, вырвал узду своего коня из рук ханского конюха, влезая в седло, будто ненароком, ткнул пяткой в чье-то татарское лицо, сел и поскакал к северу. Мчался по ночи, чтобы степная трава к утру встала позади, закрыла б след.

А утром Мамай собрал обширный совет князей, мурз и военачальников. Сидя на коврах и на ковыле, они покрыли весь холм. Их великое число наполнило Мамая гордостью.

— Отдохнули мы. Со времени Бату-хана отдыхали. Пора поразмяться. Мы пройдем по Русской земле, как Бату-хан хаживал. Русским золотом обогатеем. Русские города испепелим, укротим строптивую гордость наших русских слуг!

Он вспомнил о Дмитрии, и сердце его облилось яростью:

— Казним строптивых рабов! Они забыли о великой силе Великой Орды!

Маленький, он прыгал на своем ковре, поворачиваясь на все стороны, чтобы через головы ближних рассмотреть лица дальних своих союзников.

Его охватило нетерпение. Он приказал наутро трогаться вверх по Дону — этот путь, как стрела, летел к Москве.

И каждый день прибывали и отбывали гонцы, присоединялись новые князья и племена. Шли к Мамаю его

подданные, шли нанятые. Пришла лихая тоурменская конница на тонконогих, как лани, конях.

Огромное кочевое море медленно ползло вверх по Дону.

Тридцать восьмая глава

ОЛЕГ



Олег прошелся по своему каменному терему. Мягкие сапоги неслышно ступали по пушистым коврам. Снаружи зной, а внутри прохлада и полумрак.

Перед огромной иконой всех святых горела большая голубая лампада. В доме еще пахло ладаном от недавних панихид — у княгини Евфросиньи умерла мать. Умерла ко времени — новый дом всегда мертвец обновляет, но покойница умерла вдали от этих мест, и — кто знает? — очистила ль ее смерть место живым в этих стенах. А может быть, и не умерла б, если б Евфросинья не забыла в новые печи из старых жар перенести.

Он подошел к иконам. Угодники, выписанные византийской кистью, радовали глаз гибким сочетанием линий, слиянием ярких красок в единый узор.

Он смотрел в седые бороды, стекающие по ликам, как струи воды, в изможденные лики великомучеников, в смуглые, нездешние скулы древних христианок, целомудренно закрытых эллинскими покрывалами.

Он ходил один, полный тоски и смятения.

Много лет готовил он поход на Москву. Еще с Титом Козельским они однажды всю ночь разговаривали: сидели на теплой печи, была зима, смотрели, как обмерзло окно, и разговаривали... Много было надежд, и каждая казалась выполнимой: взять и уничтожить желторотого Дмитрия. С той поры минуло много лет. Но мечта осталась.

Он подготовил все. Всю эту зиму переговаривался с Мамаем. Переговаривался с Ягайлой, многое забыл и уступил ему. Сговорились двинуться воедино, и, казалось, нет в мире силы, равной их совместной силе.

Он отошел от икон, сел у окна за резной ореховый налой, на котором любил читать и временами переписывал греческую «Александрию». Пришла весть, что Мамай кочует по реке Воронежу. Зачем он спешит — не тер-

пится? Ведь уговорились на сентябрь, а теперь лишь июнь, последние дни светлого, зеленого июня.

Он достал плотный листок бумаги и быстро написал в Литву. Он напомнил Ягайле о сроках и посоветовал готовиться прежде времени. Его охватило сомнение — не задержится ли Ягайла, не случится ли какое препятствие? Лучше раньше времени собраться вместе. А не заколеблется ли Ягайла, не припадет ли слухом к словам лукавых советников? Он быстро приписал:

«А Дмитрий, едва сведает о Мамаевой силе да о нашем союзе с ним, обезумеет, кинет свою Москву, убежит в дальние места, в Великой ли Новгород, ли на Двину, а мы сядем в Москве, ли во Владимире и, когда хан придет, встретим хана с большими дарами, упросим не рушить городов наших и, как сулился хан, получим ярлыки —ты, государь князь великий Ягайла Ольгердович, возьмешь себе к Вильне свою половину Московской земли, а я — к Рязани — другую. А посему надобно нам соединиться до времени, чтоб разом по Дмитриевым следам в княжество его вступить и на стол его сесть».

Он обернул письмо шнуром, запечатал красным воском и недолго подержал в руках прозрачный желтоватый свиток.

Приоткрыв дверь, велел отроку позвать боярина Епифана Кореева. Во дворе ярко сиял день, и в окно были видны ладьи под красными и синими парусами, идущие вниз к Оке.

Боярин вошел, накланялся, остановился у двери.

— Здоров буди, государь.

— Епифан Семенович, в Литву те шлю.

— Дорогу знаю, Ольг Иванович.

— Грамоту сию Ягайле свезть. Да чтоб скоро.

— Сам ведаешь, мешкать не приобык.

— Так с богом, Епифан Семенович.

— А изустного ничего передать не велишь?

— Да коли понадобится, сам скажешь: надо, мол, не мешкать.

— Понимаю, государь. Нонче ж выеду.

Они попрощались. Но Кореев задержался.

— Там весть, государь, была. Будто Мамай уже двинулся с Воронежа. По Дону кочует.

Олег вздрогнул: началось!

— Чего ж мне не сказывали?

— То беглые баяли. А от стражи вестей нет.

— Ну, ладно, скачи.

Опять остался один.

«Что будет, если Ягайла раздумает? Мамай-то уж идет!»

Они далеко, они когда-то еще дойдут, а Дмитрий — вот он, а глаза его всюду, да еще и Софроний там... Поп, духовник, иуда!

Он захромал к иконам. Искусно написаны, но тонкая кисть византийского изографа больше не увлекала. Он постоял и пошел к налою. Быстро, со сверкающими глазами, торопливо, горячей рукой написал Дмитрию:

«Ведомо ли тебе, князь Дмитрий Иванович: Мамай со всею поганою Ордой идет в землю Рязанскую, на меня и на тебя. А силы с ним великое множество — яссы, армяне, буртасы, черкасы, фряги и твой ненавистник Ягайла с ними. Я им путь прегражу, доколе сил станет, еще рука наша тверда; бодрствуй, мужайся!»

В раздумье положил перо и медлил свертывать письмо в свиток:

«Испугается? Сбежит? Но меня уж не коснется!»

Он завязал шнур и только теперь заметил: печать все еще оставалась в левой руке. Втиснул печать в восковой комочек, посмотрел, отчетливо ли вышло имя. Но кого послать?

Он прошелся по терему.

В это время в двери появился отрок. Олег стремительно кинулся к налою и спрятал под крышкой свиток.

— Что тебе?

— Мамаев гонец.

— Ну?

— Велишь привести?

— Чего ж ты стоишь?

— Звать?

— Ты что, отроче? Что ты смотришь? Я тебе что сказал?

— Не пойму, государь. Там Мамаев гонец.

— О, господи! Зови!

Татарин, покрытый пылью поверх шершавых пунцовых сапог, в стеганом толстом халате, опоясанный домотканым кушаком, снял шапку, но остался в полосатом тюбетее поверх бритой головы. Из-под тюбетея на уши свисали две жирные косицы, и не то от них, не то от сальных, бле-

стящих скул этого коренастого и кривоногого воина нехорошо пахло.

«Нашел гонца!»

— Царь и великий хан тебе шлет привет. А велел сказать, что он, царь и великий хан, помнит. А ничего еще сказать не сказал.

Слегка почесываясь, татарин спокойно оглядел комнату.

«Ковры, что ли, со стен содрать собрался?» — подумал Олег.

Татарин оглядел и пол, и налой, будто Олега тут и не было. Так же почесываясь, не спеша пошел вон.

«Хорош гонец!»

Злоба охватила Олега; если б умел, заплакал бы от обиды: великому князю Рязанскому, потомку святых князей Черниговских, присылают этого вшивого верблюда...

Перешагивая через пыльные следы на полу, Олег громко крикнул в сени:

— Вызови боярина Афанасия, да чтоб срядился в путь немедля же. Живей!

Он вынул письмо к Дмитрию и, держа его, сел на скамью. Когда охватывало нетерпение, всегда садился — так скорее приходило успокоение.

Афанасий Миронов пришел не сразу, пришел уже сряженный в путь.

— Отвезешь, Афанасий Ильич, в Москву, великому князю Дмитрию: самому отдашь да передашь поклон. Да о здоровье справься. Да глянь, как там у них.

Миронов удивленно принял письмо.

— Воск-то, государь, поистаял. В руке, что ль, долго держал?

Воск действительно размазался по свитку — руки, что ль, горячи? Олег снова смял воск и снова выдавил на нем свою печать.

— Так в Москву, государь, везти?

— А что?

— А я было не понял, сказал: видно, говорю, князь в Орду шлет. Их ведь гонец, сказывают, прибыл. Думал, с ним.

— Зачем в Орду? Я уже сказал: к Дмитрию, Афанасий Ильич. Да чтоб скоро.

— Да ты нетерпелив, государь, знаю. Не задержу. Только б кони вынесли. А я со своими, в семействе, про-

щаюсь и говорю: не иначе—в Орду. Ну, прощай, государь. Я это скоро сделаю.

— Смотри, и чтоб чисто.

— Сам понимаю. Не в Орду еду... Да только, Дмитрий-то, он человек простой, не твоей учености.

И еще кланялся и прощался, пока дошел до двери. Опять Олег остался один.

«Не моей учености? Совсем никакой учености нет! О нем митрополит Алексей патриарху Филофею писал: «Князь наш книгам не был учен, но писание сердцем разумеет!» Разумеет! Что может он разуметь, если не учен? Достоин ли князем быть? А вот княжит, а вот под него народ, князья под него идут, Тарусские, Белозерские, книжники, книгочеи и очей с него не сводят, о великих делах советуются! Что он может? На золоте сидит, над всей Русью стал, один я противлюсь, а он в деревянной избе живет, сам на конюшне коней доглядывает. Конюх! У черного люда на поводу идет, а люд и рад!»

— Отроче!

— Слушаю, государь!

— Татарин где?

— По двору ходит, смотрит.

— С ним Мамаю отпис будет.

— Скажу, государь.

— Да чтоб завтра поутру проводить. Да скажи, чтоб кормили исправно, да положить хорошо.

— Положить думали в кметне, государь.

— В кметне и так полно. В сенях скажи постелить, на той стороне, да чтоб не тревожили попусту.

— Скажу, государь.

Опять остался один. Сел, обдумывая ласковое письмо к Мамаю.

Тридцать девятая глава

МОСКВА

Ранним утром второго июля, когда солнечный свет еще стлался по росе, Дмитрий с Евдокией, с детьми, Боброк с Анной Ивановной, Владимир Андреевич Серпуховской с Еленой Ольгердовной, Андрей Ольгердович Полоцкий длинным поездом, верхами и в расписных возках, с челядью, с отроками, с большими

московскими боярами, а бояре тоже с женами поехали в вотчину к Дмитриеву свояку Микуле Васильевичу Вельяминову в гости, на именины.

Скрипели колеса, игриво ржали лошади, рядом с возками бежала челядь, что-то кричали княжата, видя среди бегущих слуг своих соперников по голубиным гонам и по игрищам.

Великой княгини Евдокии младшая сестра Марья, именинница, и муж ее Микула Вельяминов стояли перед крыльцом на разостланных по траве коврах, держа на резном блюде хлеб да соль. И Микулы Васильевича дядя, окольничий Тимофей Васильевич, два года назад бившийся впереди всех на Воже, тоже встречал — он приехал сюда еще с вечера, помогал готовиться к гостям.

Ребята встретили ребят, кинулись вместе большой ватагою в сад, там многое было, что не терпелось показать. А взрослые долго здоровались, целовались, поднимались наверх в терем, а в тереме уже стояли яства на расставленных под белыми холстами столах—покушать с дороги: жареная дичина, да соленья, вареные да пареные меды, да рыбы, засоленные по-свейски, с луком и перцем, и пряные угорские колбасы, и от всего стоял аромат приправ и пряностей, пахучих трав и кореньев, словно в лесу.

А когда закус шел к концу, под окнами загудели сапели да дуды, девушки завели хороводные песни, и гости заторопились на крыльцо, вышли во двор, стали вокруг пляшущих, похлопывали в ладоши, подбадривали плясунов, а плясуны стеснялись раскрывать свою удаль — ведь сам Дмитрий Иванович небось глядит!

Но княжны, а за княжнами и боярыни вошли в круг, сверкнули шелковые китайские платочки, завились узорчатые фряжские сарафаны да шемаханские, персидские шали, и не смог устоять Дмитрий — сбежал с крыльца и вошел в середину круга, похлопывая ладошами, потоптывая каблуком. Ободрились и скоморохи, и дуды запели заливистей и звонче, а впереди был еще длинный день, обильный обед и покой; светлые облака предвещали долгий летний погожий день.

А в домах по Москве люди вскакивали, прижимаясь к окнам, выскакивали на крыльцо, вслушивались в проносящийся мимо затихающий конский топот, торопились взглянуть на всадника, бежали к площади разузнать: не

гонец ли? Только гонцам, да и то не всем, разрешалось так мчаться по городу по пути к Кремлю.

А если гонец: с чем? чей?

Смолкли сапели, хрипло прервали свой гуд дуды, остановился недоуменно раскрасневшийся девичий круг: Дмитрий, насупившись, в отдалении внимал гонцу, и никто не решался к ним подойти, пока сам не кликнет.

Дмитрий прошел через расступившуюся нарядную толпу, через смолкший праздник прямо к хозяину.

— Микула Васильич! Где б нам подумать? Чтоб никто не мешал.

— Наверх пожалуй.

Дмитрий позвал ближних.

И впереди всех вошел в столовую палату, где слуги готовили столы к обеду. Как воробьиная стая, исчезли слуги, и один из столов остался открытым, со скатертью, брошенной посреди стола. Дмитрий молча постелил ее сам, пока ближние сходились. Испуганные женщины и потревоженные бояре столпились в соседних палатах, девушки затаили дыхание в сенях.

— Идет Мамай! — сказал Дмитрий. — Две вести зараз. Один стражник с Воронежа, Попович, Мамая сам видел. А в Кремле сидит-дожидается рязанский боярин Афанасий Миронов: от Ольга грамоту привез. Ольг нам кланяется, да опоздал: мы его землю выручать не станем. А коли хочет, пущай свои полки сюды под нас шлет. Чесаться нам некогда, собираться надо живо. По князьям слать людей сей же час! По Москве вытчиков да вестников расставить седни же, пущай народу чтут, грамоты составить живо!

Бoброк спросил:

— А что гонец видел? Каков Мамай?

Дмитрий рассказал.

Боброк спросил:

— А ежли б еще кого туда послать, задержать бы, потолковать бы?

— Сейчас вышлем.

— Надо передовые отряды выслать, пущай Мамай знает, что ко встрече готовимся. Да присмотреть за Ордой.

— Сейчас вышлем! — согласился Дмитрий.— Еще что?

— Значит, народу с ним много всякого. А Ольг-то!

— Мамай нашему стражнику сам похвалялся: Ольг, мол, с нами да еще твой братец Ягайла, — Дмитрий по-

смотрел на Андрея Ольгердовича Полоцкого — тоже будто с ним.

Владимиру Серпуховскому Ягайла доводился шурином.

Владимир подумал: «Вот Елене опять слезы: брат, скажет, на брата, муж тоже на ее брата».

— Кого б к Мамаю послать? — спросил Дмитрий.

— Да хоть бы боярина Захарью! — предложил великокняжеский дьяк Внук.

— Тютчева?

— Его. Он их знает.

— Я супротив не буду. Он где?

— Сейчас покличу! — кинулся к двери Микула Вельяминов.

Дмитрию незачем было возвращаться в Кремль: около него были князья и бояре, они крестили детей друг у друга, менялись крестами накануне битв, а битв у Дмитрия было много, и за годы походов перебратались все, стали покрестовыми братьями.

Тютчев вошел скромно и тихо.

— Шлю тебя, боярин, к Мамаю. Вызнать, выведать — сам знаешь. А главное, покажи — знаем, мол, о твоем нашествии, не робеем. По пути разведай, чего там в Рязанской земле деется.

— Ну дак что ж. Я, государь, с радостью.

— Тяжело мне тебя слать, Захарий Андреич. Я понимаю: к татарам едешь. И сам это понимай.

— Понимаю и радуюсь, государь.

— Выбрал бы другого, да лучше тебя на это дело никого нет.

— И не надо. Ежли что, так на тебя, государь, надеюсь — дети не заголодают.

— Это не к чему говорить.

— Только уж, Дмитрий Иванович, помни: ежели что, я у господа всегда твой предстатель, буду о даровании победы молить. Бейся крепче.

— Давай попрощаемся, Захарий.

Они крепко обнялись и поцеловались.

Тютчев, не глядя ни на кого, поклонился направо и налево и, опустив голову, быстро вышел.

В дверях повстречался Боброк, и Тютчев особенно низко поклонился князю: все чли и любили Боброка, да и побаивались его — его начитанность, его неизменные успехи в битвах стяжали ему славу волхва, чародея, способ-

ного видеть многое далеко вперед, читать в сердцах людей. И князь Боброк, в юности своей, на Волыни, знавший волхвов и кудесников, беседовавший и бродивший с ними, не отнекивался, иной раз соглашался погадать по звездам, по звездам случалось ему водить полки по ночам, а по ночам никто тогда не хаживал. По звездам он выбирался из непролазных лесов в незнакомых краях, нежданно оказывался не там, где его враги ожидали, и слава колдуна и волшебника укрепилась за Боброком даже в станах врагов.

— Пошел, Тютчев?

— Прощай, Дмитрий Михалыч.

— Не робей!

И это напутствие успокоило Тютчева: а может, и правда Боброк знает, что робеть незачем? Человек легко уверяется в том, во что хочет верить.

А Боброк вошел к Дмитрию:

— Первая стража пошла. Послал их к Быстрой Сосне.

— Кто повел-то?

— Родивон Ржевский, а с ним выпросился Волосатый Андрей да Василий Тупик. Еще много хороших ребят вызвалось.

— А как там Бренко?

— Поскакал в Кремль. Кто гож, всех разослал.

— Никого не позабыл?

— Возможно ль! Ко князьям ко всем. А по городам сейчас из Кремля разошлет. Как уговорились — велел к тридцать первому дню июля всем в Коломну сбираться.

— А ты, Владимир Андреич, Москву готовь к походу. Потом все выступим. Через Москву многие пойдут — и Белозерским, и многим ополчениям иного пути нет.

— Это приготовим! — сказал Серпуховской.

Дмитрий вдруг посмотрел на пустые столы, скучавшие под белыми скатертями, и повел носом.

«Неужели и к делам ехать не евши? — подумал Дмитрий. — Ну нет!»

Он углядел Вельяминова, взволнованного, сидевшего с краю скамьи.

— Микула Васильевич! А кормить-то ты нас будешь?

— В походе-то?

— Чего в походе? Сейчас!

— Да, братец! — не веря собственной радости, растерялся хозяин. — Государь! Давно уж готово: я все сумле-

вался, не уехали б так, не обедавши. Сейчас и то уж небось перепарилось!

И Дмитрий вышел в переполненные палаты, где дети и жены, иные уж раскрасневшиеся от слез, ждали их.

Будто не понимая их взволнованных, вопрошающих лиц, он сказал:

— Проголодались? И я тоже: сейчас позовут, обедать будем.

И у всех отлегло от сердца. Только Евдокия подошла и тихо спросила:

— Ничего?

— Ничего, должно быть, не перепарилось, пахнет хорошо.

И она успокоилась тоже.

Дмитрий незаметно вызвал Боброка.

— Ты, княже, последи, чтоб на Москве была тишина. Будто и нет печали. Да не спеши, не спеши, сперва пообедай.

— Потом пообедаю.

Андрей Полоцкий кивнул Боброку:

— Митя!

— Чего тебе?

— А как бы узнать, неужели брат Ягайла...

Боброк тихо ответил:

— Я уже знаю — с ними. Пойди к государю, скажи ему, что мы это знаем.

Евдокия стояла среди повеселевших женщин, глядя в сад: там под яблонями тихо шли ее Дмитрий и князь Андрей Полоцкий; чуть отставая от Дмитрия, Полоцкий что-то тихо ему говорил. Вдруг Дмитрий порывисто остановился и повернулся к Андрею. Тот потупился и кивнул головой.

И снова тревога сжала ее сердце.

Сороковая глава

СЕРГИЙ

Дмитрий, Владимир Серпуховской да кое-кто из бояр, с небольшой дружиной, поскакали в Троицу к Сергию. Ждать Сергия в Москву не оставалось времени, а на Москве митрополита не было, не у кого было спросить напутствия.

Тяжелый лес висел над их головами; кони похрапывали, чуя невдалеке зверей, шарахались от коряг и буре-

ломов. Солнечный свет, пробираясь между стволами, стоял по лесу голубыми полосами, и одежда всадников переливалась, то погружаясь в лучи, то выбиваясь в тень; оружие то вспыхивало, то погасало. Просек был неширок, кое-где поперек пути валялись рухнувшие от ветров и ветхости неохватные стволы, и сдвинуть их не было сил. Тогда нарубали хвойных ветвей, настилали их на стволы и, ведя коней в поводу, переправлялись.

Уже день клонился к вечеру и по лесу растекалась тьма, когда с краю дороги Дмитрий увидел крест.

— Это чего?

— Тут, государь, в позапрошлом годе гонца твоего убили. Боярин Бренко распорядился о сем кресте.

Дмитрий перекрестился, боязливо оглядываясь по сторонам. Конь рванулся, приметив овраг либо почуяв волнение князя. Ворю они перешли вброд уже ночью.

Когда в предрассветном тумане увидели Троицу, в монастыре звонили утреню; монах, думая о чем-то далеком-далеком, отвернулся и мерно раскачивался вслед за языком колокола. Но движения его оборвались и колокол смолк, когда привратник впустил в монастырские стены воинов. Узнав Дмитрия, монах неистово рванулся под звонницей, и широко вокруг по лесу, захлебываясь, забился колокольный звон. Из келий выбежали монахи, и богомольцы, и паломники. В церкви осекся дьяконский бас, и дьякон, побледнев, спал с голоса. Дмитрий неодобрительно взглянул на молящихся, обернувшихся спиной к алтарю, чтобы разглядеть князя, но он увидел девчушку — любопытными глазами, не отрываясь, она глядела на него, раскрыв рот и почесывая животишко, и на сердце у него снова водворился мир.

Дмитрий прошел вперед, и богослужение возобновилось.

Как все, со всеми заодно, он опускался на колени, касался лбом пола, видел только живописные образа перед собой, расписанные, как райский сад, царские врата и позолоченного голубя над ними.

И все, видя Дмитриеву молитву, молились горячо: понимали, неспроста явился князь, что-то совершается большое в мире, и мира миру вымаливали со слезами на глазах люди, давно лишенные мирного труда, измученные ордынской данью, набегами, угнетенные страшными рассказами о вражеских нашествиях на Русь. Один Дмитрий



Московский решился бить татар и побил их на Воже. Теперь он стоял здесь.

Большеглазый тонкий мальчик прислуживал Сергию: выходил впереди игумена со свечой, подавал, раздувая угли, кадило. Когда Сергий что-то шепнул мальчику и тот улыбнулся, заспешив из алтаря в ризницу, улыбка мальчика показалась Дмитрию столь печальной и милой, что защемило сердце нежностью и тоской. Мальчик принес драгоценный византийский посох и остановился у амвона, ожидая Сергиева выхода.

Наконец окончилась утреня, Сергий снял убогое холщовое облачение. В старом, порыжелом подряснике, перепоясанном кожаным ремешком, он принял от келейника разукрашенный посох и сошел к прибывшим. Он благо-

словил князей, и следом за ним они пошли по монастырю в его келью.

Когда они проходили через сад, мальчик, идя следом за Сергием, срывал с кустов ягоды и пригоршнями подносил то одному, то другому.

Дмитрий погладил его по голове:

— Хорошо, отроче.

И мальчик поцеловал Дмитриеву руку.

— Чей это? — спросил Дмитрий у Сергия.

— А вот по зиме ко мне пришел! — И вдруг улыбнулся: — Помнишь ли, рыбу с тобой на Переяславском озере ловили? Монаха я перевез?

Улыбнулся воспоминанию и Дмитрий.

— Тот монах твоего гонца убил. И ушел, и я уж позабывать о нем стал. Но вот приходит ко мне зимой раненый разбойник, рука его иссыхает, речет, яко великий грешник: «Дозволь, отче Сергие, отмолить грехи свои, послужить твоей пречестной обители». — «Много ли грешен?» — спрашиваю. «Много грешен, отче!» — и покаялся во множестве великих злодеяний. И я его принял. Эти люди в монастырях тверды, ибо иной мир им закрыт. Он с собой привел сего отрока. И при отроке от того расстриги Кирилла письмо; а в письме, оно велико, написана вся жизнь того человека, вся великая гордыня его, и просит он, дабы принял мальчика, ибо в лесах, где от гнева твоего таится, нет приюта ни больным, ни слабым, а тем паче для такого вот вьюношка. И я его взял.

Дмитрий пригляделся к Андрейше.

— Что ж, страшно в лесах?

— Не вельми, государь, но тяжко: стужа велика, а укрыться негде. Пещеры роют, людей к зиме сошлось много...

— И все злодеи, убийцы? Злой народ?

— Не злой, господине.

— Но злодеи.

— Бог им судья.

— Это отец Сергий научил беззлобию?

— Нет, не отец Сергий, а злодеи.

— Дивно сие.

— Ты, господине, сам их спроси. Пусть каждый скажет всю свою жизнь до шалаша лесного.

— Разумно речешь. А свой-то путь помнишь ли?

И Андрейша в скупых словах рассказал.

Дмитрий не решился погладить мальчика по голове, смущенный его взрослой речью.

Рассказ отрока слушал и Сергий. И он сказал:

— Бывало, и в прошлые годы, после Ольгердова нашествия, да и прежде того, много на Руси оставалось сирот, покинутых на холод и голод. Монастыри их брали, растили, приучали к монастырским ремеслам, других посадили на пашню; пашню они пашут на монастырь, а хлеб им дают из монастырских житниц месячный, а на платье им дают из монастырской казны.

Дмитрий взглянул на разделанные поля за садом, а за полями густо темнели леса, и в тех лесах тоже таились монастырские пашни, деревни и починки. Владения Троицкой обители разрослись далеко вокруг доброхотными дояниями князей и бояр и неутомимым усердием братии, присоединявшей к монастырю вольные деревни, склонявшей крестьян пахать монастырщину.

Всюду затихала жизнь при появлении великого князя, всюду безмолвно следовал за Дмитрием Андрейша, и Сергий сказал о нем:

— Мы его учим иконописанью, зане в том вельми искусен и рачителен.

Так они дошли до соснового крылечка Сергиевой кельи; и это была первая встреча великого князя Московского с великим художником Андреем Рублевым.

Они дошли до соснового крылечка Сергиевой кельи. Смолкнув, в тишине, переступили порог.

В низкой бревенчатой келье горела лампада, пахло ладаном, кипарисом и каким-то душистым маслом. На полке лежали книги, стояла глиняная чернильница и сверток в красной холстинке.

В низеньком окне, в которое смотреть можно лишь сидя, виден был пчельник, заросший кустами смородины. Черные гроздья смородины свисали из-под широких листьев, и солнечный свет проникал кое-где сквозь листья в траву. Мирно было здесь, вдали от битв и воплей, вдали от страстей и тревог мира. И Дмитрий успокоился.

— Снова наступает час испытания, отче Сергие, — сказал князь. — Кого просить о молитве, от кого ждать совета и наставления? Ты силен в вере, а вера движет горами...

Сергий подошел к Дмитрию и положил ему на плечи свои ладони:

— Не тревожься, господине, будь тверд и мужествен. Иди вперед! Иди вперед бесстрашно и твердо. Все обмыслил я здесь, в единении, все, что узнавали мы об Орде, все, что рассказывали мне о твоих сборах. Чаша стала перетягивать к нам. Еще бы пообождать, она бы перевесилась поболе, но ведь и там, видно, чуют, куда клонится чаша, там тоже опасаются упустить время.

— Видно, так, — ответил Дмитрий.

— Час встречи надвигается и неизбежен. Ждать нечего. Сильнее не станем, ежели будем ждать, а слабее станем, ибо враг успеет собраться да изготовиться. Враг будет неистов, ибо Орда, ежли вернется к себе без победы, падет. Это ее бой решающий, но и для нас он решающий тож. Крови польется полная земля, но, коль враг одолеет, вся жизнь наша кончена. Не останется городов, не останется и монастырей; где же тогда будут лежать книги наши, наша вся мудрость, знания, вера? Снова потекут века рабства, и Русской земле уж никогда не встать. Не бойся ни потерь, ни крови. На тебе вся наша земля лежит, сие есть груз тяжкий и темный; напрягись, сыне мой, господине мой, Дмитрий Иванович, мужайся.

— Не уступлю! — ответил Дмитрий. — Сам вижу, отче Сергие, нельзя уступать.

Сергий вышел вперед. Все стали на колени.

— Помолимся же, братие, близится час...

Они поднялись с колен более спокойные и более сильные. Дело их правое, время их лихое, и тое лихо пора сбросить с плеч.

Сергий взял с полки красный узелок, развернул большую вынутую просфору и дал ее князю. Большеглазый мальчик стоял у самой двери, может быть, на всю жизнь запоминая полумрак этой кельи и молитву людей, собравшихся одолеть врага.

Вокруг кельи начали молча собираться люди — монахи, богомольцы, крестьяне, прослышавшие о приезде Дмитрия. Жаждая увидеть его, они рассаживались на земле, возле кельи; стояли, упершись в посохи, оборотясь лицом к Сергиеву крылечку. А на крыльце висел глиняный рукомойник, тихо покачиваясь, и лежала вязанка валежника, еще не изрубленная на дрова.

Старик паломник подошел к вязанке и взял из-под нее топор — чтоб руки не мучились бездельем, хотел поколоть дровец.

Но монах строго ему сказал:

— Не замай, тое преподобный сам колет, чужим трудом своей кельи не обогревает.

Солнце блистало недобрым, прозрачным светом, осень близилась.

Андрейша показался на пороге, и народ поднялся, торопясь к мальчику.

— Ну, что он?

— Благословил.

— Слава тебе господи! — ответил старик паломник. — Давно пора!

Набежал недолгий дождь. Люди стояли, не расходясь. От промокших одежд запахло прелыми яблоками.

Еще не прошел дождь, когда на порог вышел Дмитрий.

Старик паломник протиснулся вперед:

— Собрался, государь?

Дмитрий его не сразу понял. Старик повторил:

— Батюшко! Возьми нас с собой!

Дмитрий пошел между ними, отовсюду сжатый людьми.

— Сбираются в Москве. Туда идите.

В это время на звоннице грохнул звон, из церкви понесли иконы и хоругви, монахи запели, и народ подхватил древний напев воинственных молитв. Ведя в поводу княжеских коней, народ провожал Дмитрия, шедшего с Сергием и с князьями впереди всех. Ветер трепал их непокорные волосы, с деревьев опадали листья, дождь то затихал, то набегал снова.

Так дошли они до колодца, где в сторону от дороги отбегала узкая лесная тропа.

Тут, перед лицом всех, великий князь опустился перед Сергием на колени, и Сергий трижды поцеловал Дмитрия и благословил.

— Иди! Будь тверд! Он не допустит нашей погибели!

И Дмитрий взглянул на обрызганные дождем лица людей, обращенные к нему отовсюду.

И всем им ответил:

— Иду.

Он принял из чьих-то рук коня и, ставя сапог в стремя, поглядел: все ли видели, что Сергий благословил его на битву; это означало, что с Дмитрием — бог.

Сорок первая глава

ВОИНСТВО

Глашатаи кричали на площади и на папертях:

— Соединяйте силы супротив врага!

Попы, встав перед алтарями, призывали народ на бой. Гонцы промчались во все города, ко всем подручным князьям: ростовским, ярославским, белозерским. У приказных изб, у городских ворот писцы читали Дмитриев призыв к походу.

Время было страдное — кончился сенокос, начиналась жатва. Жнецы, передавая серпы в руки жен, завязывали пояса, набрасывали на плечи одежины и в лаптях, еще пыльных от родных пашен, уходили в ближние города, на ратный сбор.

Между Русью и врагом еще простирались леса, туманы и реки, а тяжелой поступью из дальних княжеств и из городов уже шли к Москве русские ополчения. Шли конные рати, шли пешие. Ехали впереди ополчений воеводы. Остановки бывали коротки, переходы долги: за шеломами лесов ждала их Москва, и каждому было лестно прийти прежде других—Можаю прежде Суздаля, Костроме прежде Ростова, — в том была гордость городов — первыми явиться на голос Дмитрия.

Высоко поднимались стены Кремля, выше стен стояли каменные башни, далеко было видно вокруг с их сторожевой высоты. В Кремле уже полно было звона оружия своих и пришлых воинов, уже всюду стояли различные говоры — медлительные владимирские, певучие ростовские, быстрые костромские.

На Кремлевских стенах толпились воины и горожане, смотрели вдаль. Снизу кричали:

— Видать?

— Явственно.

— Кто ж там?

— А небось тверичи.

— По чем судишь?

— Оружие, видать, древнее.

С башен подтверждали:

— Не наше оружие, у нас эдакое вывелось.

Вдали поблескивала щетина копий, белел чей-то конь впереди полков, и золотыми крестами вспыхивали алые стяги.

Ополчения русских городов шли к Москве. Москва их ждала, широко распахнув крепостные ворота.

Прошел слух, что через Троицкие ворота входит новгородское ополчение.

— А велико ль?

— Тысячей пятнадцать, а может, боле того. Иван Васильев Посадник привел, да с ним сын, да Фома крестный...

— Косой?

— Ага. Да Дмитрий Заварежский, да Миша Поновляев, да Юрий Хромой, да...

— Может, туда пойдем глядеть?

— А чего? Сейчас тверичей глядеть будем.

Когда ополчения вступали в московские слободы, шаг их твердел, веселел. Ополченцы поднимали над остриями копий священные холсты знамен. Тяжело раскрылись на древках расшитые золотом тверские знамена, много раз ходившие супротив Москвы.

— Неужто сам Михайло ведет?

— Не. Михайло сухожильный, этот покоренастей.

— Да и млаже, видать.

— То Холмский князь Иван, Михайлин племяш. Его мы тоже бивали. Не чаяли в Москве встречать.

И народ с неодобрением глядел: в руках тверичей — рогатины:

— На медведей, что ль?

Топоры:

— По дрова, что ль?

Сулицы да ослопы — от такого оружия Дмитрий уже отучил Москву.

— Тяжело да неповоротливо. Не тое ныне время!

— А конь-то белой. Смекай: от великого, мол, князя Тверского!

На Дмитриевом крыльце Холмского встретили московские бояре. На верху крыльца его обнял Боброк.

— Государь Дмитрий Иванович в Троице. Мне велел тебя потчевать.

— Не в гости прибыли, княже.

— Доброе слово, Иван Всеволодович. Государь Михаил Александрович здоров ли?

Это он, Боброк-то, интересуется, столько раз водивший московские рати на Тверь!

— Благодарствую, княже, здоров, и поклон шлет, и

велел сказать: молит господа о ниспослании победы воинству нашему.

Холмский, едучи в Москву, сомневался: достойно ли, не с подручными ль наравне примет его Дмитрий. Между Михаилом Тверским и Дмитрием Московским был уговор о совместных походах на татар. Уговор-то уговором, а честь — честью. Но встретили с честью, и Холмский спешил скрыть свои опасенья, спешил смешаться с другими князьями, опередившими его.

«Дмитрий сам бы вышел, если б случился в Москве. Прибыли не прежде подручных — тоже хорошо: не честь Твери прибыть прежде Можая».

К вечеру возвратился Дмитрий. Еще с дороги, видя дымы над стенами Кремля, сказал:

— Собираются!

И плечи распрямились, голова поднялась, уверенно проехал мост и под радостные клики среди толпившихся по улицам воинов еле пробрался к своему двору. А из воинов каждому не терпелось взглянуть, каков он, который поведет их к победе.

Днем позже подоспели Белозерские полки. С ними пришел князь Федор Романович с сыном Иваном. Москве понравилось их вооружение — чистое, оно отражало небесную синеву, из-под стальных варяжских либо свейских кольчуг белела холстина рубах, расшитых голубыми разводами. Было много среди белозеров рослых, широкоплечих детин. Волосы их были нежны, словно соломенные, а бороды русы и курчавы, и казалось, что это озерная пена заплелась в завитках бород. Отцы их хаживали на Варяжское море, бились со шведами, привозили своим женам отбитые в боях аглицкие и свейские наряды. Деды их заселяли север, без остатка истребляя врагов, а захваченных женщин брали ласково; из них выходили горячие жены, и народились от тех жен добрые молодцы с широкими плечами, с зеленым огнем в глазах.

Князь Федор остановил свое войско, оглядел его, одобрил и повел в Боровицкие ворота. А в Никольские тем временем входили собранные монастырями воинства монахов и монастырских крестьян.

Передав своим боярам заботу о белозерах, Федор поехал на княжой двор. На дворе Федора встретили московские воеводы и пошли с ним ко крыльцу. Федор пошел, чуть сутулясь, вверх по лестнице, покрытый белым пла-

щом на красном подкладе с широкой каймой по краям, в синих сапогах, в синей высокой шапке. Сын, отставая от отца на две ступеньки, тоже слегка сутулясь, поднимался с ним.

На середине лестницы Федора встретили бояре и, вернувшись, пошли впереди наверх. В передних сенях Белозерских встретили князья Тарусские и Боброк.

Один из Тарусских заговорил с Федором по-гречески, но седой Федор, любивший греческую речь, отвечал по-русски, и отвечал строго: не время, мол, княже. Ноне время русское.

Боброк ввел северян в комнату. Дмитрий стоял, широко раскрыв руки, и Федор крепко обнял Дмитрия.

— Вот он! Настал час!

— Настал, княже.

Дмитрий повернулся к молодому Ивану:

— А о тебе небось там девушки слезы льют?

— Не без того! — улыбнулся за сына Федор. — Прибудет воды в Беле-Озере к нашему возвращенью.

В иное время Холмский обиделся бы, что Белозерского почтили тремя встречами, ведь Белозерск прикуплен к Москве еще Калитой. Но за время, проведенное среди московских стен, Холмский забыл о тверской спеси. Да и к тому же родня вся за Дмитрием; чего ж Холмскому-то отбиваться, не русский, что ль? А что прежде дрались — на то было иное время.

Перед выступлением из Москвы Дмитрий послал в степь вторую стражу следить за движением Орды — ни от первой стражи, ни от Захария Тютчева не приходило никаких вестей.

В светлое августовское утро Клим Поленин, Иван Святослав и Гриша Судов с отборными богатырями второй стражи собрались у Кремлевских стен. Задумчиво и душевно провожали их в путь: что откроет им степь, вернутся ль? Их коней под уздцы довели до ворот, пожали молодцам на прощание руки, долго смотрели вслед.

В полдень прибыл гонец с литовских границ: из Белева шла к Дмитрию дружина белевичей. Вел дружину скотобой Василий Брадин с сыном Максимом да внуками — Петром, Андреем, Михайлой и Александром. А с ними Федор Мигунов да белевские бочары, маслобои, шестьсот человек.

Дмитрий сказал гонцу Петру Брадину:

— Не то дорого, что много вас, а то любо, что с литовских рубежей да по Рязанской земле идете. Скачи: велю, мол, на Москву не идти, а спуститься ниже по Оке, дожидаться нас в Коломне.

Гонец, держа шапку в руках, поклонился.

— Благодарствую, государь.

— Нет, ты сперва покормись да коня подкрепи.

— Благодарствую, государь, где уж есть, коли дело стоит. Надо поспешать.

— Голодному-то?

— Голодной да свободной лучше сытого да обритого.

— Остер!

— Мы, государь, скотобои, — без острого орудия пропали б.

— Ну, добро. Только сперва поешь. Такова моя воля. Какая ж это война с пустым-то чревом!

Войска разместились по городовым избам, по монастырям, в трапезных церквей, а то и среди дворов, по-разному. Великие запасы сберегла Москва, чтоб прокормить всю эту силу, но ополчения пришли, и со своим запасом. Когда белевский гонец Петр Брадин пошел по княжьему велению поесть перед дорогой, от множества зовов голова у него закружилась: звали и новгородцы к своим харчам, и суздальцы к своей трапезе, и ружане к своей еде, и можаи к своему столу, и белозеры к белозерской сыти, и костромичи ко яствам, и переяславичи к рыбной снеди, и володимерцы к вареву, и москвичи к угощенью. Одними зовами Петра столь употчевали, что, когда принял у сурожан ложку, не осталось сил похлебать кулеша. Поел через силу, только чтоб исполнить Дмитриеву волю, даже медок хлебнул без радости, и заспешил в путь.

Десятого августа на утренней погожей заре заревели боевые трубы — карнаи на башнях, воеводы сели на коней, и, развернув знамена, войска вышли из Кремлевских ворот. И так велико было воинство, что шли из Кремля через трое ворот, через Никольские, через Фроловские, через Константино-Еленинские. Шли с войсками попы, несли древние чтимые иконы. Через трое ворот весь день шли из Кремля войска.

Кроме князей, воеводами были: у володимерцев — Тимофей Валуевич, у костромичей — Иван Родионович, у ружан — Пуня Соловей, у Переяславского полка — Андрей

Серкизович, а всех сил в тот день вышло из Москвы более полутораста тысяч, и еще никогда на Руси не видывали такой великой рати.

Проводив воинов, Дмитрий вернулся в Кремль. Не останавливаясь, он поехал в Архангельский собор и вошел под темные гулкие своды. Здесь под тяжелой плитой лежали зачинатели дела, кое он собрался завершить,—Иван Калита, Семен Гордый и Дмитриев отец — Иван. Над его гробницей Дмитрий остановился и трижды поклонился, протянутыми пальцами касаясь пола.

— Говорю те, отче! Мы идем. Ежели предстоишь перед богом, проси нам помощи; рать наша велика, да и вражья сила велика тож...

Он постоял, будто прислушиваясь, и вдруг с тревогой и отчаянием наклонился к гробнице и с досадой, что никто не откликается, крикнул:

— Мы идем, отче! Слышь, что ль?

И вздрогнул.

— С богом, государь! — сказал ему ласковый и тихий голос. Дмитрий строго обернулся: позади смиренно стоял поп Софроний, великокняжеский летописец.

— Дозволь, государь, сопутствовать.

— Там те голову сорвут, поп!

— Не за что им ухватиться будет.

Дмитрий улыбнулся:

— Иди, собирайся.

Евдокия тоже пришла в собор. Они стояли с ней рядом, но не на княжом месте, а посреди высокого пустого храма, где лишь у алтаря причт служил напутственное молебствие. И рядом с Дмитрием заплаканная, но молчаливая Евдокия казалась маленькой девочкой, послушной и кроткой.

А тем часом войска уже шли по трем дорогам в Коломну. Владимир Серпуховской вел свои полки Брашевскою дорогой, Белозерские шли Болванской, а Дмитриевы — на Котел. Невозможно было всем уместиться на одной дороге.

После ночи, полной слез, наставлений и молитв, на заре, Евдокия провожала Дмитрия. Боярыни от нее поотстали, она одна дошла с Дмитрием до княжеского коня.

— Не горюй, Овдотьица! — сказал Дмитрий. — Самому мне боязно — дело такое...

И молча гладил ее поникшую голову. Она ждала, а что он мог ей сказать?

— Город на воеводу Федора Андреевича оставляю. Он вас оборонит, да и не от кого будет оборонять-то.

— Жив возвращайся.

— Это как сложится...

Он передал ее на руки боярынь, которым и самим-то было тяжко: ведь у каждой — муж, а все мужья ушли.

Дмитрий взял с собой десятерых сурожских купцов — чтоб эти привычные к скорой езде люди разнесли потом по Руси и по миру спешную весть о Дмитриевом походе, — Василья Капцу, Сидора Ольферьева, Костянтина Волка, Кузьму Кувыря, Семена Коротоноса, Михайлу с Дементьем Сараевых, Тимофея Веснякова, Дмитрия Черного да Ивана Шиха.

Дмитрий сверкнул позлащенным стременем, рванул коня и поскакал.

А Евдокия все еще стояла на зеленой траве двора, прислушиваясь к тому, как со скрежетом поднимались подъемные мосты, запирались ворота, одиноко ржал чей-то оставшийся конь.

Княгиня поднялась к себе в терем. Мерно гудели колокола, хлопотали возле нее боярыни, сулились заночевать в ее сенях, чтоб не было ей тоскливо коротать эту холодную ночь.

— Нет, — откликнулась Евдокия, — в собор пойду.

И стояла там среди сотен заплаканных женщин, и, хотя женщины раздвигались, давая ей место, она не пошла вперед, стояла среди них, всплакивала с ними; и эта большая общая скорбь утешила ее. Много она раздала в этот вечер милостыни — хотелось всем помочь, у кого дети, у кого болезни, все остались без опоры, а женщинам тяжело одиночество; время суровое, темное — живешь и непрестанно вдаль глядишь, не вздынется ли пыль в поле, не покажется ль вражья сила... Единым часом живешь, в грядущий день не веришь, улыбаться опасаешься, чтоб судьбу не искушать, чтоб не наслала судьба за эту радость скорбей и бедствий. Тяжесть и страх над всеми. И вот пошли мужья, сыновья и братья скинуть с плеч этот непосильный гнет.

Сорок вторая глава

РЯЗАНЬ

По зеленому княжному двору перед Олегом водили высокого каракового коня, чтобы князь вдосталь насмотрелся на новокупку. Расстилая длинный хвост по ногам, чуть вытянув голову, конь ходил вслед за конюшим, и лишь навостренные уши и вздрагивающая холка выдавали, что конь волнуется при виде новых людей.

«Если б малость посветлей!» — думал Олег про коня.

— А до чего же быстр! — радовался конюший.

— Мне на нем не зайцев гонять! — строго ответил Олег.

Коня привели с Орды, но, видать, и в Орду он был заведен со стороны.

«Осанист ли?» — обдумывал Олег. Князю казалось, что коню чего-то недостает.

Он решил приглядеться к нему в сбруе.

— Седлай!

Воины и кое-кто из бояр, и княгиня из высокого окна, и впереди всех княжич Федор, и челядь — все смотрели коня.

— Диковина!

Коня подвели, накрытого красной попоной под зеленым шемаханским седлом. Почувствовав на себе ремни, конь собрался, поднял голову, стал баловать, норовя столкнуть конюшего.

— Н-но!

— На таком не стыдно и в Москву въезжать, — тихо сказал Олег и подумал: «Надо просить Мамая — Москвы б не жег. Пущай с меня возьмет, что стоить будет. Грабить — грабь, а разорять не надо. Так и скажу».

Подъехав, спешился у ворот и отдал повода боярин Афанасий Миронов. Сам вошел на княжой двор.

— Доброго здоровья тебе, государь Ольг Иванович, а от князя Дмитрия поклон.

— Князь письмо мое чел?

— Два дни дожидался, пока позвал. Письмо ему прежде того передали.

— Ну?

— Прихожу, а он по двору ходит, коней оглядывает. Как ты нонче.

— Бежать сбирается?

— Да не видать, чтоб бежал. Суровый ходит.

— Ну?

— Ну, кланяюсь я ему, а сам думаю: негоже, мол, так на конюшне твоего посланца принимать. Кланяюсь ему в полупоклон, а он и не поглядел.

— Ну-ну́...

— Поклонись, говорит, твоему князю. Так и сказал: «поклонись твоему князю», а по имени-отчеству не величал. А насчет помоги, говорит, скажи: пущай от Мамая сам пасется, а я, мол, Русь сам обороню, пущай, говорит, твой князь Рязань обороняет, я, мол, его письма не ждал, помо́ги ему не готовил.

— А он что ж, понял, что я его помощи прошу?

— Да ведь, государь, сам посуди, — не ему ж на твою руку опираться!

— Что ж он надумал, Орде противиться?

— А как же!

— Противиться?

— Я еще там был, как войска почали собираться.

— И много?

— Валом валят, со всех сторон, через все ворота. Боровицкие и те до ночи не запирают, и оттоле-то ополчения идут!

— Кого ж это он набрал?

— А все русские. Со всея Руси.

Олег задумался.

Рязанские войска собирались к Пронску, а оттуда, выждав время, Олег думал вести их в Дубок. Там, в верховьях Дона, его и встретит Мамай либо он, Олег, встретит Мамая.

В это время во двор вошла небольшая толпа людей. Впереди шел Клим. Клима Олег согнал с княжого двора за ту ночь, когда убежал Кирилл. Наказывать не стал: Кирилл был добрый мастер. Но думал о Климе часто и всегда с раздражением. С тех пор Клим обжился в кожевенниках — вспомнил старое ремесло да к старому прибавил то, к чему в Орде присмотрелся, вошел у кожевенников в почет.

Воин, вышедший рязанцам навстречу, сказал боярину Кобяку: хотят, мол, с князем говорить. А Клим со своими стоял, ожидая, поодаль.

— А ну, чего скажут? — рассердился Олег.

Клим подошел и поклонился.
— А пришли мы, государь, спросить.
— Спроси.
— Слыхали мы: Московский князь скликает воинства на ордынцев. Рязань послала нас, господин Ольг Иванович, проведать: охоч ли ты и мощен ли идтить в тот поход?
— Куда?
— На ордынцев.
Весь двор, полный людей, ушей — гулкий, как набат, двор, — внимал этим словам Клима. Не было при себе меча: рассек бы Клима надвое, и это был бы ответ. Но здесь много ушей, а Москва рядом. Покусывая бороду, Олег отвернулся от Клима; глядя поверх крыш, небрежно ответил:
— Все спросил?
— Ждем твоего слова, государь.
— Рать собирается, оружие запасено, а будем ли биться, поглядим. Время покажет.
— То-то и оно, государь,—нету времени глядеть. Русь биться будет.
— А татары Рязань спалят. Забыл, как было?
— То-то, что не забыл. Город спалят — другой поставим, а Русь спалят — встанем ли?
— Прикажу — встанете!
— Оружие, говоришь, государь, напас? А будет ли кому нести то оружие?
— Забыл, как Москва нас била?
— Это при Скорнищеве-то? — спросил один из пришедших с Климом. — Мы все помним. За дело били, за русское дело били. Потому и побили нас, что их дело правое.
— Ты что это говоришь?
— Сам слышишь!
Олег обернулся, чтоб кивнуть воинам. Но успел опомниться: если бить, надо втайне. Дмитриево ухо длинно.
— Надо будет — кликну. Идите.
Но рязане стояли.
— Ну?
— Ты сперва скажи! — спокойно настаивал Клим.
— Не вашего ума дело.
— Народ, государь, своим умом живет.
— И что ж у него на уме?

— На Орду просимся, а за Орду нас не жди. Это наше слово.

— А ну-ка, пошли отсель. Так и скажите: за кого поведу, за того пойдут!

— Поглядим, князь.

Тут уж бояре, косясь на Олега, кинулись на ходоков и оттеснили их от Олега.

Бледный, он пошел на крыльцо.

— А что ж, как с конем, государь? — спросил конюший.

С ненавистью Олег посмотрел с крыльца вниз во двор — рязане уходили в ворота. За воротами их ждал еще народ; толкались в толпе женщины. Людей было много.

Стиснув зубы, Олег прохрипел:

— Готовьте коня. Понадобится.

— Какое к нему седло-то прилаживать?

— Черкасское, серебряное. А по золотому потники надо подогнать. Оба надобны.

Только дома, в каменных сводах, как в надежной пещере, он мог затаиться от своего города. Терем стоял высоко, князь смотрел на деревянные вырезные и тяжелые брусья города. Коньки крыш теснились ниже Олеговых окон. Подняв глаза, он смотрел, как небо затягивают прозрачные облака.

— К туману, что ль?

Больная нога заныла. Досадливо он потирал ее, словно боль можно стереть и стряхнуть, как пыль.

А конь уже загремел, топая еще не кованными ногами по круглому помосту темного денника. Люди от крыльца расходились, уже забыв о коне, говоря о дерзостной речи кожевенников, разнося ее по городу, по пригородам, по всему княжеству, по всей Руси.

Клим шел спокойно: в эту ночь, еще не забрезжит заря, они пойдут из Рязани.

— Со всех городов, слыхать, уж сходятся. Не мы первые.

— Поглядим, кто придет первее.

— Мамай-то, сказывают, стоит. Ждет.

— И того увидим.

— Да мы уж видывали!

— Еще поглядим.

Вечером к Олегу пришла весть, что через Пронск проехал московский боярин Тютчев.

— Чего ему?
— К Мамаю.
— Видно, Дмитрий послал мира просить! А через Пронск чего?
— Заехал будто с сестрой повидаться.
— А есть сестра?
— Сказывали, искал ее там. Не нашел. По городу ходил, воинство наше смотрел, об тебе пытал: на кого, мол, воинство.
— Пронюхал!
Достало сил дохромать до ложни. Как всегда в ярости, хотелось остаться одному.

Сорок третья глава

МАМАЙ

Тютчев в Пронске своими глазами увидел, что Олег от русского дела отпал.

Сухощавый, в черном кафтане, с белыми выпушками, с белыми пятнами седины в черной густой бороде, опрятный, твердой походкой ходил по Пронску московский посол. Разговаривал с воинами, расспрашивал о Мамае и нежданно, перед вечером, когда добрые люди собрались ворота запирать, со всеми спутниками выехал из Пронска.

Он поехал через Рясское поле к Дону.

Прослышав, что Мамай стоял уже у верховьев Дона, Тютчев оставил хана позади и стороной, таясь от татарских разъездов, продолжал ехать на юг. Так он ехал шесть дней.

Наконец перестали гореть ночные костры на краю неба, не стало слышно далеких табунов, и Тютчев выехал на открытую дорогу, повернул коня и, будто торопясь нагнать Орду, заспешил назад к северу. Тут, в первый же день пути, его задержали татарские всадники и, когда он назвался, повели его к сотнику. Сотник спросил:

— Как же ты едешь из Москвы, если едешь к Москве?

— Вас догоняю. В Москве не чаяли, что великий хан так далеко прошел. Вот я и проехал.

Сотник велел отвести Тютчева к темнику, которому Тютчев и предъявил пропускной ярлык в Орду и Дмитриеву грамоту.

А пока вели к сотнику, а от сотника к темнику, Тютчев смотрел Орду. Сперва они проезжали гурты овец, обширные, словно вся степь вокруг накрылась пыльной овчиной. После проезжали большие рогатые стада. Кое-где брели смешные ослы. Наконец потянулись табуны, запахло конским потом и мочой, потек смрад, любезный воину, привыкшему к большим походам. Тютчев радовался густому, как дым, запаху коней. Он ехал мимо этих медленно пасшихся татарских богатств, и его спутники расспрашивали простодушных стражей о числе стад и о иных числах.

Шесть дней ехал Тютчев мимо этих стад из Пронска, теперь он проезжал быстрее. Криками, грохотом бубнов, окриками, детским плачем окружили Тютчева обозы — телеги, груженные оружием, семьями, припасами. Дымились огни под котлами, воины сидели в кругу семей, любопытно и беззлобно смотрели вслед москвитянам и что-то говорили о них.

Тютчев, сопровождаемый спутниками, стражами, любопытными, продолжал продвигаться вверх до Дону к ханскому стану. Обозы остались позади, потянулись холостые воинские очаги. Воины, лежа на кошмах, пели, играли на деревянных домрах, мечтательно выли, метали кости, спали, открыв солнцу потные спины, — по всему было видно, стояли здесь давно и не скоро собирались уходить с этого места.

Глядя на ордынское войско, Тютчев смекнул, что Орда сменила свой порядок: стада и обозы назади, воины впереди.

— Примечай, изготовились! — сказал Тютчев своему спутнику.

— Видать, готовы, — согласился спутник.

Татары предложили Дмитриевым послам отдохнуть, чтобы с утра явиться к Мамаю.

Тютчев долго лежал под звездами в открытом поле, совещался со спутниками; вокруг пылали бесчисленные костры, в светлом небе дым расстилался как плоский туман, сгущался и висел как туча, снизу обагренная полыхающим заревом костров.

Стражи приволокли москвитянам большой котел, полный вареной баранины, и Тютчев, наголодавшийся за день, взял горячий жирный кусок и весело сказал спутникам:

— Ешьте! Может, последний раз едим.

Отказавшись от юрты, разлеглись среди черной ночной травы, под кровом звездного погожего неба, и, засыпая, Тютчев шепнул себе:

— Спи, Захария, спи, боярин Тютчев, может, и не придется тебе больше никогда поспать!

Уже перед утром он проснулся от холода, посмотрел на спящих друзей, на позеленевшее небо, на серое от густой росы поле, на подернутые синим туманом леса и вздохнул: «Жалко этого будет!»

Подсунул под плечо теплый армяк и ответил себе:

«Ничего не поделаешь, Тютчев!»

И опять уснул.

Поутру их разбудили. Надо было снова ехать! Мамай стоял далеко впереди.

На Красивой Мече, там, где эта тихая река впадает в Дон, татары заняли три ветхие избы и одну из них украсили для Мамая.

По ночам стало холодно спать в шатре. В черной прокопченной избе на утоптанный пол настелили ковры, застлали шелковыми одеялами ложе, и Мамай зябнул весь день: неприютно было сизое русское небо, неприютны поблекшие травы на земле. Лучше лежать, поджав ноги, разглядывать кольца на пальцах и слушать Бернабу.

Бернаба читал и переводил персидские стихи. Мамаев племянник, Тюлюбек, лежа на печи, щурил подслеповатые глаза, внимая персидской речи. Сплетенный мелким узором шелковый тонкий ковер свисал из-под Тюлюбека и прикрывал бурую глиняную печь.

Халат из плотного полосатого шелка, вытканный в Самарканде, плотно облегал хилое тело Мамая. Ладони, натертые киноварной хной, были круглы, а не узки, как хотелось бы хану. Пятки он тоже красил хной; ноги его были коротки и кривы, а не белы и стройны, как у персидских царей. Аллах, создавая хилое Мамаево тело, видно, по ошибке вложил в него жажду власти, побед и богатств. И понадобилось великое напряжение — хитрость, жестокость, лесть и бесстрашие, чтобы достигнуть власти, побед и богатств. Теперь достиг, и оставалось немногое, чтобы встать над миром, как некогда стоял Чингиз.

Его тревожили слухи о некоем амире Тимуре, умном, жестоком, победоносном. Но теперь, говорят, Тимур двигался из Самарканда к югу, и еще не настало время им

скрестить мечи. Пусть Тимур ломает свой меч в Иране; настанет время, и Мамай, управившись на Руси, вонзит свое лезвие с севера в Тимурову спину.

Хилый, стареющий, худобородый Мамай сидел в низкой, темной, гнилой избе, пропахшей онучами, долго сушившимися здесь. По ночам его щекотали усы каких-то громадных насекомых; он боялся, не смертелен ли их укус, и узнал, что русские называют их кара-ханами, что означает — черные князья.

Лежа в ожидании Ягайловых и Олеговых сил, ради которых он и стоял здесь, он думал о большой стране, разлегшейся впереди. Полтораста лет владеют ею ханы. Батый прошел через нее, как чума. Баскаки сто лет сидели в ее городах, собирая дань для Орды, сто лет высасывали из нее всю кровь до последней капли. Воины многих ханов набегали на нее грабить, брать пленных — этими набегами ханы платили своим воинам, чтобы сберечь собственную казну. Жгли. А городов в ней не убывало. Снова и снова приходилось их жечь, жертвовать тысячами людей. Резали. А людей не убывало, все шире и шире разрастались их поселенья, все многолюднее становились их города. Теперь опять, как во дни Батыя, впереди большой народ, большое войско врага, богатые города, бескрайные шляхи.

Неделю назад Мамай отправил послов к Дмитрию, на Москву. Надо было успокоить Дмитрия, чтоб князь прозевал то время, когда Мамай, переправившись через Оку, ударит на московские земли. Тогда понадобятся плети, а не мечи.

Он послал к Ягайле. Торопил. А от Олега прибыл посланец; ждал послов и от Дмитрия.

Ночь была тиха и тепла, а теперь, утром, снова задуло с Москвы, стлался туман, перепадал дождик.

Тюлюбек сполз с печи. В избу начали собираться вожди войск, мурзы, потомки ханов, переводчики. За стеной шедший с войском певец тянул, обернувшись к дождю, нескончаемую песню о ковыле в степи, о табунах в степи, о далеком городе Бейпине, что в семь рядов высится над землей и на семь рядов выстроен в недрах земли, о Манасе.

Ввели Олегова гонца.

Грузный боярин переступил порог, сгибаясь под притолокой: низко поклонился Мамаю и всем мурзам его.

В избе было тесно. Перед Мамаем едва хватало места для одного этого неповоротливого рязанца.

Хан не взял послания, велел переводчику спросить:

— Скоро ль намерен слуга мой, рязанский Олег, явиться со своими удальцами?

Боярин почтительно сощурил глаза, обеими ладонями поднял перед собой свиток:

— Тут обо всем писано, царь-государь.

— Пятый раз мне пишет. Мне нужны не письма, а воины. Я обращу рязанские земли в свое пастбище. Скажите ему.

— Батюшка-царь! Не гневись! Низко тебе кланяется Ольг Иванович. Вот-вот подойдет.

— Чего ж еще не подошел?

— А коль тебе надо овечек своих пасти у нас, паси, милостивец. Мы завсегда тебе служить рады. Любим тебя.

Мамай рассердился:

— Где его войско?

Боярин оробел перед лицом Мамая:

— Оружье он напас. По душе скажу: носить-то оружие некому, людей мало.

— Больше ждать не буду!

— Да ведь, батюшка, твои ж сабельки нашу краину обезлюдили!

— Чего ж врал, сулился помогать?

Рязанец стоял на коленях, кланялся, уверял, что Олег незамедлительно подведет войска.

— Уж из Пронска на Скопин идут. А от Скопина до Дубка далеко ль? Вот-вот будут.

И совсем обмер — Мамай вскочил с шелкового ложа и начал торопливо всовывать голые ноги в зеленые расшитые туфли. И кричал:

— Скажи твоему князю: сейчас же не явится — вызову сюда и велю отхлестать плетью!

Рязанец на животе выполз из избы передавать Олегу Мамаев гнев.

Еще не утих гнев, когда привели Тютчева. Тютчев вошел со своим переводчиком, стоял, не кланяясь, — ожидал, пока мурзы раздвинутся. Дождавшись, спокойно поклонился и спросил:

— Ты, хан, бумагу великого государя сам читать будешь либо мне ее тебе на словах сказать?

Тютчевский переводчик, точно сохраняя слова Тютчева и строгость его голоса, перевел.

— Что пишет?

— Кланяется тебе. Дивится, зачем идешь? Чего тебе мало? Больше бы тебе дал, да нечего. На твою щедрость уповает. О твоем здравии справляется.

Мамай сорвал с ноги туфлю и, сверкнув раскрашенной пяткой, закричал:

— На, на! Отдай Дмитрию! От великой моей щедрости. От его великой славы пришедшему дарю с ноги моей спадшее!

— Туфельку, хан, до поры оставь. А государь великий князь Дмитрий Иванович велел мне дары его тебе передать. Прикажи принять.

Мамай, не ожидавший от посла спокойного голоса, но упорствуя в гневе, приказал мурзам:

— Возьмите! И на те дары накупите себе плетей. Золото и серебро Дмитрия все будет в моей руке. А землю его разделю меж вами. А самого заставлю моих верблюдов пасти.

Тютчев вдруг перебил хана:

— Мне, хан, недосуг слушать твой разговор промеж мурз, говори мне.

— Что им сказал, то и тебе сказано.

— Думаю, хан, вымерзнут твои верблюды на нашей земле. Вымерзнут твои пастухи. И сам-то ты вымерзнешь. А московского золота тебе изо льда не выкусить. Так и переведи.

Но переводчик замешкался.

— Что он сказал? — спросил Мамай.

— Он сказал, что холодновато будет твоим верблюдам на московской паствине. Да и ты, мол, можешь простудиться.

— А как он понял то, что я мурзам говорил?

Тютчев отстранил переводчика и по-татарски повторил свои слова.

Тотчас воины и мурзы обрушились на Тютчевы плечи.

Мамай, гнев которого осекся, спросил:

— Как ты смеешь так говорить?

— От имени великого князя говорю, не от себя. А его речь и в моих устах тверда.

— Вижу, верно ты ему служишь.

— Прикажи мурзам рук моих не крутить, разговору мешают.

Его облегчили, но рук не выпустили.

— Откуда нашу речь знаешь?

— Шесть годов с отцом в Орде жил.

— Что там делали?

— Твои дела смотрели. С тех пор как ты хана Хидыря причкнул.

— Чему ж там научился?

— Меч востро держать.

— Неплохая наука.

— Надобная.

— Дмитрию, вижу, бесстрашно служишь.

— А иначе как же ж служить?

— А что Дмитрий! Почему служишь?

— Он народом любим, зане свой народ любит. Храбр, разумен. Строг, да милостив. Врагов своих не чтит. Ты его сам видал, да и еще увидишь, коли до того дойдет. Вот и служу ему.

— А ко мне перешел бы? Я твердых слуг ценю.

— Сперва дозволь Дмитрию Ивановичу дослужить, его к тебе посольство справить.

— Справь. Поезжай к Дмитрию. Мои люди с ним прежде тебя увидятся. Но и ты скажи. Я тоже тверд. Пусть платит дани столько, сколько его дедовья Челибек-хану платили. Согласится, я уйду. Нет, пусть не ждет милости.

— Скажу. Дозволишь идти?

— А ко мне служить вернешься?

— Сперва, говорю, дай Дмитриево дело сделать.

— Ступай да помни, я тебя приму.

Мамай посмотрел, как твердо, не сгибая головы, брезгливо сторонясь суетливых мурз, Тютчев вышел.

«Достойный слуга будет! Для посольских дел!» — подумал Мамай: верил, что вскоре понадобятся ему такие люди — говорить со всем миром.

Пятерым мурзам, потомкам ханов, носителям Чингизовой крови, которых думал тоже направить на посольские дела, Мамай приказал проводить Тютчева до Москвы и написал с ними ответ Дмитрию. Как ни гневен был, а получить старую дань без битвы Мамай предпочел бы. Не битвой, а данью опустошить Русь — тоже казалось хану подходящим завершением похода.

В грамоте, которую мурзы повезли с Тютчевым, Мамай написал:

«Ведомо тебе, что не своей землей, а нашими улусами ты владеешь. Если ж еще млад и не разумеешь этого, приходи ко мне, помилую, на другое дело поставлю...»

Но когда Тютчев ушел, на Мамая нахлынул новый приступ ярости: как посмел разговаривать!

— Догнать рязанского гонца!

— Рязанца?

— Догнать и отхлестать. Чтоб сказал Олегу, каковы наши плети. Да чтоб Олег поспешал.

Несколько воинов охотно кинулись за дверь.

Певец за стеной продолжал петь Манаса. Большая толпа стояла вокруг ханской избы, слушая певца и норовя быть поближе к хану. Бернаба ушёл к генуэзской пехоте. Падал мелкий дождь, и трава стала скользкой.

У Гусиного Брода Тютчева встретила вторая стража. Иван Святослов был хорошо знаком Тютчеву.

Едва соединились с ними, Тютчев подозвал к себе пятерых Мамаевых мурз, вынул ханскую грамоту и молча, перед их глазами, разорвал ее в клочья.

— Как смеешь? — крикнул один из татар, хватаясь за саблю.

— Оружие вынимаешь? — удивленно спросил Тютчев. И велел стражам вязать послов.

Четверым из связанных отсекли головы. Пятого развязали и, вежливо держа за руки, отхлестали плетьми.

— На ногах стоять можешь? — спросил Тютчев.

— Могу.

Тогда велел еще добавить.

— Ползать можешь?

Татарин молчал.

— Оденьте его!

Мурзу одели. Тогда Тютчев переспросил:

— Ползать можешь?

Мурза, кривясь от ярости, гордо ответил:

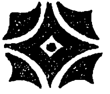
— Могу.

— Так ползи к своему Мамайке и скажи, как русские от своей земли на чужую службу переходят.

Оставив на холодной мокрой траве пятерых этих мурз, Тютчев поскакал к Дмитрию.

Сорок четвертая глава

КОЛОМНА



Большое русское войско тремя дорогами шло вперед: узки дороги в больших лесах.

Федор Белозерский вел своих по дороге Болвановке, на Серпухов, тульским путем, а позже поворотил на Каширку.

Дмитриевы полки шли на Котлы, к Кашире, а оттуда проселком перешли на Шубинку.

Владимир Серпуховской свои московские рати направил Брашевской дорогой, в Брашеве перевезся через Москву-реку и двинул к реке Лопасне.

Пятнадцатого августа войска достигли Коломны.

Здесь, как в полном котле, уже кипели многие ополченья, ожидавшие Москву. Стояли сорок тысяч, пришедших с Ольгердовичами: с Андреем да с Дмитрием. Подошел князь Федор Елецкой со своими полками да воевода князь Юрий Мещерский — со своими. Да великое число сошлось малых ратей — нижегородские купцы с посадов пришли, не спросясь своего князя, да белевичи, да, может, и не осталось на Руси города, откуда хоть малое число не пришло бы. И еще иные шли торопясь. И с ними — Клим-кожевенник со своей рязанской дружиной.

Двадцатого августа рано поутру ударили колокола, и воеводы поехали навстречу Дмитрию.

Они встретили его на речке Северке.

Слава ей, этой мелководной речке, — над ней прошел белый Дмитриев конь, в ней сверкнули его позолоченные доспехи, на ее берегу Дмитрий сошел с седла, чтобы обняться со своими воеводами. Отсюда они двинулись вместе, неразлучные в славе и трудах.

У городских ворот князя встретил коломенский епископ Герасим с иконами, с пением, а пономари в тех церквах, где колоколов не было, неистово били в медные била. И тысячеголосая рать кричала встречу, радовалась, что настал час.

Поговорив со всеми, кто к нему речь обращал, Дмитрий ушел в уединенный терем. Там, в тихой комнате, тихо говорил в небольшом кругу близких друзей.

И хоть был молчалив и всегда таился Боброк, а и он не мог скрыть волнения: ему предстояло изготовить вой-

ско в поход; поражение в этом походе означало конец всему — и Руси, и городам, и жизни.

Пытливым оком Боброк приглядывался к Дмитрию. Боброк любил своего большого шурина, но впервые хотел рассмотреть — выдержит ли Дмитрий, понимает ли, как велик враг, проявит ли твердость?

Дмитрий повернулся к Боброку и ответил на его взгляд немым, серьезным и задумчивым взглядом.

Боброк не успокоился.

Уговорились утром посмотреть все войско. Воеводы разошлись готовить воинов. Дмитрий пошел отдохнуть с дороги, а Боброк позвал двух своих двоюродных братьев, двух Ольгердовичей, и уединился с ними.

— Тебя, Андрей, Дмитрий любит, — сказал Боброк князю Полоцкому. — Не отходи от Дмитрия, — если уловишь сомнение, слабость, робость, пресеки, рассей.

— Сколько сил станет! За тем сошлись, чтоб друг в друге силу поддерживать.

— А я за Владимиром Андреичем пригляжу — умеп, да горяч, — решил Боброк. — А ежли во мне что недоброе заметите...

— Не бойсь, Дмитрий Михайлович, — сказал Дмитрий Ольгердович, — и тебя поддержим. А ежели с нами что...

— Мужайтесь! — встал Боброк. — Не первая наша будет битва. И не последняя. Но велика.

И Ольгердовичи смолкли, глядя на него и запоминая его слово; в семье давно замечали: неведомо какой силой — прозорливостью ли, разумом ли, волхованием ли постигал Боброк будущее, но все видел далеко вперед. А он, вскинув над глазами крылатые брови, уже рванулся к двери: по лестнице, гремя оружием, кто-то торопливо поднимался.

Боброк распахнул дверь. За дверью стояла ночная тьма, и из тьмы в сени входили воины, и впереди Родивон Ржевский; это пришла весть от первой стражи, ходившей оглядеть Мамая. Она подтвердила слова, принесенные в Москву Андреем Поповичем, и слухи о величине Мамаевых сил.

Мамай уже достиг верховьев Дона и стоял на берегах Красивой Мечи.

— А едучи сюда, обогнали послов Мамаевых. Ко князю на Москву едут.

— Опоздали, — сказал Боброк.

— Слыхали мы, будто Мамая сомненье взяло: прослышал, что Дмитрий-то Иванович от него не бежит, а войско сбирает, и послал послов договариваться.

— Поживем — увидим, — сказал Боброк и пошел к Дмитрию рассказать о принятой вести.

А на заре по всей Коломне поднялись войска, и стоявшие в городе, и разместившиеся окрест. Пошли за город к Оке, на просторное, дикое древнее Девичье поле, где некогда в жертву языческим дивам отдавали славянских дев. Боброк повел их и каждому войску указал место.

И, приминая некошеную, немятую, посохшую траву, по всему полю протянулось, построилось воинство. Стали полки за полками плечо в плечо, локтем к локтю, звякая коваными налокотниками о налокотники друзей, — и от конского ржания содрогалось широкое поле и содрогнулось от клича воинского, когда Дмитрий взглянул на них и они увидели Дмитрия. И Боброк поскакал ему навстречу.

С городской высоты Дмитрий увидел войско, похожее на орла, широко раскинувшего крылья. Как орлиная голова, выдвинулся пеший Сторожевой полк. Как мощное орлиное тулово, сдвинулся Большой полк. Как распростертые крылья, раскинулись полки Правой и Левой руки, а позади, словно пышный хвост, вольно стоял Запасный полк.

Взревели бесчисленные жерла ратных труб, и завыли походные варганы, и затрещали на высоких древках холстотканые стяги. И никогда Дмитрий не видел стольких полков воедино, и его охватил страх.

Закусив губу, он ехал, всматриваясь в лица ратников, в глаза воевод, стоявших впереди полков. И Дмитрий искал в них робости, сомненья, печали, хоть какого бы изъяна, чтоб тот изъян изничтожить и вместе с ним рассеять свой страх.

— Пеших мало! — пожаловался Дмитрий Боброку.

И Боброк пристально оглядел Дмитрия.

— Пешие, Дмитрий Иванович, для защиты городов надобны, а мы вперед идем.

— А хватит ли их? — кивнул он на бесчисленную рать.

— Может, счесть?

— Сочти!

Они ехали дальше. Поле тянулось, и рати стояли, не убывая, и стяги реяли над головами воинов, и перья колыхались на еловцах их шлемов.

— У Мамая небось тож сбор идет, силу считают! — сказал Дмитрий.

— Его сила уж сосчитана. А прикажешь — перечтем еще свою силу.

— Перечти — верней будет. Завтра выйдем.

— Я то ж думаю.

— Перед путем пущай вдосталь выспятся. Да посытней накорми.

— О том не думай: давно у татар перенято — наперед поесть, а потом в битву лезть.

— Тобой небось перенято — ты, князь, зорок.

— А не зорче тебя, государь. Не сомневайся. Далеко глядим, все глядим. Ничего не упустим.

Дмитрий прислушался — вещий Боброк говорил громко, будто и впрямь вещал:

— Нету изъяну, вся страна — как меч прокаленный. С Батыевых времен на огне лежала, исподволь прокалена, пригнется, а не переломится. Чистая сталь.

Дмитрий стал успокаиваться.

— А Олег-то! Господи! Не я начал, а он — окаянный! Новый Святополк!

— Хорошо говоришь, государь. Того не забудем, что он с ханом.

— Нет, не забудем!

Дмитрий смелел. Тверже смотрел вперед, едучи с Боброком впереди многих князей и воевод.

Тут, на раскрытом поле, как перед битвой, Дмитрий разделил полки промеж своих воевод.

— А ты, князь, расставил их и впрямь будто к битве! — сказал он Боброку.

— Примеряюсь, государь! Рассуди, кому над каким полком быть.

Распределив полки, Дмитрий снова проехал, глянул — надежно ль будет. И советовался с Боброком, не переставить ли кого куда.

А к Коломне подъезжали новые послы Мамая.

Они озирались на лесные дебри, на узкую струю дороги. Вот тут вскоре они пойдут позади Мамаева стремени — не отдавать дары Дмитрию, а брать все то, что недодано Москвой Орде, все дани-невыплаты, все золото, всю силу.

Мамай слал их всмотреться в Дмитриево лицо, оглядеть стены Московского Кремля, высмотреть, много ль войск на Москве, угадать, каково будет Дмитриево сопротивленье.

Мамай знал свою силу, превышающую силы Батыя, верил, что Дмитрий уступит: он расчетлив, догадлив, робок, он поймет, что противиться незачем, уступит.

На одном переходе от Коломны послов обогнали русские воины.

Мурза Таш-бек, ехавший во главе посольства, спросил:

— Дмитрий-то, ваш князь, в Москве, что ль? Либо уж на Двину сбежал?

Родивон Ржевский ответил устало:

— Государя в Москве нет.

— Где ж он?

— Отсель часов десять вашей езды. В Коломне.

— Уж не в Орду ль едет?

— А может, и в Орду.

— А все ж?

— В Коломне стоит. С войском. Вашего Мамайку встречает.

— С войском?

— Не с голыми ж руками!

И поехали дальше.

Таш-бек остановил своих.

Он смотрел на светлые бороды иных из своих спутников, на круглые голубые глаза. Меняются люди в Орде. От русских полонянок рожденные, не потомки ль они тем вон пахарям, что разделали эту поляну, посадили те вон яблони, ныне одичалые, грелись у тех вон печей, от которых остались груды глины?

И Таш-бек не твердо и не надменно, как следовало послу, спросил у своего посольства:

— Что ж делать?

— Ехать и требовать, как велел хан, — сказал ехавший в посольстве старый Джумай-бек.

Но советовал он это не от твердости, а от робости, робел возвратиться к хану, робел показать ему свою робость перед Москвой.

Таш-бек пощадил его:

— Ты поедешь обратно, Джумай-бек. Скажешь великому хану все, что слышано нами, а мы поедем дальше.

Свезем Дмитрию хановы подарки — яркендские сабли и шлемы и отдадим ему тоурменских коней под шемаханскими седлами, и припугнем его.

И Джумай-бек с малой охраной резво поспешил назад, а Таш-бек с дарами поехал в Коломну.

Еще день не начал погасать, а Боброк уже пришел в комнату Дмитрия:

— Сосчитано, государь!

— Сколько ж насчитали?

— Более полутораста тысячей тут, в Коломне. Но сейчас прибыло четыре тысячи козельчан. Давние татарские нелюби! И, слышно, из Рязани идут. И еще из многих городов подходят. Тех не чли. А еще не чли Московских пеших полков, что с окольничим Тимофеем Васильевичем Вельяминовым подойдут.

— А не мало выходит? — прищурился Дмитрий.

— Не мало.

Тогда известили, что прибыли послы от Мамая.

— Проведите, да чтоб не больно глядели. Да встреч и почестей не проявлять. Да и вражды тоже! — строго наказал Боброк и послал отроков призвать князей.

Послы стояли во дворе, с всех сторон огороженном высоким тыном, и ждали. И вслушивались, велика ли сила за Дмитрием. И сами себе не верили.

— Кажется, велика!

Наконец их позвали.

На лестнице их не встретил никто. Таш-бек нахмурился. В сенях князья пропустили их мимо себя молча и равнодушно. Таш-бек разгневался. Дмитрий встретил их сидя.

Таш-бек строго поклонился и ждал ответного любезного поклона. Но князь нехотя спросил:

— С чем пришли?

— Великий хан велел донести до тебя его высокий ханский поклон и наказ. А наказывает тебе великий хан сказать: если ты хочешь его ханской милости, то от нынешнего дня веди дани тот счет, какой русские князья ей вели прежде, какую с твоих предков — вечная им память! — брал Чинибек-хан, да упокоит его аллах! А за те годы, что ты платил малую дань, хан тебя прощает, за те годы невыплату с тебя не взыщет. А в знак милости своей к тебе жалует тебя хан саблями яркендского дела, шеломом с золотым чеканом, конями тоурменских кровей

под шемаханскими седлами. Прикажи слугам своим те дары для тебя от нас принять.

И, видя, что Дмитрий еще ждет и как бы прислушивается, Таш-бек подумал: «Еще даров ждет. Мало привезли!»

И раскрыл свой тайный уговор с Мамаем:

— И тогда великий хан проявит к тебе великую милость: у Мамая дочь есть, такая красавица, что, если она взглянет в степи на цветы, цветы начинают петь, как птицы! Если она в море взглянет, можно увидеть, как в морской глубине из икры вырастает рыба! Так светел ее взор. И великий хан отдаст ее за твоего сына!

— Благодарствую за честь! — строго ответил Дмитрий. — Ежли мой сын глянет в степь, дозорные мои могут пересчитать врагов, как при солнечном свете. Ежели же врагу в лицо взглянет, от врага остается лишь горсть пепла. — Дмитрий улыбнулся.—И опасаюсь я, ежели двое таких красавцев соединятся в Москве, в Орде ничего доброго не останется. Не стану бездолить Ордынскую землю — Орда, слышь, ныне и без того скудна. А что до прочих даров, возьми, свези их обратно — у меня и оружия, и коней вдосталь, и оружие мое добро отточено. Я не хочу стращать вас, не хочу и вас страшиться. С Мамаем же и об выходах, и об данях уговор держал, с глазу на глаз о том с ним уговорился, и менять тот уговор не к чему: нонешнюю дань платить буду, коль орду свою с Дону немедля назад уведет, а на большее моего согласья нет. И не помыслю разорять свою землю тягостными налогами ради Мамаева корыстолюбья. Так и скажи. Ступай и скажи. И тут, в Коломне, не задерживайся, чтоб к вечеру твоего духа не осталось. Иди!

И снова, до самых ворот, Таш-бека сопровождало молчание.

Тут же на дворе он сел на коня, прищемив губами бороду, и во главе всего посольства, влача ханские дары назад, покинул Коломну.

Проводив с молчаливым волнением татарского посла, все на сенях заговорили, каждому захотелось себя высказать, все одобрили Дмитриеву твердосгь: поход начался!

Когда поутихло, Боброк сказал Дмитрию:

— Как уговаривались, послана в степь третья стража. Велел послов хановых незаметно опередить.

— Кого послал?

— Семена Мелика. А с ним Игнатья Крепю, Фому Тынина, Горского Петра, Карпа Олексина да Чурикова Петрушу.

— Добрые молодцы! — одобрил Дмитрий. Многих знал — всю жизнь прожил меж воинами.

Нетерпеливо спросил:

— А накормил-то хорошо?

— Стражей-то?

— Да нет, всех. Завтра ведь выходить!

— Все приготовлено. Пять дней тут стояли, устоялись.

Поутру, двадцать первого августа, по прохладной росе войска пошли вверх по Оке.

Было решено еще в Москве: большой московский воевода, окольничий Тимофей Васильевич Вельяминов с остальными Московскими полками должен был подойти не к Коломне, а к устью реки Лопасни, к тамошним перелазам через Оку. Туда ж удобно было и Владимиру Серпуховскому подвести свои силы — полки из Боровска.

А обход этот понадобился потому, что тайные сговоры Олега с Мамаем рано стали явными для Москвы. Да когда еще и не хотели им верить, решили остеречься — Рязанской заселенной землей не ходить, напрасной крови не лить, силу беречь для большого дела.

Тут, от Лопасни, дорога к Дону была хоть и подлиннее, да повернее. Это была исконная купеческая дорога из Москвы на Дон. За три перехода войска дошли до Лопасни. Серпуховской уже ждал их. Вельяминов приближался. Подождали отставших.

Двадцать шестого августа Дмитрий приказал переходить Оку. Отсюда начиналось Рязанское княжество. Дмитрий собрал воевод:

— Начинайте через Оку возиться! С богом! Но помните уговор: как пойдете по Рязанской земле, да никто не прикоснется ни к единому власу!

Двадцать седьмого перевезся через Оку Дмитрий и весь княжеский двор. Прослышав о том, Олег ужаснулся: Дмитрий уже шел по его земле, а он-то всех уверял и паче всех себя уверил, что Дмитрий в страхе прячется на Двине!

Войска Олега уже шли из Пронска на Дубок. Олег приказал им остановиться. Подумав, он вернул их в Пронск.

Но Клим шел. И с ним шли оружейники, кожевенники, огородники, седельники, кузнецы, скинувшие рясы монахи. Вооружение их было пестро: у иных — топоры, насаженные на длинные рукояти, у кого — мечи, многие — в лаптях, у иных — прадедовские ядра на ремнях, с коими хаживали на татар еще во времена Евпатия Коловрата. Путь был долог, все несли за плечами всякую снедь, запасные лапти да чистое белье, чтоб было во что обрядить, коли лягут в битве.

Они удивились, встретив Дмитриевы разъезды на своей земле:

— До чего ж скор!

Зажгли костер у дороги, сели ждать, чтоб зря не тратить сил на дорогу. А вскоре и дождались, и влились в войско, как лесной ручей в большую реку.

Сорок пятая глава

ВОИНСТВО



В Микейшин шалаш пришли тревожные слухи. Когда однажды Щап вылез около Скопина на шлях, вместо купцов повстречался татарский разъезд. Пришлось схватиться, с обеих сторон были побитые.

Уже год прошел, как Кирилл жил в лесу. Многое передумал за тое время. Оброс, одичал, озверел со зверьми и в разбоях. А кроме разбоев жить было нечем — на левом берегу Оки Дмитрий его стерег, а на правом — Олег. А Литва далека, да и земля там чужая.

Когда случалось ходить мимо деревень, смотрел на окна искоса, завистливо, как зверь на теплый омшаник. Ужели же навеки отнят у него человеческий образ?

А кто всему виной? Татары. Не было б их, не был бы и Дмитрий жестокосерд к своим каменщикам, не убил бы Кирилл гонца, что о татарах весть вез, не отняли б у него Анюту... Где она? Вот, сказывают, Орда идет. Может, и Анюту волокут с собой во шивых шатрах? Может, близко идут те самые, что ее на огороде пленили либо убили? Из-за этой Орды и вся ее беда, да и Овдотьина, да и скольких еще!

Радостно ломал он зимой татарские караваны; летом с легким сердцем топил их лодки, груженные товаром.

Не Кириллом звали его ватажники, а Киршей, и Киршу боялись и ловили везде. Да мудрено было его поймать — на Дубке караул кричит, а Кирша уж на Рясском купцов душит. За Киршей гонятся в Пронск, а он в Перевитске спать ложится. Добычу свою Кирилл складывал здесь, в тайниках, в оврагах, под Микейшин досмотр.

Вот уж и лес скоро может под татар пойти. Русской земле несут беду, русских вдовиц поведут в полон, да и вся Русская земля, как Анюта, потянется в Орду на аркане за косоглазым мурзой вслед.

Он сидел, раздумывая, у костра. Ватажники между собой говорили:

— А и у татар небось есть кому несладко жить.

— А то нет! К нашему котлу небось иные подсели б.

— Пустые речи! — сказал Кирилл. — Бить надо. А потом поглядим, кто шел впереди, а кто сзади.

— Думаешь, бить их надо?

— А ты не думаешь?

— А я б не прочь!

— Ну и пойдем!

— А поведешь?

— А чего ж!

— Я пойду.

К вечеру ждали Щапа — слышно было, из Рязани сюда свое добро везет хоронить. Кто-то сказал:

— Куда это ты пойдешь?

— На татар.

— А кто ж не пойдет, коли Кирша нас поведет?

И Кирилл их повел.

Сперва разведали об Орде. Щапа дождались. Отрыли из тайников оружие, какое получше — татарское оружие, тонкого дела.

Перед выходом смех был.

Когда все собрались уходить и один лишь Микейша оставался череп сторожить да мед с ульев сгребать, заревел на цепи Тимошин медведь.

Тимоша кинулся его улещивать:

— Сейчас возворочусь, Топтыгушко! Не гневайся.

Медведь вырос в лесу громадиной, смирен был, а тут, чуя, что остается один, взревел, разъярился, порвал кованую ордынскую цепь, кинулся к ватаге.

А как добежал, стал на четвереньки, ласково терся

мордой о Тимошину спину; и тогда решили всею ватагой взять Топтыгу с собой.

Через Щапа из Рязани Клим прислал Кириллу известие. Кирилл вел свое воинство по тому пути, какой ему указал Клим.

Они шли не обочинами, а звериными лесными тропами, шли скоро, привычно. Но прежде, когда выходили на разбой, оружие брали неприметное, одежду надевали смиренную, а ныне оружью их любой князь мог позавидовать, кольчуги их отливали серебром, искрились позолотой. На иных шеломах поблескивали не то узоры, не то басурманские надписи, словно золотые червяки расползлись по стали. У всех и налокотники надеты были, и сапоги на ногах, а не лапти, как у многих ратников.

Иные шли и своей красоты стеснялись, сами не догадывались, до чего складно это добро, которое они из разбитых возов в свои клети перекладывали.

Теперь шли, не опасаясь, что поймает их стража. Редкая стража против них теперь устоит. Да и кто ж посмеет тронуть, ежели они идут биться за Русь!

Они шли, примечая все на пути: птиц, следы зверей, белок на вершинах елей, лосей, перебегавших в деревьях, заросшие лесом остатки селищ.

Однажды поймали людей, пытавшихся от них укрыться, и оказалось — тоже ватажники!

— Чего ж убегаете? С нами идите!

— Куда?

— На Мамая!

— Постойте. Тут неподалеку бортники есть, мы их кликнем.

— Кличьте!

Так, обрастая числом, от Скопина прошли они к Черным Курганам, обошли стороной Баскаки, чтобы не встречать там Дмитриевой либо Олеговой стражи, так же стороной миновали Дубок и вечером вышли на Куликово поле.

Это было пятого сентября 1380 года.

Где-то кричала сова. Ее унылый стон стоял над безмолвным полем.

— С ума, что ль, сошла? Весной ей время так ухать, а не теперь.

— Может, в теплые края собралась?

— А совы нешь улетают?

Дикая, никем не заселенная степь начиналась с Дона от устья Смолки, от речки Непрядвы, до устья Ситки.

В ее густой траве ютились кулики, звери ее обегали: кругом стояли дебри, леса, а в лесах зверью спокойней. Только чибисы клали свои гнезда в кочках и вскакивали на бугорках, подняв высокие хохолки, либо с жалобным воплем летели прочь, заметив пробирающуюся к гнездам лисицу.

Извечная тишина и мир лежали на этом поле. Столетия текли над ним, не тревожа его ни человеческим голосом, ни конским ржаньем. И эта тишина, после многодневного лесного гула, показалась Кириллу легкой, но и встревожила. Зверь затихает, когда, затаившись, подстерегает, а если гремит, нападать не будет. Так и человек. Так, может, и это поле?

Всю ночь, не зажигая костров на краю леса, опасаясь выйти в открытое место, ночевал, часто просыпался и вслушивался Кирилл.

И не один он спал сторожко. Многие подымали от сна головы.

Ухала сова. В небе горели звезды.

Рано поутру, вспугнув стаи птиц, они пересекли поле и продолжали идти на поиски русских воинств. Останавливались послушать лес, влезали на вершины больших деревьев, но всюду, куда ни обращался их взгляд, тянулись леса, заглушая своим ровным гулом всякую жизнь. Да и не виделось кругом никаких знаков человеческой жизни.

Путались целый день, а едва начало смеркаться, увидели зарева костров позади, над Доном.

— А свои ль?

— Надо б узнать.

Темным вечерним лесом пошли обратно, держа путь по заревам.

Под ноги подвертывались невидимые ветки. Уткнулись в бурелом и долго его обходили. Сучья царапали лицо и цеплялись за ремни вооруженья. Кое-где мечами просекали путь: путь им указывало зарево воинских костров, и шли они напролом, прямо на это зарево.

Уже совсем смеркалось, когда вышли к первым кострам.

Дмитриева рать остановилась на берегу Дона, когда по сырым мятым травам растекалась предвечерняя мгла.

Влажный ветер клонил кустарники. В сером небе курлыкали журавли, от осеннего холода отлетая в полуденную даль. В полуденную даль, плещась, утекали донские струи. Дон тек тихо, светло, ничего не ведая.

Подходили остатные полки, скрипели телеги обозов. Над конницей поднимался пар; всхрапывали и заливисто ржали кони; звякало оружие; глухо гудел людской говор.

Вглядывались: не видать ли татар на том берегу? Двести тысяч воинов глядело на Дон и в Задонщину. Многое о реке той наслышано. Далеко-далеко, за теми вон струями, начиналось великое поле Половецкое, чужая земля. На чужую землю глядели, свою под ногами чуяли. А ноги затекли в седлах, избились в ходьбе. Устало разговаривали:

— За сей Дон ходил Игорь-князь бить половцев, чаял донскую воду своим шеломом черпать; певали о том.

— Старики сказывали, по сему Дону от наших снегов птицы к теплу улетают.

— А он течет и славы своей не ведает.

— Ан не видать татар на той стороне.

Там, близко отсель, ждет враг. Но берег, в сырой мгле, пуст. Лишь с края поля темнеет, врезаясь шеломами в небо, лес. Вдали неровной грядой застыли холмы. Безлюдно и хмуро там—притаился ли враг, отошел ли?

Кирилл нашел своей ватаге место, разожгли костры. Воины подошли любопытствовать:

— Кого бог принес?

— Душегубов, — ответил Кирилл.

— Ой, что б тебя! Ты взаправду скажи.

— Взаправду и говорю: татей, душегубов, разбойников. А я атаман им.

— Да где ж это разбойники в княжьем обличье ходят?

— А на ком таково обличье?

— Да глянь на себя — весь золотом осиян!

Тонкий, сухой, весь обросший сединой, как мхом, опираясь на длинный посох, к ним подошел старик. Коричневое лицо, как у суздальского святого, покрылось будто зеленоватой плесенью, лишь глаза смотрели твердо и строго. Старик сказал:

— Нет здесь ни татей, ни душегубов. Здесь все воины! А коли ты есть князь, должен с молитвой изготовиться: ведешь не в разбой, а в битву. Все свои прежние гре-

хи вспомяни и покайся. Все тебе простится: кровь, пролитая за правое дело, как огонь, всякую нечисть смывает.

И он пошел от рати к рати, от полка к полку, суровыми глазами из-под нависших бровей вглядываясь в воинов — мужественны ли, тверды ли, разумеют ли подвиг, готовы ли совершить его.

Кирилл тоже пошел меж воинами. Вывертывались из-под ног большие кудлатые псы, пришедшие за ополчениями, может быть, от самого Белого моря. Густо пахло дымом и варевом. И вдруг лицо к лицу перед ним встала широкоплечая громадина. Она глядела исподлобья и растерянно ворочала круглыми холодными глазами.

— Здорово, Гриша! — сказал Кирилл, и Капустин спросил:

— Пришел?

— А как же!

— Ну, тогда ладно.

Они молча постояли друг перед другом, и Гриша рассмотрел и Кириллово вооруженье, и самого Кирилла; рассмотрел, тяжело дыша, будто долго догонял и наконец дорвался.

— Хорошо, что пришел.

— А то б?

— Поймали б.

— Князь тоже здесь?

— Весь путь — с нами. Здеся. У него в Чернаве совет.

Опять помолчали, разглядывая друг друга.

— А ты ловок! — сказал Гриша. — В Рязани-то промеж пальцев вывернулся.

— Да и ты, гусь, среди белого дня поймать орла вздумал!

— Да я вижу: орел!

— Ты где?

— При Андрее Ольгердовиче. В Запасном.

— Я иду сведать, куда нас поставят.

— К нам просись. Ежели у тебя все таковы, могутная рать будет.

— А далеко в Запасном. Мне б к переду ближе.

— Я те говорю: с татарами нельзя знать, кто будет впереди, кто сзади. Просись к нам, вместе будем.

— Пойду сведаю.

Они разошлись, и Кирилл пошел искать Клима.

Отъезжали сторожевые заставы.

Плескалась вода о конские бока: на ту сторону реки перебирались дозоры — «языка» добыть, нехристей проведать. Много глаз следило за удальцами. Что их там ждет? Каждая пядь неведомого поля грозила им стрелой, засадой.

Дозорные вышли на берег, отряхнулись, затянули подпруги, взяли копья на руку. Многие взглядом провожали их вдаль.

— Мамайского меда испробуют.

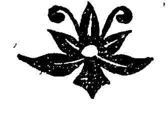
— Сами ихнево царя отпотчевают.

Раскидывались шатры княжеские и боярские. Воеводы уходили к своим полкам стелиться на ночь. Многие ждали: не доезжая Дону, в Чернаве, князья и большие воеводы остановились на совет.

Войска ждали вестей оттуда.

Сорок шестая глава

ДОН



Войска от Лопасни прошли к реке Осетру, потом через Березуй-город вышли по старой Данковской дороге на Дорожен-город, к реке Таболе и, пройдя Чернаву, теперь стояли у Дона.

Наполовину врытые в землю, как червивые грибы, склонившиеся в траву, гнили низкие избы Чернавы.

Пригнувшись, лезли в дверь князья. Пригнувшись, рассаживались на скамьях.

Стены избы изнутри были чисты, — видно, хозяйки шпарили их, вениками терли, хвощом, песком. Лишь верхние венцы и потолок, будто от черного китайского лака, поблескивали копотью. Отдушина в стене, через которую выходит дым из жилья, светилась позади печи: через нее виднелось осеннее небо, в седых лохмотьях туч просвечивала синева.

Пока рассаживались, пока кое-кто черпал донскую воду ковшом из хозяйкиной кади, слуги застилали стол тканой скатертью, затеплили свечи в серебряных ставцах. Розоватым струящимся светом наполнилось жилье, и тени людей, застя свет, ворочались по стенам.

Князья расселись вокруг стола. Бояре расстановились позади. Князь Холмский обернулся к Боброку и негромко спросил:

— Не худо ль — на дворе день, а тут свечи запалены?
— Не робей, князь: в церквах палят, худа не имут.
— Так там — богу.
— А се — народу русскому.
— Не обговоришь тебя.

Дмитрий выжидал. Он уперся грузной спиной в угол и высился оттуда над всеми. Черные его волосы закрывали лик Спаса, поставленного в углу. Поднял глаза на совет свой и опять опустил их.

Разно были одеты Дмитриевы князья. Холмский сидел в цветном персидском кафтане, оправленном соболями, торжественный, словно не к бою, а к свадьбе собрался, — никак не поймет, что враги рядом. Ольгердовичи сидели вместе в полной ратной сбруе, готовые вскочить на ноги и кинуться в бой. Так и Боброк был снаряжен. Только поверх панциря накинул простой полушубок, расшитый зелено-красным узором. Молодой Тарусский тоже был одет, как будто у себя в вотчине к обедне собрался. А Белозерские оба сидели окованные, окольчуженные, суровые. Дмитрий Ростовский, прикрыв от свечи глаза, взирал из-под тонких, как прутики, пальцев. А Дмитрий Боброк не мигая глядел на свечу, и пламя, будто пугаясь его взгляда, отклонялось прочь и мигало. На Ольгердовичах оружие отливало синевой; справленное хорошо, оно показалось Дмитрию тяжеловатым. Андрей — черен и горбонос: видно, в бабку. Надо у Владимира спросить: Ольгердова, что ль, мать из Венгрии взята, у Белы-короля? Старые родословия Дмитрий плохо помнил, в таких делах полагался на брата Владимира, но знал хорошо, что на Западе не было ни королевского, ни княжеского дома, с кем не оказывалось бы какого-нибудь родства.

Прямо глядя Дмитрию в глаза, обернувшись к нему всей грудью, сидел брат Владимир. В воинском уборе он словно выпрямился, стал широкоплеч, русая борода расплылась по стали колонтаря. А Иван Белозерский — плотен, высок и чернобород и, когда в раздумье закрывает глаза, становится похож на Дмитрия. Тарусских — двое. Оба чернявы, узколицы, худощавы, но в прежних битвах славно секлись. Дмитрию не любо в них лишь одно: даже в походе говорили между собой, как монахи царьградские, по-гречески, а терем им греческие изографы расписали, словно храм господень. Дмитрий греков к себе не пус-

кал — есть и русская красота, надо ее блюсти в такое время, когда всяк посягает на нее.

Говорить Дмитрий был не горазд, поэтому больше думал. И когда начинал говорить, робел. Всех рассмотрел из своего угла. Все затихли, ожидая его слова. Только Боброк что-то шептал Ольгердовичам, но и Боброк смолк. Молча стоял поодаль в углу Бренко.

Двадцать князей сидело пред Дмитрием. Служили ему. И не спор о наследстве, не раздел выморочной вотчины, не поминальный пир и не свадьба собрали их сюда, за бедный и тесный стол. Бывало ли сие? В единую брань, друг за друга умереть готовые, за одну родину на общего врага восставшие, вот они — двадцать князей. Не было сего со времени Батыя, когда каждый в свою сторону глядел.

И Дмитрий подумал: «Надо Боброка спросить — бывало ль сие? Да нет, не бывало!»

Выждал. Зорким оком приметил: Андрей Ольгердович сказать хочет, но ждет, чтоб первым Московский князь сказал.

Воинство стоит на берегу Дона. Идти ль через Дон? Дмитрий еще не решил. Шли, шли, переходили Москву, Оку, Осетр перешли. Теперь Дон поперек пути лег. Тут ли ждать, дальше ль идти? Сперва думал на Рясское поле пойти, да опасались Рязань позади оставить: нежданно в спину мог ударить Олег. Свернули сюда, а как дальше? Игорь Дон перешел и побит был. И мать говорила: в своей хоромине хозяину стены пособляют. А что бы отец сказал? И вспомнил отцову поговорку: под лежачий камень вода не течет. Не лежать, идти?

В раздумье он поднялся, но потолок оказался низок. Ростом не обделил господь. Пригнувшись, Дмитрий уперся ладонями в низкий стол и сказал:

— Братья! Како дале нам быть? Дон перед нами. Пойдем ли вперед, тут ли ждать станем? Помыслим, братья!

Он говорил, глядя на узоры скатерти, но тут поднял лицо и взглянул всем в глаза. Во Владимире и в Боброке приметил решимость. И сердце его наполнилось гордостью. Но просиявшее лицо вновь опустилось к столу.

— Тут ли стоять, в Задонщине ль с Ордой померяемся? Дон перед нами.

И сел, не убирая ладоней со стола. Поднял глаза на Боброка. Боброк говорил:

— Давно зрим мы татарские победы. Ждут ли врага татары? Они первыми наносят удар. Они наваливаются, как половодье, доколе не смоют супротивных городов и народов. Не стоят, не ждут—и тем побеждают. Вламываются в чужие пределы, преступают исконные наши реки. Зачинают брань, когда им любо, а не ждут, когда любо врагам их. С волками жить — по-волчьи выть. Переступим Дон. Я мню тако.

И вслед за Боброком сказал Федор Белозерский:

— Всем ведомо: великий Ярослав, реку переступив, разбил Святополка. И Александр Ярославич, Неву переступив, одолел свеев. Стойче станет биться рать, когда некуда уходить. И много в древние времена было таких переправ и побед. Много раз мы побеждали в чужих землях, обороняя свою: в поле Половецком, в дальней Византии. Мое слово — идти за Дон.

Но Холмский воспротивился:

— Княже! За что мы встали? Русь оборонять! К чему ж лить кровь на чужой земле? Русскую землю обороняем, ее и напоим басурманской кровью. Да и свою лить легче на родной земле.

Но Андрей Полоцкий тоже горячо позвал за Дон:

— Доколе сила наша велика, идем вперед. Кинемся на них допрежь на нас кинутся. Николи на Руси силы такой не бывало!

И Дмитрий подумал: «Да, не бывало».

А Полоцкий говорил:

— Хочешь крепкого бою, вели немедля перевозиться. Чтоб ни у кого на разуме не было ворочаться назад. Пусть всякой без хитрости бьется. Пусть не о спасении мыслит, а о победе.

Холмский обернулся к Полоцкому:

— Забываешь: у Мамая народ собран великий. Ордынские мунгольі, а окромя сих косоги набраны, латынские фряги из Кафы, тоурмены из Лукоморья. Мочны ли мы всю стаю ту истребить? А ежели не мочны, кто спасется на чужой земле? Идти, как коню под аркан? Справа и спереди Непрядва, а позади будет Дон. Слева — дикий лес, непролазная дебрь. Да и неведомо, не подошел ли уж Ягайла, браток твой? В петлю манишь?

— Родней не попрекай. Не время святцы читать. А в святцах, глядишь, и тое написано, что князья Холмские татарских ханш в русские княгини брали.

— Батюшки! Упомнил! Да той моей прабабки сто лет как на свете нет. А твой-то Ягайла сейчас супротив нас стоит. А родитель твой, Ольгерд-то Гедиминович...

— Под которого ты от Москвы прятался...

Дмитрий хлопнул ладонью по столу с такой силой, что Спас в углу подпрыгнул, а одна из свечей покатилась по столу.

— Не время, Холмский! А петля в десять верст шириной широка для горла.

Дмитрий вгорячах выдал свое тайное решение идти в Задонщину.

Бояре стояли позади князей, вникая в смысл их слов, но ожидая своего времени. Теперь говорил Тимофей Вельяминов, многими походами умудренный, многими победами славный, московский великий воевода. Тоже звал вперед.

В это время отворилась со скрипом дверь, и в избу вошел Тютчев. Все обернулись.

Тютчев вошел, опрятный, спокойный, только чуть выше поднял голову от переполнявшей его радости.

Тютчева слушали. Он рассказал о разговоре с Мамаем, передал слова разорванной грамоты, о своем ответе мурзе смолчал, но горячо объяснил, что самый раз напасть бы на татар теперь:

— Олег попятился, а Ягайла утром выйдет с Одоева, отселя более сорока верст. Пока дойдет, мы успеем управиться.

— Волков легче поодиночке бить! — сказал Федор Белозерский.

— Истинно так! — согласился Владимир.

— Вот оно как! — кивнул Полоцкий Холмскому.

И Холмский удивленно ответил:

— Так выходит: надо идти! Что ж мы, в Твери, робчей московских, что ли?

Владимир засмеялся.

Дмитрий, снова опершись на ладони, встал:

— Братие!

И все вслед за ним поднялись. Стоя они выслушали его слово:

— Бог запрещает переступать чуждые пределы. Спасу говорю: беру на себя грех — ежли не переступлю, то они придут, аки змеи к гнезду. На себя беру. Так и митрополит Олексий нас поучал. Но лесную заповедь каж-

дый знает — одного волка легче душить. Трем волкам легче задушить нас. Стоя тут, дадим им срок в стаю собраться. Переступив, опередим тех двоих, передушим поодиночке. Не для того собрались, чтоб смотреть окаянного Олега с Мамаем, а чтоб уничтожить их. И не Дон охранять пришли, а родину, чтоб от плена и разоренья ее избавить либо головы за нее сложить: честная смерть лучше позорной жизни. Да благословит нас Спас во спасение наше — пойдем за Дон!

Все перекрестились, но продолжали стоять, медля расходиться.

Один из отроков сказал Дмитрию, что дожидаются от игумена Сергия из Троицы гонцы.

Дмитрий насторожился. Что шлет Сергий вослед походу?

— Впусти.

Мимо расступившихся бояр, в свет свечей, склонившись, вступили два схимника. Один был широкоплеч и сухощав. Другой ни умерщвлением плоти, ни молитвами не мог одолеть округлого дородства своих телес. Черные одежды, расшитые белыми крестами схимы, запылились. Одного из них Дмитрий узнал: он неотступно, словно охраняя Сергия, следовал всюду за своим игуменом. Это был брянчанин, из боярских детей, именем Александр, а до крещения — Пересвет. Другой — брат его, тоже до монашества воин, — Ослябя. Об Ослябьевой силе и кротости Дмитрий слыхивал в Троице.

Ослябя вручил грамоту от Сергия. Дмитрий быстро раскрутил ее. Еще не успев прочесть первых строк, увидел последние:

«Чтобы шел еси, господине, на битву с нечестивыми...»

Пересвет подал Дмитрию троицкую просфору, Дмитрий поцеловал засохший хлебец и положил его на столе под свечами.

— Отец Сергий благословляет нас идти! — сказал Дмитрий.

Он знал, как громко на Руси Сергиево слово.

Еще говорили бояре, у коих в седине волос или в гуще бороды укрыты были славные шрамы, еще схимники несмело продвигались к выходу, а Бренко уже заметил вошедшего ратника и громко сказал:

— Княже! Языка привели.

— Добро ж! — сказал Дмитрий, и все пошли следом за ним к выходу.

Изба опустела. Лишь потрескивали свечи на столе, оплывая, и меж ними лежал присланный Сергием хлебец. А за дверью, где стояли дружины, не смолкал говор, лязг, топот, визг коней.

Вдали, во тьме, у полыхающего костра плотно стеснились воины. Они расступились, и Дмитрий увидел пленника.

Пойманный лежал на земле. Кто-то подсунул ему под плечи скомканную попону. Кольчугу с него содрали. Кожа была исцарапана,—видно, когда сдирали кольчугу. На смуглом и грязном теле ржавели пятна размазанной и еще не засохшей крови. Оттого, что в поясе пленник был гибок и тонок, плечи его казались особенно круты. Он и на земле лежал, как змееныш, изогнувшись. И еще Дмитрий заметил пестрые штаны, измазанные землей и навозом, но яркие, из дорогой персидской камки.

«Не простой, видно, воин!»

И только потом взглянул на лицо пленника.

На Дмитрия, сощурив надменные глаза, молча смотрел широкоскулый, с широко раздвинутыми глазницами безусый мальчик.

Тютчев удивился, узнав его: это был пятый мурза, которого он отхлестал и отпустил к Мамаю.

— Ты как попался? — спросил по-татарски Тютчев.

— Тебя догонял! — гордо ответил пленник.

— И еще раз лег! — зло сказал Тютчев.

В дружине кто-то ухмыльнулся:

— Еще от своего костра тепл, а уж пригрелся у нашего.

— У нашего он сейчас перегреется.

Мурзу захватила третья Дмитриева стража — Петр Горский с товарищами, когда во главе небольшого отряда мурза мчался в сторону русских войск. Горский доложил Дмитрию:

— Скакал мурза борзо, своих опередил. Прежде чем те подскакали, я его к себе переволок да помчал. Те за нами гнались, да тут на другой наш разъезд наскочили, повернули назад. А иные у них посечены.

Дмитрий подумал: «Вот и первая встреча... Уж коснулось своими краями войско о войско».

Дмитрий спросил старичка-переводчика, прежде долго жившего в Орде, уже отвыкшего от родной речи:

— Чего выпытали?

— Поведа, яко царь на Кузьмине гати; не спешит убо, но ожидает Ольга и Ягайлу: по триех же днех имать быти на Дону. И аз вопросиша его о силе Мамаеве; он же рече: многое множество.

— Говоришь, как пишешь! — заметил Дмитрий, и переводчик смолчал, стыдясь, что много лет лишь через русские книги говорил со своей родиной.

Боброк спросил у Тютчева:

— Выходит из его слов: Мамай на реке Мече. Пришел туда по Дрыченской дороге. А до того по Муравскому шляху шел. А Дрыченская дорога лежит промеж двух шляхов — промеж Муравского и Ногайского. Надо понимать, затем Мамай промеж этих дорог, что Орда идет по обеим.

— Думаешь, княже, ударить по этим шляхам порознь?

— Хорошо б так, да опасно: один шлях будем мы громить, а с другого нас обойдут. Надо так стать, чтоб обойти не могли, чтоб не по Чингизу у них вышло.

— А как спину уберечь? Все равно охватывать будут.

— Ночь светлая. Сейчас съезжу за Дон, прикину. Не миновать нам на этом поле встречу держать.

— Войско каково?—спросил Дмитрий у переводчика.

— Рече: сборное. Како о́ныe народы бьются, про то не ведает.

— Сколько ж их? — спросил Дмитрий.

— Рече: тысячей триста да еще пятьдесят. С его слов — чли.

— Верно говорит! — удивился Тютчев.

— Он сперва во лжу впал, да мы выправили! — сказал Горский.

— Накормите его! — сказал Дмитрий. И, не оборачиваясь, ушел: не видел округлившихся, как у совы, глаз пленника, не сводившего своего взгляда с князя, пока воины не заслонили ушедшего Дмитрия.

Во тьме Дмитрию подвели коня. Он нащупал холку и, грузный, легко вскочил в высокое седло. Не дожидаясь, пока управятся остальные, он направил коня к Дону, где, скрытые тьмой, стояли войска.

Следом за ним скакали сквозь мрак князья, бояре, дружина, двор княжеский.

Земля под конями звучала глухо, влажная, мягкая сентябрьская земля.

Над Доном полыхали сторожевые костры. С того берега долетал волчий вой. Псы, приставшие к войскам, облаивали их отсюда. Люди пытались разглядеть сверкающие зрачки зверей. Исстари, вслед за татарами, шли несметные стаи волков дожирать остатки, рыться в пепелищах, раздирать трупы, терзать раненых и детей.

Волки выли, — значит, недалек и Мамай. После многих лет встало воинство перед воинством, и одна лишь ночь разделила их тьмой и воем.

Дмитрий приказал искать броды, а сам проехал через весь стан и встретил Боброка: они уговорились тайно перебраться через Дон, самим осмотреть на заре поле.

Владимир Серпуховской и двое его шуринов — Андрей Полоцкий и Дмитрий Брянский стояли в стороне, ожидая Дмитрия Московского и Дмитрия Боброка.

— Я мыслю: он тверд, — сказал Владимир, — но и скрытен. Боброк удумал еще боле укрепить его мужество, поволховать во чистом поле, послушать землю.

— Он тверд! — сказал Андрей. — Эту твердость в нем хранить надо — она есть твердость нашего союза. Глядя на него, робкий стыдится своей робости.

Дмитрий подъехал впереди Боброка.

Боброк подскакал, сопровождаемый Семеном Меликом и немногими воинами.

— Княже, еще весть. Мамай сведал о нашем стане, спешит по Птани-реке сюда, мыслит воспрепятствовать нашему переходу через Дон.

— А поспеет?

— Где ему! Завтра ж начнем возиться. А ему раньше как в два дни не дойти.

— Едем? — спросил Владимир Дмитрия.

Мелик указал им броды, по которым уже дважды ходил сам.

Кони тихо, вытянув вперед морды, распушив хвосты по воде, сначала осторожно шли, потом поплыли. В прохладной черной донской воде отражались и струились звезды. И молчаливая, утекающая ночная река казалась глубокой, страшной, немой.

Тонкий месяц погас за грядой леса.

Кони коснулись дна, облегченно выступили на берег и, фыркая, стряхнули с себя воду. Звякали стремена и

цепочки; от реки круто вверх поднималось поле, и князья впятером поехали по берегу вверх.

Чуть занималась заря. За дальним лесом позеленело небо. Чуть порозовело одинокое облако.

Торопя коней, они ехали по полю; густая трава полегла от тяжелой росы, и роса уже начинала туманиться.

— Дмитрий Михайлович! — сказал Дмитрий Боброку. — Послушай землю: что нам сулит это поле?

Боброк остановился, вглядываясь в загорающиеся облака; зоркий его глаз приметил на востоке красную, как капля крови, звезду.

Боброк отошел от князей и лег в траву, прижавшись ухом к земле.

Долго он так лежал.

Он вернулся молчаливый и не хотел ничего сказать. Но Дмитрий настаивал.

Над деревьями поднялась огромная воронья стая и с граем кинулась во тьму, к западу. Боброк проводил их невеселым взглядом.

— Слышал я — на востоке вороний грай, и будто воют татарские катуни. А на западе плачут вдовицы и невесты и трубы трубят.

Он помолчал, глядя на запад, где вершины лесов начали покрываться розовым туманом.

— А значит сие, что будет плач в татарской стороне по множеству убиенных. И будет в русской земле плач, но и победа. О ней и трубы трубят. Надо биться нам, не жалея крови, не уступая, и наши трубы вструбят победу. Тако слышалось мне, княже. Так и тебе говорю.

Они сошли с коней и стояли, немые, глядя, как медленно ползет полем туман, как просыпаются птицы.

Со стороны стана застучали топоры.

— Что там? — спросил Дмитрий.

— По слову твоему пехоте мосты мостят. С рассветом пойдут на эту сторону, — ответил Боброк.

Они объехали поле, и Боброк часто отъезжал в сторону, оглядывал овраги, сходил с коня и заглядывал в те овраги. Порой, ощерив зубы, там отбегали волки.

— Мы поставим полки меж оврагами, чтоб Мамай не смог охватить нас, — предложил Боброк.

— Есть у них еще одна тайна: в битве всегда силы свои держать свежими. Наши все купно бьются, а татары сменно, наших тыща, да притомившихся, а их сотня,

да свежая. Они и побеждают. Надо делить полки, чтобы всегда нашлись свежие тысячи!—сказал Дмитрий.

— Сие выполним, — заметил Боброк и обратился к Полоцкому и Брянскому. — Вы, братцы Ольгердовичи, стойте позади, держите Запасный полк в силе. А мы затаимся с Владимиром. Ударим, когда наше время ступит.

Так впервые ложилась куликова трава под копыта ратных коней.

Сорок седьмая глава

БИТВА



С рассветом седьмого сентября по свежим смолистым мостам пехота пошла в Задонщину.

Конница перешла реку в трех местах Татинскими бродами, пониже устья Непрядвы.

К вечеру для всего Дмитриева воинства Русская земля осталась позади.

Воеводы вели свои полки на места, указанные Боброком. Каждый ставил свой стан на то место, где определено было стоять в битве.

Дмитрий велел, чтобы воины отдали этот день отдыху.

Обозы остались за Доном, но оттуда переволокли сюда все, что могло сгодиться: котлы, и крупу, и масло, и оружие. Лишь шатров Дмитрий не велел ставить, будто втайне готовился идти дальше. Для ложек нашлась большая работа. Воеводы ходили между костров и уговаривали:

— Ешьте, отдыхайте! Долго шли, отдыхайте. Надо будет — дальше пойдем.

И, пережевывая кашу, воины весело откликались:

— Пойдем!

Успели между собой сдружиться: дорога людей сближает. Жалко было б расстаться: дорога новая, погода ве́драя, товарищи разговорчивые. А в ратных рядах шли и плясуньи, и побывальщики, и певцы, и скоморохи, и попы с иконами впереди каждого полка, — каждому утеха имелась по нраву: затейнику — дуды да побасенки, богобоязненным — молитвы и ладан.

Кирилл не нашел Клима. Где тут искать, когда больше двух сот тысячей пришло сюда с Дмитрием. И все подходили — сотнями, тысячами, окольчуженные и безоружные, молодые и старые, с севера и с востока.

Кириллову ватагу поместили к Ольгердовичам в Запасный полк. Они стояли ближе всех к Дону, оборотясь к нему левым плечом. А за их спиной впадала в Дон Непрядва. Слева, ближе к Дону, в густом лесу таился Засадный полк Владимира Серпуховского и Дмитрия Боброка.

Кирилл недобро смотрел туда: в случае беды засадникам до Татинских бродов рукой подать, первыми на тот берег перескочат! Но впереди Кирилла, растянувшись версты на четыре, густо стояли передовые полки. Впереди всех—пеший Сторожевой князей Друцких, князей Тарусских, князя Оболенского. Воеводами в нем были Михайла Челядин и царевич Андрей Серкиз.

В том Сторожевом полку увидел Кирилл двух схимников, и в одном из них он узнал того рослого Александра, что некогда в Троице помог ему воинскую пряжку на коне расстегнуть.

Сам не знал отчего, но не любо было Кириллу вспоминать ту встречу, словно была в ней тяжесть, непосильная его плечам. И когда удивленно на нем остановился взгляд Александра, суровый и будто безучастный к человеческой скорби, ко всему, что проходит, и ко всему, что придет, Кирилл потупился и замешался среди людей.

Прямо перед полком Кирилла, позади Сторожевого, поставили Большой полк великого князя во главе с князем Иваном Смоленским, а воеводами при нем—Тимофей Вельяминов, Иван Квашня, Михайло Ондреич Бренко и славные богатыри — Дмитрий Минин и Аким Шуба.

Справа, прислонившись к оврагам реки Дубяка, стал полк Правой руки, а в нем—князья Андрей Ростовский и Андрей Стародубский с воеводой Грунком.

Слева стоял полк Левой руки, а в нем князья—Федор да Иван Белозерские, Федор Ярославский, Федор Моложский, а воеводой при них — боярин Лев Морозов, по прозванью Мозырь.

У Кирилла в Запасном полку готовились к битве литовские князья Андрей и Дмитрий да Брянский Роман, а воеводой их—Микула Вельяминов, свояк великого князя.

У Микулы и числился Гриша Капустин, сюда и Кирилл пришел со своими.

Сидя у костра, каждый норовил угостить и тронуть Топтыгу, и медведь поплясывал между котлов под Тимошину дудочку. Для смеха его опоясали мечом, но меч

оказался короток. Надели шелом, но шелом оказался тесен.

Той порой ехал среди котлов Микула Васильевич, увидел вооруженного зверя и строго закричал:

— Чего это?

Воины растерялись, дудочка, взвизгнув, смолкла, а Тимоша оробел до полной немощи.

— Чего это, спрашиваю! — кричал Микула. — Такого богатыря нешто так снаряжают? Где его поводырь? Пущай немедля к оружейнику идет и сбрую по росту получит. Назад поеду, гляну — чтоб было сделано!

И, стегнув жеребца, ускакал к Дмитрию.

Много охотников нашлось провожать Топтыгу к оружейнику. Но Тимоша этой чести никому не уступил, сам повел. Строго потребовал:

— Мне воевода велел немедля медведя богатырем снарядить! Пошевеливай запасами, ищи по росту.

И оружейник, косясь на лесную громадину, торопливо нашарил из-под кольчуг кольчужину, из-под шеломов — шеломище.

— У нашего Дмитрия всякое оружие. На любой рост и возраст. Бедные мы, что ль? Это вон Рязанский своих, сказывают, вывел в лаптях да в опорках. Сраму боится, потому и к Мамаю идти не смеет!

— Кто те говорил?

— Наши дозорные.

Топтыге натянули кольчугу и насадили на голову и затянули ремнями обширный, увенчанный красными перьями шелом.

— Не свалится!

Микула Васильевич, едучи назад, приказал Тимоше:

— Сходи к великому. Он любопытствовал об медведе, как я ему рассказывал.

— Сейчас! — обрадованно согласился Тимоша.

Но едва Вельяминов отъехал, подбежал к Кириллу:

— Атаман, батюшка! Как же быть? Ведь он меня схватить прикажет! Ведь он же меня розыску отдал!

— Кто ж схватит воина? Одурел, что ль?

— Ничего?

— Иди, не бойсь.

Кирилл смотрел им вслед. Воины хохотали, глядя, как шествует, чуть наклоняя на сторону острие шелома, медведь.

Боброк, расставляя полки, на полном скаку осадил своего аргамака, чтобы поглядеть на вооруженного медведя. Засмеялся и кинул из кармана Топтыге пряник.

Расставляя полки, Боброк опять норовил, чтобы стояли они, как орел, раскинувший крылья, и чтоб те крылья плотно упирались в непролазные овраги куликовских родниковых рек.

Дмитрий сидел на земле рядом с Владимиром и Бренком, когда увидел медведя.

— Э, Тимоша! — крикнул он. — Обрядил-таки своего Топтыгу?

Тимоша задрожал коленями.

— Ты чего ж, Топтыгушка, на мой двор перестал ходить?

Бренко, строго глядя на поводыря, объяснил Дмитрию.

— Я виноват — у поводыря при мне голос сипнет.

— Али виноват в чем?

— Душегуб.

Дмитрий помолчал и, раздумывая о чем-то, тихо сказал:

— О том позабудем тут.

И Тимоша кинулся в ноги Дмитрию, а Дмитрий нетерпеливо велел:

— Ты сперва попляши да на дуде сыграй. День-то вон какой...

И вдруг задумался:

— Не надо.

Когда Тимоша пресек начавшуюся было песнь, держа у губ соломенную дудку, Дмитрий махнул ему:

— Иди играй по рати. Весели. А мне надо пост блюсти: завтра рождество богородицы.

Владимир понял, что князь вдруг затосковал о воинах, которые, может, последний раз послушают дуду, порадуются и падут, и уж никогда больше не улыбнутся. Но скорбь свою Дмитрий таил, чтобы воины не печаловались, были б спокойны и сыты.

Бренко придвинулся к Дмитрию:

— Княже! Спросить хочу.

— Об чем?

— Добро ль будет, князь Боброк впереди дружин пешую рать ставит? Ведь они пахари, смерды, биться не горазды; падут, как снопы.

— Жалеешь, что ль?

— А какая польза, коли падут?

Дмитрий нахмурился:

— А какая нам польза, ежели дружины падут, а эти останутся? Нам — только бы дружины устояли, а пахарей завсегда найдем.

В это время перед князем остановился древний, весь белый, как написанный суздальским изографом, старец с длинным пастушеским посохом.

— Бодрствуешь, государь?

— Здравствуй, отче Иване. Откуда ты тут?

— А иде ж мне быть? Строгость здесь блюду, к битве готовлюсь.

— Чем биться будешь? Чего ж оружия не взял, отче?

— Сулицу брал — тяжела. Меч — тяжел. Зачем такое оружие запас? Одни богатыри с тобой, что ли? Прежде легким оружием бились!

Дмитрий не сказал, что не оружье отяжелело, а иссякла сила в древних руках старца.

Иван подошел ближе, брови нависали на его глаза, он запрокинул голову, чтобы разглядеть Дмитрия, и так значителен был и строг его взгляд, что Дмитрий встал, а следом встали и Владимир с Бренком. И, стоя на холме, над поворотом Непрядвы, перед лицом всей своей силы, Дмитрий услышал:

— Зачем костры ночью жжешь? Надо б помене огня, да побольше застав, да сторожей, да дозоров разослать. Темна ночь, но волчий глаз зорок, и волчьего глаза зорче зрак врага — он сквозь ставень видит во полуночи, он издалека и безотступно следит во полудни. Ослабеешь, оступишься, неосторожно отворотишься — и он тут! И тщетно тогда будешь каяться. Чтоб поздно не каяться, рано стерегись!

И погрозил пальцем.

И вдруг со слезами в голосе подошел, протягивая руки.

— Государь, сыне мой, княж Иваныч! Берегись! Ты падешь, каждый усумнится в победе. Стой, не падая!

— Как же я смогу, отче, сказать воинам: «Братья, умрем за родину!», а сам останусь позади стоять? Кто ж вперед кинется?

— Прежние князья так не делали. Не их было дело биться!

— Потому и биты бывали!

— Стой крепче, Митя!

Дмитрий обнял его: в этом отжившем теле бессмертным огнем горела одна страсть — победа над Ордой. И эта страсть шла впереди старика, а он лишь влачился за нею следом.

Старик низко, до земли, поклонился и пошел. Дмитрий, не помнивший отцовской ласки, давно забывший отцовский голос, смотрел, еле сдерживая слезы, ему вслед, словно это приходил к нему отец — великий князь Иван или дед — великий князь Иван, а не Иван-пастух.

И в сердце Дмитрия, как вещая птица Сирин, тихо запела печаль. Эта печаль пела в нем и тогда, когда он поехал к войскам и когда вернулся сюда, под березы.

Восьмого сентября утром, на заре, поплыл густой белый туман. Но боевые трубы загремели в тумане, и казалось, весь мир вторит им.

Туман вскоре всплыл, а трубы ревели.

Войска поднялись, вздыбились копья, как густой лес. Восходящее солнце озарило шеломы, и шеломы над латами, оперенные красными, шафранными и розовыми перьями, заполыхали, как заря над голубым озером.

Западный ветер колыхнул поднятые знамена. И перья сверкнули, как огненные струи.

И Дмитрий поехал к полкам и, ободряя их, говорил:

— Братья, двинемся вкупе. Вместе победим либо падем вместе!

Он говорил, а птица Сирин пела и пела в нем. Он созвал князей и воевод, и, когда они собрались перед ним, он посмотрел на их седые бороды — многие годились бы ему в отцы, а иные — и в деды, много походов они совершили с ним. И теперь он ведет их, может быть, на смерть.

Он стоял в полном своем великокняжеском наряде, алая мантия покрывала его кольчугу и стальной византийский нагрудник. Он кутался в ее тяжелые теплые складки.

А птица Сирин пела, и он сказал:

— Вы знаете, каков мой обычай и нрав. Родился я перед вами, при вас возрос, с вами княжил, с вами ходил в походы. Врагам был страшен, родину укрепил. Вам честь и любовь оказывал. Под вами города держал и большие волости. Детей ваших любил, никому зла не искал, никого не ограбил, не укорил, не обесчестил. Веселился с вами, с вами и горевал. Ныне ждет нас испытание паче прежних. Кто из нас жив будет, блюдите родину. Кто падет, о вдовах и о сиротах не печалуйтесь, — живые из нас

опекут их. А я, коли паду, поручаю вам блюсти свечу великого нашего дела — крепление Руси. Храните той свечи пламень... Не бойтесь смерти, бойтесь поражения — оно и смерть нам несет и бесславие.

Он со всеми простился, а когда остались только близкие, подозвал Бренка:

— Вместе с тобой мы росли. Ты как родной жил при моей матери. Теперь надень мои одежды и стань под моим знаменем.

Бренко, побледнев, снял свои доспехи и надел доспехи великого князя, надел его алую мантию, надел его высокий шелом. Они трижды поцеловались. И, не оборачиваясь, Бренко сел на белого Дмитриева коня и поехал под большое черное знамя, на котором вышит был золотом образ Спаса.

Дмитрию же принесли крепкое простое вооруженье. В белой рубахе, в белых холщовых штанах, он ничем не отличался от простых воинов.

— Что ты делаешь?—укорил его Микула Вельяминов.

— Буду со всеми биться. Так решил, так и сделаю.

— Если ты падешь, что с войском будет?

— Так я никогда не паду, доколе есть войско! — ответил Дмитрий.

Ему подвели резвого коня, на котором любил на охоту ездить.

И поехал, и стал впереди войска в Сторожевом полку. И воины, следившие за ним, вскоре потеряли его среди воинов. То там, казалось им, мелькнул его шлем, то в ином месте. Каждый воин мог оказаться Дмитрием, — так еще до битвы он стал бессмертным; доколе хоть один воин из двухсот тысяч устоит на ногах, дотоле не падет и Дмитрий: даже последний из бьющихся мог оказаться князем.

И тогда вновь заревели трубы, и великий орел, упираясь в овраги развернутыми крыльями, неторопливо пошел вперед.

Рев русских труб застал татар за котлами. Опрокидывая их, давясь непрожеванными кусками, они кинулись на Мамаев зов.

В полдень впереди, на вершине холмов, русские увидели несметную силу Золотой Орды.

Первой, растянувшись версты на три, шла черная генуэзская пехота; фряги, смельчаки Европы, ученики адриатических командоров, двинулись, уверенные в себе.

Вооруженные короткими мечами, выдвинув вперед тесно сомкнутые черные щиты, фряги шли сплошным грозовым валом, подпирая положенные на их плечи длинные копья второго ряда. Синие перья развевались на их шишаках. Края пехоты держались на конных татарских тысячах. Сзади, сдерживая лошадей, молчали под лохматыми черными шапками безжалостные косоги, а через гребни холмов переходили и надвигались густые, черные, молчаливые новые орды.

Мамай отделился от войск и в сопровождении Бернабы, Тюлюбека и старейших мурз въехал на Красный холм, откуда раскрывалось все Куликово поле.

Русские трубы смолкли.

Русские красные щиты поднялись.

Молча враги продолжали сближаться.

Едва не касаясь копьями о копья, остановились: не было дано знака к началу битвы — сперва следовало рассмотреть врага, обменяться первыми ударами.

Генуэзские ряды разомкнулись, и из косожской конницы на резвом вороном жеребце вырвался печенег Челубей и, обернувшись к русским, понесся вдоль смолкших ордынских рядов.

Так велик был его рост, что, стоило ему вытянуть ноги, и конь мог проскочить между его ног. Стоило размахнуть ему руки, и левой рукой он коснулся бы русских щитов, а правой — татарских.

Черные губы его поднялись над крашеной, красной бородой, яркие зубы дерзко ощерились. Тяжелые оплечья скрипнули: он легко, как былинку, поднял над собой тяжкое копье и крикнул:

— Ау ну! Кто смел? Смерды, лапти, солома!

Многим не терпелось кинуться на него в бой, но каждый видел, сколь силен и свиреп этот враг. Много жизней покончит он, если дорвется до боя, и богатыри выжидали, прежде чем принять вызов: надо было в поединке непременно свалить врага — в том честь всего русского войска.

Тогда к Дмитрию пробрался троицкий инок Александр Пересвет:

— Отец наш игумен Сергий благословил мя в сию битву нетленным оружием — крестом и схимой. Дозволь, господине, испытать ту силу над нехристем.

— Бог тебе щит! — ответил Дмитрий.

И, раздвигая передовую цепь, Пересвет выскакал в узкую щель меж воинствами.

Он погнал коня вдоль русских рядов в другую сторону поля. Он мчался с копьем в руке, и черная схима, расшитая белыми крестами, развевалась позади воина. А под схимой не было ни панциря, ни кольчуги—грудь его была открыта, и о грудь его бился тяжелый железный крест.

Оба одновременно повернули коней, и, упершись в протянутые вперед копья, с разных концов поля мчась между рядами войск, они сблизились и ринулись друг на друга.

Копье Пересвета с размаху ударило в Челубеев живот, и тут же копье Челубея пробило грудь Пересвета.

Кони присели от удара.

Мгновение спустя, распустив гриву, Челубеев жеребец поскакал прочь, волоча застрявшего в стремени мертвого всадника.

Пересвет удержался в седле. Его конь заржал, обернувшись к своим, и примчал всадника: обняв конскую шею, мертвый инок вернулся к своему полку.

Под великокняжеским знаменем взревела, как бык, боевая труба. И тысячи глоток взревели, выкрикнув первый вопль битвы, и щиты ударились о щиты, и копья затрещали о копья, и яростный гул брани, ржанья, лязга и топота колыхнул небо над головами и землю под ногами бойцов.

Мамаева пехота ударила в середину Сторожевого полка, где бился Дмитрий. Привычной рукой он отбил первые удары, заметил в генуэзских рядах щель и вонзился в нее. Вокруг сгрудилась неистовая упорная схватка. Живые вскакивали на тела раненых, но, оступившись либо получив рану, падали сами. Не вставал никто: на упавшего кидались десятки живых.

Татары упорствовали, русские держались. Вскоре это место стало столь тесно, что коням негде было ступить из-за мертвых тел. Обезглавленные стояли рядом с бьющимися: некуда было падать; пехота задыхалась от тесноты, толчеи, от конницы.

Щиты трещали и раскалывались, как скорлупа, от ударов. Давно в генуэзских руках замелькали щиты русских, а в русских руках генуэзские мечи. Давно конница билась с конницей. Давно Сторожевой полк лег над трупами генуэзской пехоты и Большой великокняжеский полк бился на их телах.

Кирилл, Тимоша и Гриша рубились рядом.

Трое ясов подскакали, привлеченные сверкающими доспехами Кирилла. Но татарская либо арабская сталь его коконтаря выдержала резвый удар кривой ясской сабли. С разбегу яс проскакал, а Гриша подоспел схватиться со вторым; Кирилл рухнул на третьего, оглушил его, не дал выпрямиться и пробил его шею. Опустив руки, яс сполз с седла.

Кирилл не поспел, когда первый яс обернулся и ударил копьем в Гришино плечо. Гриша шатнулся, а Кирилл кинулся сбоку, сшиб ясса с седла и, подмяв, задавил.

Гриша переложил меч из правой руки в левую и уже без щита продолжал биться.

Новые и новые орды втекали в битву, но русские стояли тесно и твердо, и татарам негде было развернуть ни охвата, ни натиска. Сжатый оврагами, Мамай мог ввести в бой лишь столько войск, сколько русские могли отразить.

Тогда хан решил сломить Дмитрия ударом отборных запасных сил. С Красного холма в битву кинулся Тюлюбек и со своими тысячами прорвался к черному Дмитриеву стягу.

Дмитрий заметил, что тяжесть битвы сдвинулась туда. Он тоже туда рванулся. Пробиваясь, Дмитрий видел, как Бренко, стесненный великокняжеским одеянием, тяжело бьется с ловким татарским ханом. Дмитрий отбил вставших на его пути татар, но на мгновенье закрыл глаза: клинок Тюлюбека рассек Бренково чело. Черное русское знамя упало на тела павших.

Тотчас Дмитрий встал перед Тюлюбеком.

Он увидел радостное, сверкающее лицо молодого ордынца: Тюлюбек рад был, возомнив, что убил Дмитрия!

И тогда — резким ударом меча Дмитрий снес с Тюлюбековой головы шлем.

В следующее мгновение Тюлюбеков клинок ударил по Дмитриевой руке, но скользнул по стальному обручью.

Их кони ударились грудь в грудь и схватились грызться.

Соскользнувшим клинком Тюлюбек не успел взмахнуть: меч Дмитрия сразил Тюлюбека.

Три часа русские громоздили тела на тела, перемешивая раненых и убитых, чужих и своих.

Московская рать Большого полка, стиснутая с двух

сторон одновременным налетом косожской конницы, устояла. Татары, удивленные русским упорством, откатились и всей тяжестью навалились на полк Левой руки.

Заслон из богатырей был смят татарами, и вся свободная сила Орды хлынула в это место. Первым пал вырвавшийся вперед воевода Лев Морозов.

Полк Левой руки, яростно отбиваясь, попятился. Ольгердовичи кинули туда Запасный полк, но золотоордынская конница, ведомая в бой Таш-беком, перехватила и задержала Ольгердовичей.

Полк Левой руки, растеряв своих воевод, не получив помоги от Запасного, побежал к Непрядве.

Татары, отвернувшись от Дона, врезались между Запасным и полком Левой руки, пробиваясь на правое крыло, вклиниваясь между правым и Запасным полком, чтобы разомкнуть их, ворваться в щель меж ними и давить их порознь.

Федор и Иван Белозерские, Федор и Мстислав Тарусские, воевода Микула Вельяминов и Андрей Серкиз подняли Дмитриево черное знамя и кинулись вперед, чтобы соединить разорванные рати Большого полка и закрыть прорыв.

Туда Мамай послал последние из свежих татарских войск — конные хазарские турки на разъяренных застоявшихся лошадях выскакали в это место. Оба Белозерских, оба Тарусских, воевода Микула Васильевич, Андрей Серкиз, Акинф Шуба, сотня других воинов пали. Большой полк потерял связь с полком Правой руки, и часть его побежала к реке. Бегущие воины вовлекли в свой поток и Дмитрия.

Брошенное чьей-то рукой копье воткнулось в шею Дмитриева коня. Дмитрий соскочил с седла и, вырвав из коня копье, пеший кинулся на проносящихся мимо тоурменских всадников. Нежданным ударом копья он ссадил одного из них, ухватил узду и прыгнул в еще теплое седло тоурмена.

Мельком он увидел идущего полем старца Ивана. Держа над головой посох, как копье, он вел за собой навстречу татарам какую-то пешую рать и что-то кричал. Вокруг него падали и умирали, а он шел, древний, бессмертный, как народная обида.

Поворотив коня, Дмитрий принял удары напавших на него троих тоурменов. Его спасла быстрота, с какой они

мчались. Сабли их дважды ударили по его доспехам — по кованому оплечью и по шелому, но добрая сталь выдержала, а воинам не удалось сдержать разъяренных коней, и они пронеслись столь далеко, что уже не вернулись.

Видя развал Большого полка, Дмитрий поскакал к лесу, чтоб стать во главе Засадных сил. Но семеро татар пересекли ему дорогу. В это время Дмитрия увидел Кирилл. Вместе с Тимошей и раненым Гришей он помчался к великому князю. Четверо уже схватились с Дмитрием, трое остановились в стороне; Кирилл разглядел, как Дмитрий, круто поворотив коня, сбил одного из всадников, но тогда трое со стороны ринулись на подмоту к бьющимся.

Кирилл с товарищами обрушился на них и остановил. Гриша одной рукой не смог долго противиться, и вскоре татарское копье свалило его замертво. Татарин, раненный перед тем Гришей, обрушился на Тимошу. И над головой Кирилла сверкнуло чье-то внезапное копье. Тимоша успел перехватить этот удар, и Кирилл, проскочив под копьями, обернулся, ударил в татарскую спину. Тотчас же две сабли ударили по Тимоше и по Кириллу. Кирилл выправился, а Тимоша выронил меч, свалился с седла на четвереньки и тихо, словно хотел поцеловать землю, прижал к ней лицо. Но татарин в ужасе осадил коня: громадный медведь, весь окольчуженный, в сбитом на ухо шеломе, взревев, прыгнул на конский круп и, как яблоко, разломил татарина. Татарин упал, а обезумевший степной конь, задыхаясь под непривычной тяжестью, исцарапанный когтями перепуганного медведя, понес зверя назад, к своему стану, прямо на Красный холм.

Дмитрий, вертя конем, долго отбивался от троих татар. Сталь его доспехов гнулась, рвалась, но он отражал удары и нападал сам. Наконец голова закружилась и великий князь приник к шее коня, еще сжимая коленями потные конские ребра. Перепрыгивая преграду, конь скинул его. Какое-то дерево мелькнуло перед Дмитрием зеленой вершиной.

Он схватил эту вершину, ветка склонилась, и, охватив белый и скользкий ствол, Дмитрий провалился в зеленую гибкую бездну.

Три часа Засадный полк таился в лесу за речкой Смолкой.

Три часа, содрогаясь от ярости и обиды, дозоры следили за великим побоищем.

На ветвях высоких деревьев таились дозорные, и Владимир Серпуховской, стоя на коне под теми деревьями, кричал:

— А теперь что?

— На Большой пошли.

— Ну?

— Бьются.

— Ну?

— Ой, батюшки!

— Что там?

— Ой, батюшки!

Серпуховской бил плетью коня, но, едва конь порывался вперед, князь его осаживал или крутил округ дерева.

С задранными вверх головами следили за дозорными все сорок тысяч, запрятанных в этот лес. Ольшняк и кустарники в овраге над Смолкой закрывали битву, и лишь рев ее долетал, то затихая, то разгораясь, как зарево большого пожара.

Молча, не спрашивая, лишь чутко слушая дальний зловещий гул, не на коне, а на земле сидя, ждал своего часа князь Дмитрий Боброк. Вся его жизнь была отдана Дмитрию: он ходил и разгромил Тверь, Литву, Нижний, Рязань. Если падет Дмитрий, Боброк падет тоже — не останется никого, кого он не обидел бы ради Москвы. Участь Руси решалась, и решение ее участи зависело от свежих сил: выйти вовремя. Но как узнать это время?

— Наши побегли! — выл сверху дозор. —Наши побегли к Непрядве. Татары наших бьют.

— Пора! — кричал Владимир.

Но Боброк ждал.

— Чего ж ты?

— Рано.

— Чего рано? Чего ждать-то?

— Рано.

— Я велю выходить!

— Рано.

— Да гонят же наших!

— Погоди. Сядь. Слушай!

— Ну?

— Громко кричат — татары?

— То-то, что татары кричат громче.
— Вот и погоди. Они еще близко.
Дозор кричал:
— Татары заворачивают наших от Дона к Непрядве.
— Куда?
— На Непрядву повернули. Левый полк гнут.
— Согнули?
— Согнули!
— Отвернулись от нас?
Татарские голоса стали глуше.
Боброк встал. Сердце колотилось; сжал кулак и спокойно пошел к коню.
Все смотрели уже не вверх, а на Боброка.
— Слазь! — крикнул дозорам.
Неторопливо вдел ногу в стремя, сел, неторопливо надел зеленые рукавицы. Кивнул в сторону битвы головой, рванул узду и уже на ходу крикнул:
— Пора!
Застоявшиеся кони, заждавшиеся воины единым рывком перемахнули Смолку и, обдирая сучьями кожу, вырвались в открытое поле.
Татары, увлеченные погоней, распались на многие отряды и теперь, обернув к Смолке спины, бились с рассеянными частями русских полков.
Мамай, глядя с холма на битву, увидел — войска его, теснившие русских к Непрядве, остановились, смешались и — в наступившей вдруг тишине — повернули обратно.
Удивленный хан обернулся к Бернабе. Бледный Бернаба, ляская зубами, смотрел не на хана, а в поле.
Бежала генуэзская пехота, истаивая, как волна, докатившаяся до песка; подминая все на своем пути, на нее накатилась волна неудержимых косогов, за косогами вслед бежали, завывая, татары. А впереди всех на бешеном степном коне несся к ханской ставке окольчуженный ревущий медведь.
Русские, откинутые было к Непрядве, остановились и с радостным воплем вернулись преследовать побежавших татар.
Только теперь Мамай разглядел, как, разбрызгивая тоурменские шапки, опрокидывая черные косожские папахи, из лесу вымчалась в бой свежая русская конница.
Удар Боброка в спину татарам не остановил их. Лишь часть их повернула наискось, на Красный холм, а мно-



жество продолжало мчаться к Непрядве, мимо расступившихся русских, уже не преследуя, а убегая.

Крутые берега, глубина реки, тяжесть вооруженья, свалка — и все перемешалось: яссы, буртасы, турки и косоги, фряги и тоурмены — все ввалились в Непрядву и захлебнулись в ней.

Река остановилась.

Живая плотина еще ворочалась, вскидывая вверх то конские копыта, то руки, то головы великого золотоордынского воинства. Перебежали через Непрядву лишь те, кому удалось перейти вброд по трупам.

Удар был внезапен. Так завещал Чингиз. Его нанесли свежие силы по утомленному врагу. Так завещал Чингиз. И свежая конница, наседая на плечи врага, не давая ему

ни памяти, ни вздоха, погнала его прочь, уничтожая на полном ходу. Так Русь исполнила три завета Чингиза.

Мамай побежал к коню.

Дрожащей рукой он ухватил холку, но конь крутился, и Мамай никак не мог поймать стремя.

Вцепившись в седло, силясь влезть в него на бегу, Мамай задыхался, а конь нес его вслед за конями Бернабы и мурз.

Позади гремела бегущая конница, звенел лязг настигающих мечей и страшный клич русской погони.

Владимир Серпуховской, взяв уцелевшие полки, повел их на Красный холм, перевалил через гряду холмов и с удивлением проскакал по татарским обедищам, мимо опрокинутых котлов с еще теплой бараниной.

Окровавленный, но все еще мощный великий орел мчался над полями, где еще днем стояли спокойные станы, по горячей золе ночных костров, по опрокинутым телегам обозов, мимо кинувшихся в леса табунов, мимо орущих обезумевших людей, давя и сеча их. Еще впереди грудились овечьи гурты и табуны, но врага впереди уже не было — он остался весь позади, под копытами победителей.

Владимир остановил погоню и поехал назад, на Куликово поле.

Дмитрий же Боброк повел свои силы из засады вниз по реке Птани, где бежали тоурмены, татары и сам Мамай.

Они гнали их до Красивой Мечи, до Кузьминой гати, до застланной Мамаевыми коврами ветхой русской избы.

И на Красивой Мече случилось то же, что уже испытали Мамаевы воины на Воже и на Непрядве: тяжелое вооруженье потянуло на дно тех, кто хотел переправиться через реку.

В Мамаевом шатре Боброку подали оставшийся от Мамая золотой кубок.

Боброк, подняв его к глазам, при кровавом блеске западающего солнца прочел:

«Се чаша князя великого Галицкого Мстислава Романовича, а кто ее пьет, тому во здравие, врагу на погибель».

Мстислав Галицкий пал в битве на Калке полтораста лет до сего дня. Оттуда и чаша сия была в Орду принесена.

Вот она, вернулась домой!

Боброк задумался: впереди еще бежали обезумевшие, обеспамятевшие остатки Мамаева войска и с ними сам Мамай. Есть резвость в конских ногах, чтоб настичь их. Можно догнать и добить, чтоб ни волоса, ни дыхания не осталось на свете от бесчисленных победоносных сил. Но впереди ночь, но впереди степь. И в степи — ни крова, ни пищи.

И Боброк велел возвратиться.

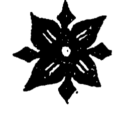
Снова ехали вдоль реки Птани. По реке плыли осколки щитов и мусор. Весь берег, весь путь завален был телами побитых татар. Тридцать верст они устлали трупами. Мимо трупов в сгущающейся тьме возвращались победители, глядя, как впереди все тоньше и тоньше становится красная тихая полоса зари.

И воинам, проведшим весь день в засаде, в тишине, в безмолвии и вдруг разгоряченным битвой, радостным от победы, теперь, во тьме, хотелось говорить или петь. Но никто не знал, можно ли говорить и гоже ли петь перед лицом столь обширной смерти. А Боброка спросить боялись. Он ехал впереди молчаливый, строгий.

Он вез Дмитрию золотую Мамаеву чашу и не знал, жив ли тот, кому он ее везет.

Сорок восьмая глава

ДМИТРИЙ



Из погони Владимир Серпуховской еще засветло вернулся на Куликово и велел трубить сбор. Иссеченное, тяжелое черное знамя вновь поднялось над полем, устланным телами павших. И глухо, хрипя и взвывая, заревели иссеченные мечами ратные трубы. Мертвецы остались лежать.

Со всего поля сходились к Владимиру воины. Иные опирались на мечи и копья, иных вели. Но рати собирались, кидались друг к другу сродственники, и свойственники, и друзья. Иные тревожно смотрели в поле, ожидая своих. Иные кричали желанные имена, но голоса их тонули в громе труб, а на трубный зов шли все, кому хватало сил идти.

Прискакал с обрубленной бородой, с разбитым глазом Холмский, подъехали и обнялись с Владимиром Ольгердовичи — их крепкие доспехи были измяты и от крови

казались покрытыми ржавчиной. От людей и от земли тяжело пахло кровью и железом. Подъехал молодой князь Новосильский; на его светлом лице, уцелевшем в битве, голубыми шрамами пролегли первые морщины. Трубы ревели. Воины вели сюда раненых, несли диковины, найденные на татарах, вели в поводу пойманных лошадей...

— Где ж брат? — спросил Владимир у Ольгердовичей.

— Я его будто видел, — сказал Новосильский, — от четверых татар отбивался. Да не мог к нему пробиться.

К Владимиру протиснулся старец Иван. Белые холщовые штаны потемнели от крови: он долго ходил по полю, в битве ободряя воинов, ища князя. Он строго спросил у Владимира:

— Где он?

— Нету! — ответил Владимир, велел смолкнуть трубам и крикнул на все поле:

— Дмитрий!

И все примолкло, вслушиваясь во все стороны.

— Княже!

А Новосильский уже скакал, перемахивая через тела, к тому месту, где последний раз бился Дмитрий.

Один раненый великокняжеский дружинник видел, как высокий воин в изорванной кольчуге тяжело шел с хвостатым копьем в руках один против мчащейся тоурменской конницы. И воин этот был Дмитрий.

Сказали, что впереди, в груде убитых, лежит великий князь.

Владимир, воеводы и многие воины кинулись в ту сторону. Подъехать было нельзя: тела лежали грудами, слышался хрип и стенание. Сошли с коней, пошли, перелезая через павших.

На измятой траве в дорогом доспехе лежал убитый Дмитрий.

Владимир с остановившимся сердцем наклонился к спокойным мертвым устам:

— Упокой господи душу твою, княже Иване!

Это был молодой Иван Белозерский. Будто в раздумье, закрыл он глаза. Тело его отца лежало под ним, словно и мертвый он хотел заслонить отца от удара.

Каждого, на ком замечали дорогое вооружение, принимали за Дмитрия.

Нашли убиенных князей Федора и Мстислава Тарусских, князя Дорогобужского, царевича Андрея Серкиза, великокняжеского свояка Микулу Вельяминова, Михайлу Андреевича Бренка, Валуя Окатьева.

Дмитрия не было нигде.

Тогда увидели бегущего через поле, задыхающегося, охрипшего от крика костромича Григорья Холопищева; он кричал, ворочая круглыми от горя глазами:

— Тута! Тута!

Поняли, что найден Дмитрий.

Андрей Полоцкий подскакал к Холопищеву.

— Что он?

Переводя дух, воин снял шелом:

— Убиен! Господи, боже мой!

— Где?

Посадили Григорья на коня, поскакали следом за ним в сторону леса, к Смолке.

Там другой костромич — Федор Сабур, стоя на коленях, силился поднять тяжелого Дмитрия.

Великий князь был найден под упавшей березой на берегу оврага.

Панцирь его был рассечен, шелом смят, кольчуга изорвана, рука крепко сжимала рукоять сломанного меча.

— Жив! — сказал Сабур. — Дышит!

Все спешились. Владимир велел снять с князя доспехи. Сабур выхватил кинжал и мгновенно срезал ремни.

Тело Дмитрия, словно из тесной скорлупы, вышло из стальной темницы.

На белой рубахе нигде не виделось следов крови. Дмитрий был оглушен ударами, но вражеское оружье не смогло пробить русской брони.

Принесли родниковой воды из Смолки. Смочили голову, дали глотнуть.

— Глотнул!

И тотчас все смолкли, и воины попятились: Дмитрий открыл глаза.

Тяжело и сурово посмотрел он вокруг.

— Государь! — кинулся к нему Владимир.

Дмитрий узнал его.

— Жив, государь?!

Дмитрий тревожно приподнялся. Владимир, схватив его руку, поднял князя:

— Митенька! Наша взяла, наша!

Дмитрий молчал, оглядывая собравшихся.

— Дайте коня...

Холмский быстро подвел своего, во многих местах захлестанного кровью.

— Сядь на сего, государь. Иного белого негде искать.

Дмитрий, шатаясь, подошел и тяжелой рукой взялся за высокую холку. Он постоял так, опустив голову, чувствуя, что земля колеблется, что конь как в тумане. И вдруг нашел равновесие, мгновенно сел в седло и улыбнулся. Наконец ему стало легко, и огромная тяжесть, давившая ему грудь и плечи, свалилась.

— Спасибо вам, братья.

С коня он обнял севших в седла Ольгердовичей, Владимира, Холмского, воина Сабура и улыбающегося Григорья Холопищева.

Они поехали по просторному Куликову полю, по траве, озаренной багровым заревом заката. И ноги коня до колен взмокли и почернели от окровавленной травы.

Дмитрий помолчал над телами Белозерских. Столько раз с младенческих лет бывали они вместе, и вот сбылись их давние мечтанья померяться силами с извечным врагом.

Поцеловал мертвое, залитое кровью лицо Бренка:

— Знать, суждено тебе было пасть тут, меж Доном и Днепром, на поле Куликове, на речке Непрядве, на траве-ковыле. Положил голову за Русскую землю.

С Бренка сняли жесткий от крови, как кожух тяжелый, плащ великого князя, сняли панцирь и золоченый шелом. И Дмитрий обрядился в них.

Он обвел глазами широкое поле, всюду застланное телами, — белели холстинки одежд, поблескивало в багрянце зари тяжелое вооруженье. И страшно было слышать несмолкаемый вой, стоны и вопли. Видеть, как раненые ползут к нему из вечереющей черной травы.

— Простите меня, братья! Благословите нас!

Он подъезжал к знакомым телам. Останавливался, глядел в их потемневшие лица.

— Отплясался, Тимоша? — тихо спросил он и вспомнил его песни, улыбку и медведя.

— Тут один в беспамятстве есть! — сказали подошедшие воины. — По доспехам вроде как князь. А чей, не умыслим. Драгоценное жуковинье на нем.

С коня стало трудно различать лица. Дмитрий вплотную подъехал к Кириллу.

Чувствуя на себе взгляд Дмитрия, Кирилл открыл глаза, и взгляды их встретились. Тяжелый панцирь Кирилла, пробитый под грудью копьем, давил его. На голове чернела сабельная рана.

— Жив, княже? — спросил Кирилл и снова закрыл глаза.

— Срежьте ему ремни! — велел Дмитрий и сказал Владимиру: — Никак не упомню, где я его встречал?

Заметив драгоценное кольцо на его руке, Дмитрий спросил:

— Кто ты? Почему я не знаю тебя?

— Знаешь, княже. Тайницкую башню те клал. А потом в бегах был, от гнева твоего таился.

— Тебя, что ль, покойник Михайло Ондреич искал по Боброкову жуковинью?

— Покойник? Значит, пал Михайло Ондреич?

Кирилл протянул руку:

— А жуковинье, вот оно. Не снимается.

— Оставь себе.

И велел воинам:

— Помогите ему.

И пошел уж было, да Кирилл позвал:

— Княже!

— Что ты, брате?

— Какие ж мы братья? Я во прахе лежу, а ты на коне скачешь. Любо те, что столько нас полегло?

— Немощен, а лют! Смири гордыню, бо смертный час лих и близок. Отныне жизнь повернула по-новому. Не для чего в нее старые грехи тянуть. Отлежишься — еще будешь строить. Может, башни и не понадобятся, станем терема ставить без стен, без бойниц, среди открытого поля, не сторожась врага.

И тронул коня.

Кирилл привстал:

— Терема? А на чьих костях?

Но Дмитрий уже не слышал его, и Кирилл упал навзничь.

Дмитрий поехал к полкам, ждавшим его. Но никто не ждал, что явится он на коне, в доспехах, как прежде.

И радостный рев воинств, увидевших живого Дмитрия, был страшен, как первый клич этой великой битвы.

Они стучали мечами о щиты, подкидывали копья:

— Слава! Слава те, княже Митрие!

Другие увидели Владимира Серпуховского:

— Слава те, хоробрый Володимер, выручник наш!

Они не смолкали долго. Наконец Дмитрий крикнул им:

— Братие! Где наш враг? Распался, рассыпался, как пыль перед лицом бури! Не удался ты, Мамай постылый, в Батыя-царя! Пришел ты на Русь с девятью ордами и с семьюдесятью князьями, а ныне бежишь в ночной степи, а может, валяешься под конскими копытами. Нешто тебя Русь гораздо употчевала? Ни князей с тобой нет, ни воевод. Нешто ты гораздо упился у быстрого Дона, наелся на поле Куликовом? Навеки заказаны тебе дороги на Русь. Да будет путь тебе темен и ползок! Вижу на вас, братие, кровавые рубцы, они вам на вечную славу о дне, как вы тут Орду с конца копий своих кормили, как мечами своими клали гостей спать на траве-ковыле! Слава! Но и тем слава, что остались тут лежать на вечные времена.

И воины вслед за ним закричали:

— Слава!

Боброк вернулся к рассвету.

Где-то по ночным дорогам уже двигались сюда телеги, груженные несметными сокровищами Золотой Орды, где-то темными дикими степями гнали сюда стада овец, коней. Вели пленных, длинноглазых смуглых полонянок, воинов, несли прирученных беркутов, захваченных в ханском обозе.

Боброк, узнав от Серпуховского, что Дмитрий жив, направился к великокняжескому шатру, доставая золотой галицкий кубок.

Светало. И Боброк впервые увидел Куликово поле в слабых лучах зари. Как не схоже оно было с тем, на котором он ложился послушать землю!

Он видел много полей после горячих битв.

Он остановился.

Поле все сплошь гудело стоном и плачем. И над всем этим тихо поднимался розовый — не от крови ль? — туман.

Боброк снова засунул за пояс кубок и повернул коня в сторону, туда, где его воины разжигали костры.

Сорок девятая глава

КАФА



Мамай успел перейти Красивую Мечу на Гусином Броде, времени останавливаться здесь у него не было.

Его охватил страх, что кто-нибудь из воинов выдаст его, чтоб услужить Дмитрию. Он отделился от всех и с Бернабой и семерыми из мурз кинулся к Рясскому полю.

Бернаба предложил укрыться в Рязани.

— Ты не знаешь Олега! — ответил Мамай.

О, Олег рад бы был отдать Мамая Москве — это был бы верный дар, от которого Дмитрий не отказался б. Но Олег теперь сам вместе с Ягайлой бежал к Одоеву. Следом за Олегом из Рязани бежала и Евфросинья с Федором и со всей родней. Олег обещал ждать их в Белеве. Олег рассудил, что, будь он на месте Дмитрия, непременно бы спалил Рязань!

На закате второго дня хан решился сойти с седла, притаился в густом кустарнике, опасаясь зажечь огонь. Кони дышали тяжело. Ноги их дрожали, жилы вздулись, по мокрым мослакам сочилась кровь.

Вдруг беглецы насторожились и снова кинулись в седла. Не щадя плетей, помчались вдоль Дона вниз: они явственно различили храп, и ржанье, и топот погони. И худо было, что Бернабов конь откликнулся ржаньем на ржанье.

Но едва остановились снова, как хруст разрываемого кустарника, топот и конский визг вновь обнаружили близкую наступающую погоню. Поскакали, меняя дороги, делая петли в перелесках, в оврагах, в лесных ручьях и реках.

Наконец силы иссякли. Старый мурза Турган, потомок Чингиза, замертво свалился в траву. Поднимать не стали, стремясь уйти подальше, запутать следы.

Но словно лесные нечистые силы подсказывали врагу места, в которых пытался передохнуть обессилевший, ошалелый хан. Едва останавливались, снова возникал топот погони.

— Кони дальше не понесут нас! — крикнул Бернаба.

— Бежимте! — позвал Мамай, кидаясь в кустарники. Но добежать они не успели: их окружили топоты, и ржанье, и визг.

Хан растерянно остановился — оказалось: три дня они убегали от своих, татарских лошадей, сбежавших вслед за ними с Куликова поля. Оседланные, уцелевшие в битве, лошади теперь гнались за своими товарищами, с которыми вместе паслись.

Тогда закололи одного из коней, развели огонь и впервые за эти дни поели печеного мяса. А впереди еще была длинная безлюдная степь.

Много дней спустя, пешие, грязные, в рваных халатах, растеряв пояса и тюбетеи, они подошли к Сараю.

Возможно ли было хану в таком виде возвращаться из похода? Решили дождаться вечера и, пользуясь ранней осенней темнотой, незаметно пройти в город.

— Нас примут за бухарских дервишей, и как-нибудь мы пройдем.

Они издалека обошли городские стены и добрались до кладбища. Здесь и решили переждать. Их поразило обилие свежих могил; вся восточная сторона кладбища, ближняя к городу, завалена была свежей землей, насыпанной кое-как.

Мамай послал одного из мурз.

— Ты так изменился в лице, так стал смугл, и лохмат, и грязен, тебя — да будет к тебе милость аллаха! — никто не узнает. Ступай узнай — что там?

Мурза ушел. Его ждали долгий час, но так и не дождались.

Мамай послал в город другого мурзу. Но и этот не вернулся.

Тогда, едва солнце двинулось к земле, пошел сам.

В воротах его не окликнули, и не задержали, и даже не взглянули ни на него, ни на его спутников. Но за спиной хан услышал насмешливый ленивый голос стража:

— Видно, это тоже Мамаевы!

Хан не посмел оглянуться: что случилось? Здесь уже знают? А если знают, почему не кидаются помочь усталым воинам?

Он дошел до своего маленького дома, где таил сокровища. Слушая, тихо ли на дворе, он взял в руку медный кованый молоток, подвешенный к чинаровым воротам, и долго стоял тут, вдвоем с Бернабой, не решаясь постучать.

В Орде лишь один Бернаба знал этот дом. Мамай, свергнувший многих ханов, тайно построил его в тени

городских стен, невдалеке от базарных ворот, чтоб укрыться здесь, если кто-нибудь вздумает свергнуть его.

Конюх, открывший калитку, отшатнулся: он не узнал бы хана, если б, как всегда, не стоял позади Мамая Бернаба.

Они вошли и крепко заперлись...

Конюх рассказал, что, когда хан вывел все войска на Русь и когда войска отошли столь далеко, что уже не могли немедленно вернуться, к Сараю подошел Заяицкий хан Тохтамыш, взял беззащитный город, захватил много станов и юрт, вырезал, для острастки, Мамаевых друзей и ныне правит Золотою Ордой.

«Где же мне взять сил, чтобы выбить его отсюда?» — задумался Мамай.

И генуэзец задумался:

«К Тохтамышу мне не войти; к Дмитрию не войти; к Олегу — входить незачем! Кто же мне остается? Мне остается Мамай!»

— Хан! — сказал Бернаба. — О нас не знает никто, пока твои мурзы — все или один из них — не пойдут на поклон к Тохтамышу. Они ему скажут: «Мамай в городе, прими нас, верни нам наши места в Орде, и мы будем служить тебе честно, а чтобы ты поверил нам, мы отыщем тебе Мамая».

Мамай позеленел от гнева. Почему он не перерезал этих мурз, когда пробирался с ними степью? Бернаба прав. Но гнев вдруг сник: внезапно он догадался, что, может быть, уже сейчас Тохтамыш слушает слова предателя. Надо спешить!

— Что делать? — спросил он у Бернабы.

— Взять сокровища, взять все, что возможно взять, и бежать отсюда!

— Куда?

— К нам, в Кафу. Там тебя никто не достанет, там осмотришься.

— Бежать?

Всю ночь они складывали сокровища, награбленные Ордой на севере, на западе и на юге, — сокровища, которые награбил у Орды Мамай. Когда зашумело пестрое базарное многолюдное утро, они с немногими слугами вывели караван и по знакомой дороге спустились к устью Волги.

Много дней они шли, покрытые солоноватой пылью.

Когда Волга осталась позади, Мамай успокоился. Когда вдали, в стороне, завиднелись в небе легкие, как дальние облака, снега гор, Мамай возликовал: сокровища, ради которых он убивал, лгал, не спал ночей, кочевал в походах, предавал, старел, — с ним! Они ему дадут власть, ибо он сможет за это золото, за огненные камни, за золототканые ковры, за редкостное оружие нанять новое войско, разбить Тохтамыша, взять под себя его силу и стать снова великим ханом Великой Орды.

В приазовских степях на них обрушились ветры такой силы, что верблюды ложились, отказываясь идти вперед. Но Мамай упорствовал и торопил караванщиков.

Он высоко держал голову, когда наконец увидел спускающиеся к морю мощные каменные стены и высокие круглые башни Кафы.

Но Бернаба встревожился:

— Не горячись, хан. Затаись до времени. Я знаю уединенный двор. Верное место. Сначала оглядись.

Они спустились в пригород, заросший садами, в каменные узкие улочки Кафы.

Здесь за одной из стен разгрузили караван, и Мамай поселился в верхней келье над складами.

С крыши виднелось море. Улочка спускалась к берегу. Какой-то беззаботный рыбак пел, вычерпывая из лодки воду.

Всюду по дворам висела на шестах, провяливаясь, сырая рыба. На длинных нитках поперек дворов колыхались яркие гроздья алого перца. Каждый двор был открыт другому двору — не таились, как в Орде, не строили каждый из своего двора крепость против соседа, как в Сарае.

Было легко дышать. Даже мощные городские стены на солнце казались голубыми, словно сложены из стекла, а не из камня.

Бернаба клялся, что торопливо готовит поход в Орду. Он уходил с утра. Двор был безлюден, останавливались здесь редко. Только говорливый содержатель двора, грек, бездельник и крикун, досаждал Мамаю:

— Какой товар привез, купец?

— Золото! — сердито ответил Мамай, но спохватился, заметив, как глаза грека жадно блеснули.

— Нет, нет, пшеницу.

— Почему не продаешь?

— Жду цену.

— Чего ждать? Она дешевеет.

— Потому и жду.

— Значит, богат, если можешь ждать! — сообразил грек.

Вечером нашла грусть. Мамай вспомнил, что, может быть, Тохтамыш уже коснулся той из его жен, у которой брови похожи на крылья стрижа. Мамай впал в ярость: он сейчас бы, босой, безоружный, обряженный, как купец, кинулся пешком в Сарай, вырвал бы из дерзких рук свою красавицу! За два года Мамай не успел к ней привыкнуть, тосковал о ней, когда шел на Русь, жалел, что на Дон взял не ее, а многих других. Теперь она в Сарае, а другие — уже в Москве.

Мамай едва не задохнулся от ярости, сидя один на крыше заезжего двора в теплой Кафе.

— Что же ты? — крикнул он Бернабе, увидя его на дворе. — Долго ль еще ждать? Завтра я пойду сам!

Бернаба опустил глаза:

— Торопливость годится только при ловле блох.

Он нашел слова, чтобы утешить Мамая. У генуэзца были в запасе такие слова.

Ночью от Мамая вышла женщина, прикрываясь черной шалью. Бернаба поспешил войти к хану, прежде чем он успел закрыть за женщиной дверь.

Мамай отпрянул от Бернабы, но успокоился, видя, что вошел свой.

— Есть новости?

— Да! — ответил Бернаба. И воткнул в горло Мамая нож.

До рассвета Бернаба оставался у мертвеца. Он обшарил каждую щель, зная, как Мамай хитер, как осторожен. Он нашел мешочек алых лалов, запрятанных под порог. Нашел алмазы, вшитые в шов халата, завернул в пояс слитки золота. Заткнул за пояс тяжелые серебряные, изукрашенные драгоценными камнями рукояти мечей, отломанные от лезвий. Повесил на грудь мешок с изумрудами.

Утром он послал хозяина двора в город, на базар, вышел следом за ним и подозвал генуэзцев. Они перекинули через спины ослов мешки, и ослы, перебирая копытцами, быстро спустили ханские сокровища к морю.

Вдали стоял смоленый корабль.

Видно было, что паруса его наготове.

Начали грузить мешки в лодку.

— Тяжело! — сказал лодочник.

— Выдержит! Море тихо.

Они догрузили последний мешок и оттолкнулись. Перегруженная лодка черпнула носом, но выпрямилась.

Бернаба сел позади за руль, как в детстве. Гребцы взмахнули веслами.

Широкий зеленый каменистый берег Кафы, где столько было мечтаний, столько пережито, остался в прошлом.

Впереди корабль, а за ним пышная Византия и полная жизнь для того, кто завладел сокровищами.

Долго ждал этого дня! Досадовал, что столь редки взмахи весел, что так тяжело движется перегруженное судно.

За борт плеснула волна и замочила ноги Бернабы. Он повернулся к волнам. Из открытого моря они надвигались строем, поблескивая барашками. Вспомнилось Куликово, когда так вот, строй за строем, поблескивая оружием, русские войска шли на Красный холм.

Волна опять хлестнула в борт. И перелилась через край.

— Надо сбросить мешки! — крикнул лодочник. — Иначе потонем!

— Скинуть? Мешки? — Бернаба кинулся на мешки сверху.

— Нельзя! Доплывем!

Но лодка, потерявшая руль, стала поперек волн, и вода ее захлестнула.

— Тонем! — крикнул лодочник.

И все они поплыли, окруженные волнами, еще далекие от корабля, уже далекие от берега. Как тяжел набитый золотом и драгоценностями Бернабов наряд!

Тяжелое золото потянуло генуэзца на дно.

Пятидесятая глава

КОЛОМНА



Девять дней Дмитрий стоял на Куликовом поле, разбирая своих от врагов, раненых от павших. Три дня тек Дон, темный от крови.

Сорок тысяч осталось в живых. А пришло сюда не менее двух сот тысяч. И во много раз больше пришло и полегло татар.

Рыли глубокую могилу.

Князю сказали, что от Олега Рязанского прибыл боярин с письмом и с подарками.

— Никогда Москва у Рязани не занимала разума! — вздохнул Дмитрий. — Пусть подождет, не до него тут.

Подошли двое воинов.

Один из стражей преградил им путь длинным тяжелым копьем.

— Куда?

— К Дмитрию Иванычу.

— От кого?

— Ни от кого, от себя.

— К своему воеводе идите, а он, что надо, государю скажет. Послы тоже! Лезут!

Но Дмитрий услышал.

— Чего им?

— К тебе, государь.

— Чего ж не пускаешь, басурманы, что ль?

Страж растерялся.

Дмитрий подошел к ним:

— Чего вы?

— Да вот, государь, вот, Дмитрий Иваныч, у нас какое дело: тут твой пастух-старец был. Помер.

— Иван-то?

— Он, он.

— Сам помер?

— Вчерась сидел, слушал. Все слушал: слова наши, поле ходил слушал, рассказывал, что к твоему шатру подходил, почиваешь ли ты, слушал.

— А я что?

— А ты сидел, говорит, в тот час с Дмитрием Михайловичем, с Боброком, об какой-то чаше беседовали, к тебе, мол, та чаша вернулась. Постоял он, значит, вернулся к нам, рассказал об этом и лег. А нонче глядим — помер.

— Пойдемте к нему! — сказал Дмитрий.

В поле, будто в час жатвы, всюду склонялись, и передвигались, и бродили люди в белых рубахах: скинув свои доспехи, поднимали тела, переносили их в одно место.

Кучками сидели раненые. Посыпали раны золой от вражеского костра. Накладывали на язвы листья каких-то трав. Лежали, глядя в небо. Меж раненых бродили схожие между собой сгорбленные седые старухи — воро-

жеи ль, лекарки ль. Откуда только они взялись! Большие стаи воронья перелетали по вершинам дальних деревьев, ожидая, когда люди уйдут из этих мест.

Дмитрий пошел вслед за воинами, тоже снявшими тяжелое вооруженье.

— Вот он! — показали они.

Старик лежал в тени кустарника, спокойно протянув руки. Длинный истертый посох лежал под локтем. Глаза были закрыты, и казалось, он спал. Морщины разгладились. Но лицо его затаило чуть лукавую, ласковую улыбку, словно он увидел наконец свет, которого всю жизнь искал.

Многие стояли вокруг него. Всех удивила такая смерть на этом поле смерти. О том, что нашелся человек, умерший здесь своей смертью, говорили во всех ратях.

Дмитрий приказал положить Ивана в братской могиле, поверх всех. А посох велел отнести к оружейнику:

— Скажи, чтоб насадил на него копье. Я тое копье своему сыну Василью дам. Пущай бережет.

Когда могилу завалили землей, Дмитрий стоял, слушая панихиду.

Лазурный дымок ладана улетел к небу, и Дмитрий думал о тех, что отошли навек, как этот ладанный дым.

— Вечная память! — шептал он.

И услышал, как позади зашуршала трава.

Подошел Боброк.

— Все умрем! — сказал ему Дмитрий.

— Не в этом суть, — ответил Боброк.

— Так разумею: суть в том, чтоб прожить честно.

— Чтоб хоть единым праведным делом оправдать жизнь!

Слушая панихиду, Боброк стоял позади Дмитрия и вспоминал.

Не зря Дмитрий послал его в Засадный полк: Дмитрий рассчитывал так победить, чтоб в Засадном и нужды не было б. Хотел, чтоб никто не сказал, что эту победу обмыслил Боброк. Ан не вышло и тут без Боброка! И уж задумался было тогда, что никого в мире нет столь чуждого Боброковым мечтам, как Дмитрий. Но дело само сказало вдруг за Боброка — судьба победы оказалась в его руках. И он тотчас возвратил Дмитрию чашу Галицкого князя и забыл обо всех обидах, ибо воин живет затем, чтобы побеждать. И только теперь, глядя в Дмитриеву

спину, Боброк вспомнил... он шагнул, чтобы не видеть эту спину, и стал рядом.

Они смотрели, как тает ладан: им слышно было, как, позвякивая оружьем, позади молятся тысячи воинов и тоже о чем-то думают, слушая древнюю песнь, примиряющую оставшихся с теми, кто навсегда ушел.

Когда Дмитрий вернулся к шатру, Владимир Андреевич Серпуховской напомнил:

— Рязанский-то боярин, сказывают, молит, чтоб ты его допустил.

— Ну, зови уж.

Боярин Борис Зерно низко поклонился Дмитрию.

— Что у тебя? — спросил князь.

— Государь мой, великий князь Рязанский Ольг Иванович кланяется тебе, великую свою радость передать велит, что поверг ты нехристей, поднял нашу Русь на щите славы, уповает на великую милость твою, как на милость старшего брата к младшему, просит прежние обиды забыть, а в будущем младшим тебе братом будет...

— А где он?

— Побежал в Литву, опасается твоего гнева. С Ягайлой до Одоева теперь доехал.

— Ежели б на милость мою уповал, не бежал бы!

— Велел сказать — не ради неприязни, ради Рязани с Мамаем сговаривался, а, сговариваясь, твердо мнил: отстояться, в бой не вступать, тебе обид не чинить. Велел дары тебе свезть. Молим мы те дары принять, а старое в погреб свалить, на вечное забвение.

— А что ж литовской Ягайла, со своей силою литовскою и ляцкою, да и Ольг-то Иваныч ваш, со всеми своими советниками, раньше думали? Об чем сговаривались? Надо было бы не стоять, а к нам идти. Тогда б и обиды в могилу свалили. А теперь обожду. Так и скажи. И дары отвези назад — князь твой в бегах поиздержится, они ему нужней будут.

Бледный боярин, с любопытством косясь на Дмитрия, поклонился.

Дмитрий долго смотрел ему вслед.

Когда отпели и оплакали последних, войска пошли назад на Москву, на Суздаль, на Тверь, на Кострому.

Несли знамена — пробитые, иссеченные, отяжелевшие. Раненых сложили на длинные скрипучие татарские телеги. Подложили под головы темные халаты, еще недавно

гревшие врагов, покрыли халатами, попонами, а от росы, от дождей рогожами да татарскими войлоками. Медленно, отставая от воинства, тянулся этот стонущий больной обоз.

На большой дороге к Дмитрию вышло все население Дубка, рязанского города. Опасались Олегова гнева, не кричали приветствий Дмитрию.

Молча, сняв шапки, стояли на коленях вдоль всей дороги, не кланяясь, не опуская головы. А поперек дороги постелили расшитое полотенце, и на нем положили ковригу черного хлеба с золотой солонкой наверху: будто не дубчане, а сама Рязанская земля подносит!

Дмитрий сошел на дорогу, подошел к хлебу, поднял, поцеловал его грубую корку.

— Спасибо тебе, Рязанская земля!

Один из стариков опустил в землю лицо, чтоб утаить слова, рвавшиеся к победителю Орды.

Снова двинулись. Никто из дубчан не шевельнулся, пока проезжали воеводы Дмитрия.

Кирилл везся в обозе: тяжко болела голова. Порой туманилась; что-то шептал в забытьи. Плакал бы, да не умел; жалобился бы, да некому. Задумывался об Андрейше.

Иногда подходил к нему знахарь, оправлял повязку, менял целебные зелья.

— Счастье твое — затягивает. Крови много сошло, оттого и легчает. А не сошла б кровь, помер бы!

— Будто легчает. А все голова туманится.

— Другой бы от такого тумана давно б на том свете был. А ты здоровеешь, сыне.

— А ты не из Рязани ль, дедко?

— Оттоль. Я-то тебя давно признал. Женку твою, Овдотью, там лечил.

— Не женка она. И где теперь, не ведаю.

— Слыхать, на Куликовом была. С ордой пришла. А теперь, почитай, свободна. Там, в Орде, сродственников своих нашла, с ними и шла в Мамаевом стане, не отставала.

— А ты отколь же здесь?

— В Климовой дружине пришел. А как Клима убили...

— Убили?

— Знал его?

— Знал...

— А не убили б, в Рязани ему житья все равно не было бы. Ольг бы наш ему не дал житья.

— А страшно, до чего ж велик ныне стал Дмитрий, высоко занесется!

— А мы бились, бились, а теперь опять прежнюю беду по домам разносим.

— Видел ты ордынское золото? Попала тебе хоть малая крупиночка? Где оно? А ведь взяли!

— Я вон косожский халат домой несу, а он кровяной да рваный.

— Зачем?

— Стыдно с пустыми руками прийтить.

Так везли их не менее двух недель. Давно ушли вперед конные рати, князья и Дмитрий.

Сказывали, как города и селенья выходят к князьям, как стоит колокольный звон на их пути, как поднимает голову Русь.

Однажды на заре заслышали дальний звон. Кирилл встрепенулся: коломенские колокола!

Сел на телеге, смотрел вдаль — когда ж покажется город.

Из-за леса мелькнул и снова за деревьями скрылся высокий черный шелом собора.

Завиднелись вдали на горе башни. Над домами тянулся дым, густой, как молоко.

Широко развернулась светлая, просторная Ока.

Долго стояли, ожидая перевоза. Много на этой стороне скопилось телег. Перевозили пришедших прежде. Весь день, весь вечер, всю ночь.

Ночью заморосил дождь. Кирилл накрылся рогожей, лежал, продрог.

Но дождался утра.

Утром въехали телеги на паром; заструилась вокруг вода; забулькали струи о борта. Тревожно озирались лошади, завидев такое обилие воды.

Кирилл жадно смотрел, как вьются струи Оки; но не хватило сил, голова закружилась.

Весь берег полон был встречающего народа. Жены толпились, высматривая своих мужей, отцы — детей, дети — отцов. Клики и возгласы, и звон, и ликованье, и чья-то горестная причеть: видно, сведала, бедная, от раненых, что некого больше ждать!

Но в гуле голосов так часто звучала слава, так радостно глядели иные из заплаканных глаз, что обессилев-

ший Кирилл, блаженно закрыв глаза, подумал: «Будто и меня встречают! Будто и мне кричат!»

И вдруг отчетливо услышал в себе, как растет, словно молодой дубок, медленно, но крепко, большая радость: нет ни прежних обид, ни горестей, ни тягот. Все начинается снова — не отвергнет, не осудит, не обидит родина, за которую бился!

С улыбкой он приподнял веки, и вдруг метнулось перед глазами какое-то бабье напряженное, не то радостное, не то обомлелое лицо. И он, ослабев совсем, снова закрыл глаза.

«Брови, как у Анюты!»

Как хорошо было слышать, поднимаясь в гору, стук колес о коломенские бревна. Слышать гул знакомых колоколов. Вернулся!

Когда телеги въехали в гору и остановились у соборной площади, он очнулся. Какая-то легкая, но твердая рука сдвинула с него покрывало.

— Жив?

Он испуганно открыл глаза.

Покрытая от дождя длинной шалью, Анюта стояла над ним, словно будила с постели после тяжелого сна.

— Встанешь, что ль?

— Поддержи.

С трудом он поднялся. Сел на телеге, чтоб собраться с силами. Подошел пристав:

— Тут остаешься?

Кирилл посмотрел на Анюту, ожидающую его слов, на пристава, ожидающего от него ответа:

— Тут.

— Ну, ин ладно! — И пристав ушел.

Он тихо, словно сквозь сон, сказал:

— Тебя ведь искал!

Она подставила плечо ему под руку и, ухватив за пояс, повела.

Кирилл переступал тяжело. Она его ободряла:

— Опирайся, не бойсь — выдержу.

Иногда усталость туманила ему голову, и он говорил невнятно:

— Сама была измучена. Под чужой волей жила. Теперь над тобой не будет чужого гнета. Теперь вместе.

Анюта вела и вслушивалась в его невнятные слова:

— Ты обо мне, что ль?

Он слабо качнул головой:

— О Руси. Поскорей бы поправиться.

— Окрепнешь. Наступай тверже. А я все пытала: не видали ль такого? Нет, говорят. Ежли не пал, думаю, будет. Не может быть, чтоб там его не было. Все воинство проглядела — нашла! Не бойсь, не оступишься.

— Я тебя по всей Рязани искал.

— Да, брата Мамай убил, племяшей моих в Орду свели. К чему ж мне в Рязань-то возворачиваться? А тут какой ни есть, а все ж свой угол. Я ведь еле ушла тогда; случилась бы в ту ночь в огородниках, быть бы теперь в Орде.

Помолчав, она объяснила:

— Бабка-то мне сказывала об тебе, что приходил про меня проведать. Я и ждала — раз, думаю, приходил, придет и другой раз.

Какие-то люди стояли по краям улицы. Глядели ему в лицо. Кто-то кричал:

— Слава!

— Вот и дом! — узнал он.

— Пригнись малость! — ответила Анюта. — Притолока тут низка.

И он переступил через ее порог.

Старая Русса, Моск. обл. 1940 г.



СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 7
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 151
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 281

Бородин С. П.

Б83 Дмитрий Донской: Роман. — М.: Воениздат, 1987. — 382 с.

1 р. 60 к.

Роман посвящен борьбе русского народа под предводительством князя Дмитрия Донского с Золотой Ордой, разгрому татар на реке Воже и исторической победе русских войск на поле Куликовом.

Это патриотическое произведение о силе русского оружия, написанное с большой любовью к родному народу, его истории и культуре, было удостоено Государственной премии СССР.

Б $\frac{4702010200-162}{068(02)-87}$ без объявл.

ББК 84Р7

Сергей Петрович Бородин

ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ

Редактор *С. А. Бабинская*
Художник *Н. А. Абакумов*
Художественный редактор *Е. В. Поляков*
Технический редактор *Л. С. Афанасьева*
Корректор *А. К. Акименкова*

ИБ № 3400

Сдано в набор 18.02.87. Подписано в печать 02.04.87.
Формат 84×108/32. Бумага тип. № 2. Гарн. обыкн. нов.
Печать высокая. Печ. л. 12. Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 20,38.
Уч.-изд. л. 20,50. Изд. № 4/3429. Зак. 307. Цена 1 р. 60 к.
Тираж 200.000 экз. (1-й завод 1—100.000)

Воениздат, 103160, Москва, К-160.
1-я типография Воениздата.
103006, Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3.


СЕРГЕЙ
БОРОДИН
ДМИТРИЙ
ДОНСКОЙ

